

САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ БИОГРАФИЯ 2021 ПО ВЕРСИИ GOODREADS
ВЫБОР РЕДАКЦИИ AMAZON

Майкл Левитон

ЕСЛИ ЧЕСТНО



«Остроумная и ироничная история о плюсах
и минусах честности. Провокационно и с юмором:
обречено на успех!»

— Publishers Weekly

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА



t.me/marketologmanager

Майкл Левитон

Если честно

*Посвящается маме, папе, «Еве» и всем
тем, кто умудрялся любить меня даже в
те моменты, когда я сам себе был
противен*

Michael Leviton

To Be Honest

*Публикуется с разрешения Elyse Cheney Literary Associates LLC и
The Van Lear Agency LLC.*

Copyright © Michael Leviton, 2021

© Максим Череповский, перевод на русский язык, 2021

© Livebook Publishing, 2021

* * *

«Если честно» читается как ужастик про отношения. У меня все внутри сжималось от страха и одновременно я хохотал в голос!

Харрисон Скотт Ки,

лауреат премии для юмористов Thurber Prize,

автор книги «Самый большой человек в мире»

Я не могла отложить эту книгу! Хотя, подождите, я только что солгала: мне же нужно было поспать и все такое. Но правда в том, что «Если честно» – поразительно смешной и душераздирающе трогательный текст. Майкл Левитон изложил такой бескомпромиссный взгляд на то, что значит быть правдивым и любить кого-то, что, прочитав эту книгу, вы обязательно задумаетесь о всей той лжи, которую произносили сами или выслушивали от других, лишь бы быть среди людей.

Сали Фэйт,

американская журналистка, писательница,

актриса, комик, теле- и радиоведущая

Если хочешь от кого-то честности, это надо заслужить. Мы не произносим этой фразы ни вслух, ни про себя, но чувствуем это на каком-то бессознательном уровне. Майклу Левитону потребовалось больше 30 лет, чтобы это осознать. Пожалуй, здесь и лежит важный, хотя и парадоксальный вывод, который можно вынести из опыта суперчестности.

Reminder

Пролог

Честные деньки подошли к концу. Всю свою жизнь я держался за правду, но пора наконец и мне сдаться и начать лгать. Я совершенно не был уверен в том, что у меня получится; три мои предыдущих опыта вранья – в пять лет, затем в восемнадцать и в двадцать шесть, по одной лжи на декаду – дались мне с большим трудом и отвращением, но я должен был хотя бы попробовать. Настал мой момент истины – то есть момент лжи.

Я плюхнулся на диван в тускло освещенной квартире в Бруклине, которую мы еще каких-то пару месяцев назад делили с Евой. Причем я специально оставил включенной только одну неяркую лампочку – я привык гордиться своей способностью с достоинством переносить любые лишения и несчастья, но мне все равно было невыносимо больно смотреть на кусочки того мира, который мы строили вместе с Евой на протяжении последних семи лет. Подаренный мною винтажный туалетный столик, у которого она прихорашивалась по утрам, ее мольберт, картины, рисунки, музыкальные инструменты, обеденный стол, который мы смастерили, приладив столешницу из орешника к кованым ножкам швейной машинки «Зингер» 1930-х годов – я физически не мог все это видеть, а потому сидел в темноте.

Моя естественность, по идее, должна была привлекать ко мне тех немногих людей, которые ценили бы меня таким, какой я есть. Именно так, как мне казалось, было с Евой. Но в итоге именно эта неукротимая искренность и подорвала наши с ней отношения – как, в общем-то, и все остальное в моей жизни.

Не существует никаких кружков помощи и поддержки для людей, страдающих от чрезмерной честности. Вся психотерапия основана на постулатах искренности и на лозунге «скажи как есть», а не «заткнись и помолчи хоть раз в жизни». Мне были необходимы советы ровно противоположные тем, что обычно дают психологи.

Я взял ручку и листок бумаги, сел за стол из швейной машинки и составил новый список правил для самого себя:

✓ *Скрывай свои чувства.*

✓ *Избегай ответов на вопросы – они все равно никому не нужны.*

✓ *Не верь тем, кто якобы ценит искренность – у них иное понимание этого слова.*

✓ *НЕ будь самим собой.*

Эти строчки мне самому сразу показались до смешного дурацкими – более нелепые и вредные советы сложно было придумать. Я уже хотел было позвонить Еве и спросить ее мнения, но вовремя напомнил себе, что звонок бывшей с целью известить ее о том, как поживает мое душевное здоровье после нашего расставания, есть типичное проявление как раз тех качеств, которые мне необходимо было в себе душиить.

Несмотря на то, что благодаря своей искренности я насмотрелся на тысячи скривленных лиц, косых взглядов и неловких побегов от разговора, меня все еще не переставала удивлять реакция людей на честность. Даже сжимая в руке ручку и мысленно готовясь приучать себя ко лжи, я автоматически перебирал в уме десятки цитат известных людей о том, сколь приятно и легко говорить правду. Ведь многие так и не смогли выразить то, что хотели бы. Одна девушка как-то раз даже сказала мне, что хотела бы как по волшебству получить один день, который никто, кроме нее, не запомнил бы – лишь для того, чтобы иметь возможность высказать всем окружающим свое истинное мнение. В моей жизни каждый день был именно таким. Говорить правду для меня было не сложнее, чем петь. Правда, у большей части окружающих это вызывало подспудное желание меня придушить.

Казалось, все вокруг были прекрасно осведомлены о бессчетном количестве причин иногда затыкать уши и почаще держать язык за зубами; все, кроме меня. Я один никак не мог этого постичь. Каким образом кому-то может не хотеться услышать мнение окружающих? Как может не хотеться поделиться с ними своим? Такое отношение к миру было мне абсолютно неблизким и казалось до безысходности

грустным. Люди на каждом углу расхваливают правду, а сами тем временем лгут или подталкивают других ко лжи десятки, а то и сотни раз на дню. Знакомясь с людьми, я часто открыто приглашал их быть честными в разговоре, но никто из них ни разу не принял это предложение. И чем больше я упирал на искренность, тем больше они начинали лгать и раздражаться, а это в свою очередь раздражало уже меня. И никто так и не смог или не захотел объяснить мне, чем вызывается такое поведение.

Дрожащей от досады рукой я дописал в свой список еще несколько правил:

✓ Не относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе – им это не понравится.

✓ Учись говорить ни о чем.

✓ Вместо того, чтобы искать людей, которые ценили бы тебя таким, какой ты есть, приучи себя быть таким, каким тебя хочет видеть собеседник.

По моему опыту неискренность радовала окружающих. Они словно знали что-то очень важное об этой жизни, чего не знал я. Иначе с какой бы стати всему миру столь упорно принуждать меня лгать? Почти все убеждали меня в том, что то, что я мнил неискренностью, на деле таковой не является, что я был смешон, буднично называя совершенно нормальное человеческое поведение фальшивкой. Казалось, пришло время снять наконец свои розовые очки искренности и взглянуть правде в глаза.

Когда я рассказываю людям о своем честном периоде и нечестном периоде, они обыкновенно либо злятся на меня, либо начинают жалеть. Ревнителям искренности не нравятся мои суждения о

разрушительном влиянии честности и самовыражения на человеческую жизнь. Сторонники лжи и масок приходят в негодование от того, сколь поздно я осознал, что ставить окружающих в неловкое положение неправильно и некультурно. Некоторые даже говорили, что «все уважают честность», а уже через пару минут советовали мне не рассказывать людям мою историю. Кто-то утверждает, что сам факт написания этой книги доказывает, что я недостаточно посрамлен, что я не сделал выводов и не усвоил урока, а то и вовсе принципиально отказываюсь учиться на своих ошибках. Их точка зрения мне понятна: я вроде как согласился не рубить правду-матку, а тут взял и написал такую исповедь. Быть может, эта книга есть лишь оправдание рецидива, попытка разжечь старый огонь наших отношений с правдой. Хотя такое и не приветствуется в нашем обществе, я все же расскажу вам несколько историй из моей жизни, пусть и рискуя навлечь на себя немилость читателя или вызвать ненужную жалость. Обычно, когда просишь кого-то быть с тобой честным, можно смело рассчитывать на то, что собеседник не воспримет эту просьбу всерьез. С этой книгой все немного иначе. Переворачивая страницу, ты, мой читатель, просишь меня быть с тобой честным. Я не откажу тебе.

Часть первая

Просто быть искренним

Глава 1

Большинство людей

Родители старались заранее подготовить меня к неизбежным жизненным тяготам (таким как смерть, отвержение и прочие неудачи). В четыре года я уже был наслышан о многих подобных ужасах, однако особое место среди них занимали прививки. Я лежал в постели и со страхом представлял себе гигантские мультяшные шприцы с капающей с кончика иглы жидкостью. И вот в августе 1984 случилось страшное – мама сказала, что завтра меня ведут на прививку.

Мы тогда жили в часе езды от Лос-Анджелеса, в зеленом студенческом городке под названием Клермонт, с небольшими парками через каждые пару кварталов. Родители осели там от безысходности: у них так и не получилось устроиться на работу после колледжа – они слишком плохо умели врать на собеседованиях – так что в какой-то момент мама сопоставила энциклопедические познания отца в музыке с тем фактом, что в Клермонте не было на тот момент ни одного магазина с пластинками, и предложила это исправить. В общем, они честным трудом зарабатывали на хлеб.

Детский сад, в который меня собирались отдать, организовал вакцинацию своих будущих воспитанников в большой палатке через дорогу, прямо на краю парка. Дорога туда в целом напоминала обыкновенную семейную прогулку, только с щепоткой ужаса. Жар от раскаленного асфальта беспрепятственно проникал сквозь легкие парусиновые туфли, а яркое летнее солнце делало мои веснушки темнее и еще заметнее. Я был домашним ребенком и всегда жаловался на жару, выходя на улицу.

Мы зашли в парк, и перед моим взором предстала та самая адская палатка из синего брезента. Я оглянулся на маму с папой, почесал стриженую под горшок башку и заявил:

– Багз Банни так шел на расстрел.

Мама засмеялась так сильно, что с нее чуть не слетели ее здоровенные корректирующие очки.

– Какой же ты забавный, Майкл, – сказала она. – Даже когда ты напуган, ты совершенно уморителен!

Я даже забеспокоился, что из-за безудержного хохота мамы мой грудной брат Джош может ненароком вывалиться из слинга. Но в целом мамин смех радовал, поскольку все утро она только хмурилась и теребила свои наручные часы^[1].

Вокруг палатки уже собралась целая толпа моих сверстников со своими родителями. Они сидели на заботливо принесенных заранее подстилках и шезлонгах, качались на качелях, играли в песочнице и развлекались на всю катушку без тени страха или волнения. Внезапно у папы загорелись глаза.

– Предсказываю, – начал он. Отец частенько развлекался предугадыванием поведения окружающих. Причем он практически никогда не ошибался, как будто наверняка знал, что в той или иной ситуации люди вокруг будут делать или говорить. Мне это казалось самой настоящей магией.

Для драматической паузы папа поскреб свою короткую каштановую бородку.

– Бьюсь об заклад, – продолжил он, подняв кустистую темную бровь, – что большая часть этих родителей не рассказала своим детям про уколы.

Предсказания отца всегда касались не всех людей, а «большой части» или «многих». Он учил меня не слушать тех, кто говорит про всех людей вообще, поскольку общей правды для всех не бывает.

Отец предсказывал лишь обыкновенное поведение людей. Как-то раз, когда он повел меня на мой первый концерт, он сказал:

– Гляди: сейчас Ринго спросит зрителей о том, как у них дела, и большинство начнет свистеть и аплодировать.

В другой раз, когда я ходил с ним по магазинам, он сказал:

– Сейчас я скажу продавцу, сколько готов потратить, и он тут же покажет мне вещи подороже.

Когда я спросил, как ему удастся читать мысли и предсказывать будущее, он ответил мне так:

– Большинство людей подражают окружающим. Они идут по накатанной дорожке, следуя определенному сценарию, и зачитывают написанные за них реплики, которые все уже сто раз слышали.

Когда я спросил, почему они не придумывают вместо этого что-то новое, он ответил:

– Потому что боятся. А вдруг они кому-то не понравятся, если начнут свободно самовыражаться? А они до жути боятся кому-то не понравиться.

Он покачал головой и добавил:

– Просто смешно.

Сделав свое новое предсказание, отец усмехнулся, взял небольшую драматическую паузу и пояснил:

– Думаю, большая часть этих детишек думают, что отправились на обычную прогулку в парк.

– Получается, родители их обманули? – спросил я в ужасе^[2].

– Большинство людей почему-то считают это неотъемлемой частью правильного воспитания, – ответил папа со своей фирменной ухмылкой, которая всегда появлялась на его лице вместе с «гусиными лапками» у глаз, когда он насмеялся над «большинством людей».

Сойдя с тротуара, мы сели на траву. Отец с наслаждением вытянул свои длинные волосатые ноги. Во всех моих детских воспоминаниях он всегда носил одно и то же: выдавшая виды крашеная вручную футболка с названием какой-то группы и бежевые шорты. В одежде мамы, сколько помню, было больше разнообразия – иногда она надевала футболки оверсайз и джинсы, а иногда просторные черные платья, развевавшиеся у нее за спиной.

Я смотрел на собравшиеся в парке семьи и пытался сосчитать детей. В какой-то момент из синей палатки показалась красная лицом мать, тащившая за руку своего всхлипывавшего сына. Внимание всех детей вокруг тут же переключилось на эту парочку. Сидевший рядом с нами на покрывале коротко стриженный мальчик заерзал, ткнул пальцем в вышедшего из палатки ребенка и спросил своего отца:

– Почему он расстроился?

Тот потер шею и ответил:

– Да все в порядке.

Я хорошо запомнил этого лжеца: гладко выбритый блондин в наглухо застегнутой рубашке с подвернутыми на мускулистых предплечьях рукавами. Сына его ответ явно не устроил.

– А почему он тогда плачет?

На это отец ему уже ничего не ответил. Его сын смотрел на него широко раскрытыми глазами. Мне было жаль его.

Папа как-то удрученно прошептал:

– Смехотворно.

Дети, случайно или намеренно подслушавшие разговоры соседей, со всех сторон задавали те же самые вопросы своим родителям. Упорно не желая говорить правду, их родители либо утверждали, что сделать укол будет совсем не больно, либо вообще отказывались обсуждать эту тему. Одна мать сказала своему ребенку: «Я никому не дам сделать тебе больно». Один за другим, все дети в парке впадали в различные формы истерики.

Я точно знал, что будет больно, но не знал, насколько, поэтому спросил у мамы: – А как это, когда делают укол?

– Как будто ужалили, – ответила она. – Или как боль от занозы. Но очень быстро проходит.

На тот момент воспоминания о случае, когда я занозил себе ногу, были, пожалуй, самыми болезненными в моей короткой жизни. Так что мысль о том, что я пережил и не такое, меня успокоила. Я более чем доверял маминому описанию предстоявшей боли. Помню, что думал тогда о том, как ужасно было бы, если бы я не доверял своим родителям и не имел возможности получить у них ответы на волновавшие меня вопросы, почувствовать некую твердую опору.

В один прекрасный момент из палатки высунулась медсестра и назвала мое имя. По ней сразу было видно, что она относилась к «большинству людей». Мы с родителями вошли в палатку. Внутри было достаточно просторно, царил полумрак; вместо пола под ногами была трава. Я заметил висевший на стене одинокий плакат, с которого мне показывал большой палец подмигивающий кролик.

Кресло для пациентов было детским, так что я, сидя в нем, доставал ногами до земли. Медсестра окинула меня взглядом, мысленно явно готовясь к новой истерике очередного дерганого пацана. Игла на распечатанном ею шприце оказалась куда тоньше и короче, чем в мультиках. Изогнув шею, я наблюдал за тем, как медсестра подносит шприц к тому месту на моем плече, где кончался рукав футболки.

– Смотри вон туда, – произнесла она, указывая на стену палатки, – на кролика.

– Я хочу видеть укол, – возразил я.

– Смотри на кролика, – повторила она.

Медсестра замешкалась и взглянула на моих родителей, потрясенно наблюдавших за происходящим. Она пожала плечами, а я сказал:

– Говорю же, я хочу смотреть. Вы мне не верите, что ли?

Прищур медсестры превратился в хмурую озадаченность. Очевидно, она сочла мои слова хамскими, но до меня ей явно никто не говорил подобного^[3].

Она ввела иглу мне в руку, и я буквально разинул рот в немом благоговении. Жалаящая боль от укола заставила меня вздрогнуть и сжаться, но в целом она была терпимой и быстро прошла, как и обещала мама. Я даже улыбнулся, радуясь маминой меткой оценке. Выражение моего лица ощутило смутило медсестру. Она склонилась ко мне, тепло пожала мою маленькую руку и сказала:

– Ты самый храбрый мальчик из всех, что я видела.

Меня буквально распирала гордость – она явно делала уколы многим детям, так что из ее уст эти слова что-то да значили. В принципе, мне вполне верилось, что мало какой ребенок улыбался при уколе, особенно при первом в своей жизни. Я нежился в лучах мнимой славы – слова медсестры официально доказывали, что был самым храбрым паренком в мире^[4]. Я чувствовал себя победителем на некоем престижном соревновании. Я уже собирался толкнуть целую речь о том, что это все благодаря моим родителям, но отец успел первым.

– Все детишки могли бы быть храбрыми, если бы им давали такую возможность, – сказал папа. – Их родители даже про само существование уколов боятся им рассказывать.

Мама, у которой снова съехали очки, радостно улыбнулась.

– Они же плачут вовсе не из-за уколов, – добавила она, – а из-за предательства родителей^[5].

Выслушав папу с мамой, медсестра нахмурилась и вновь обернулась ко мне.

– Я все равно считаю тебя самым храбрым мальчиком из всех, что мне доводилось видеть.

Я еще тогда заподозрил, что она испытывала ко мне жалость из-за того, что поведение моих родителей столь отличалось от прочих, и решила, что они, вероятнее всего, вырастят меня ненормальным^[6].

Я гордо вышел из палатки с кусочком ваты и бинтом на руке, думая о блестящем будущем, ожидавшем самого храброго мальчика в мире, о чудесах, которые я увижу там, куда остальные побоятся заглянуть. Я представлял себе других детей, проводящих свою жизнь, глядя на подмигивающего кролика и упуская самое интересное.

Я повернулся, намереваясь поблагодарить маму с папой за то, что сразу сказали мне правду, но не увидел на их лицах и тени прежней гордости. Мама положила голову папе на плечо, а тот приобнял ее за плечи.

– Как же это несправедливо, – сказала она.

Папа вздохнул в ответ.

– Она все видела своими глазами – Майкл не заплакал. Она лжет детям, а мы вывели ее на чистую воду. Естественно, ее это взбесило, и она выместила свою злобу на нас.

Мама уныла поплелась за отцом, прохныкав:

– Мы ей не понравились.

Папа убрал руку с ее плеч и ощутимо напрягся.

– Ее мнение не должно тебя волновать, вообще. Она просто случайный чужой человек^[7].

– Мы ведь просто сказали правду^[8], – ответила мама, повесив голову.

Я хотел было обнять ее и сказать, что люблю, однако, почувствовав раздражение отца, решил встать на его сторону. Мне тоже хотелось, чтобы мама приняла наконец тот факт, что мы многим не нравимся и что оно того стоит. Что мы не могли быть одновременно нормальными и особенными. Самый храбрый мальчик в мире тоже не мог вот так просто взять и вписаться в свое окружение. Морально я был более чем готов к почетной социальной изоляции праведника.

Мои родители были уверены в том, что все дети рождаются честными, что мы абсолютно свободно самовыражаемся до тех пор, пока родители, учителя и сверстники не выбивают из нас искренность, наказывая и пристыжая за нее. Большинству людей гораздо более естественной и нормальной кажется как раз неспособность ребенка выражать свои чувства и мнения, а также подмена самовыражения мимикрией и имитацией, призванной хоть каким-то образом снискать у окружающих внимание и любовь. Согласно результатам ряда исследований, дети начинают лгать в среднем в возрасте примерно

двух лет, за исключением тех, чьи родители обращают на это особое внимание. Так или иначе, мои родители никогда не задавались целью превратить нашу семью в маленький культ искренности – они просто были самими собой. Как и большей части других детей, мозги мне промывали совершенно не специально.

Вежливо – не значит уважительно

Когда я был еще дошкольником, мама каждый день играла со мной в «поделись своими мыслями». Я рассказывал маме всякую всячину, она все это записывала на бумажке, а потом мы по очереди иллюстрировали получавшиеся истории. Смотри какой-нибудь фильм или даже просто телевизор, я по ходу дела постоянно бегал к маме и рассказывал ей об увиденном. Эта часть процесса мне нравилась даже больше, чем, собственно, сам телевизор. Поняв, насколько я люблю разговаривать, мама даже придумала своеобразную игру, начав брать у меня интервью. Иногда она напоминала «Что ты выберешь?»^[9], а иногда «правду или действие», только без действий. Определяться со своим мнением по тому или иному вопросу, формулировать и выражать его было моей любимой игрой. К тому моменту, когда мне исполнилось четыре, маме настолько нравились мои высказывания, что она решила их записывать.

Она поставила на мой маленький пластиковый детский столик диктофон и пригласила меня говорить обо всем, что придет в голову. Сама она села неподалеку и стала слушать, робко втянув шею, с застенчивым восторгом преданного фаната, получившего возможность взять интервью у своего кумира.

– Когда я нажму кнопку, просто говори все, о чем думаешь, – сказала она.

Глядя сквозь пластиковое окошко кассеты на крутящиеся катушки, я разразился свободным потоком мыслей, обретшем форму импровизированной философской тирады, причем говорил я без запинок, без всяких «э-э-э» и «м-м-м», и только не выговаривая «р» и заменяя его на «л».

– Если у тебя есть любовь, – выдал я на одной из таких кассет, – то у тебя есть любовь для всех в миле!

Потом я некоторое время рассуждал о «песке на зубах», поскольку слышал в рекламе упоминание зубного камня. Я все говорил и говорил, пока диктофон не выключился. Улыбавшаяся до ушей, вернее, до нижних краев своих гигантских очков, мама вернулась к моему столику и крепко меня обняла. Надо сказать, мамины объятия чаще всего походили на наезд особо любвеобильного грузовика.

– Я тебя люблю, люблю-люблю-люблю! – говорила она. – И люблю все твои мысли!

Кассеты эти я называл «Говорильные записи Майкла». Мама оставляла их в магнитофоне, стоявшем на тумбочке рядом с моей кроватью, чтобы я мог слушать их на ночь, убаюкиваясь звучащим в темной комнате собственным голосом.

Папино же пристрастие к разговорам было столь велико, что он просто не способен был участвовать в диалоге, не отвечающем некому минимальному стандарту качества и ясности. Он, к примеру, совершенно не умел общаться с маленькими детьми. В четыре года я мог лишь вместе с ним слушать музыку в его фонотеке.

Отец устраивался на маленьком и жестком сером диванчике, окруженном, подобно крепостным стенам, полками высотой до самого потолка, на которых хранились аудиозаписи. Я обычно садился на укрытый серым ковром пол или на невысокую стремянку, на которую папа вставал, чтобы доставать пластинки с самых верхних полок. Иногда я раскачивался в такт музыке или даже танцевал. Папа чаще всего включал то, что, по его мнению, должно было мне понравиться. Моей любимой была «Boris The Spider» группы The Who. Уже тогда я понимал, что когда стану старше, то смогу говорить так же, как папа, и что наше с ним времяпровождение выйдет на новый уровень.

Как-то раз мы с мамой усадили отца впервые послушать одну из «Говорильных записей Майкла»; согласившись, папа устроился рядом с мамой на здоровенном диване, едва помещавшемся в комнате. Он закинул правую ногу на волосатое колено левой и, обернувшись к телевизору, принялся поглаживать покрывавшую его округлый подбородок бороду – именно в такой позе он обыкновенно слушал музыку. Из колонок полился мой голос; мне нравилось слушать его на большой громкости. Я постоянно переводил взгляд с маминого лица на папино, жадно ловя их эмоции. Мама радовалась, улыбалась и смеялась, а отец просто слушал, чуть наморщив лоб; его большие темно-карие глаза не выражали абсолютно ничего. Когда «Говорильная запись Майкла» кончилась, оборвавшись щелчком на середине предложения, отец шевельнулся, опустил обе босые ступни на ковер и сложил руки на коленях, обхватив локти.

– Для начала, – сказал он, – зубной камень не имеет никакого отношения к песку. Это болезнь, повреждающая зубы возле десен –

вот этих розовых штук, из которых они растут, – он приподнял пальцами губу, продемонстрировав мне, о чем именно шла речь. – А в остальном я практически ничего не понял.

– Ну не знаю, мне вот «Говорильные записи Майкла» нравятся, – сказала мама.

Уловив в ее словах неодобрение, отец рассердился и встал в стойку «шоколадной защиты».

– Это как злиться из-за того, что я не люблю шоколад!^[10] – возмутился он. – Мое к нему отношение никак не связано с твоим. Какая разница, нравится мне что-то или нет? – в такие минуты даже жесты отца приобретали раздраженный характер – он тряс головой и опускал ладони на ноги с неосознанно громкими хлопками. – Я очень рад, что тебе по душе «Говорильные записи Майкла»! Но я абсолютно ничего не могу поделать с тем, что мне они не нравятся! Человек не властен над своими предпочтениями. Я же не виноват, к примеру, что мне не нравится шоколад!

Отец все говорил и говорил о том, сколь смехотворно отношение окружающих к тому, нравится или не нравится ему шоколад, а я внимательно слушал, стиснув зубы и наморщив лоб, словно пытаюсь выдавить побольше мыслей из своего мозга. Я чувствовал, как в него постепенно ложится новая и совершенно не страшная концепция: мне могла нравиться запись, которая не нравилась отцу. Нам необязательно было всегда сходиться во мнениях. Я имел право на свое мнение, и мне не требовалось на это ничье разрешение, даже разрешение родителей.

С тех пор, слушая «Говорильные записи Майкла» на ночь, я держал в уме одновременно и мнение отца, и свое собственное. Соблазн принять его точку зрения был велик, но я каждый раз вспоминал его же собственные слова о том, что мне не должно быть дела до его мнения. А я, надо сказать, любил приходить к собственным выводам – свобода такого рода была для меня милее и дороже тысячи комплиментов.

Единственная проблема заключалась в том, что мне хотелось иметь возможность радоваться, когда я кому-то нравлюсь, но при этом не огорчаться в противном случае. Разумеется, в четыре года я не мог все это толком сформулировать, но с течением времени мой внутренний мир автоматически пришел в этом отношении в состояние выгодного

баланса – я все еще был способен приятно удивляться, узнав, что нравлюсь кому-то, но мне это не было необходимо.

Мне хотелось играть с отцом, но рисованием тот не интересовался, а до возраста, в котором можно было бы с ним нормально беседовать, я еще не дорос. Как-то раз на выходных, зайдя к нему в фонотеку, я обнаружил его сидящим на своем излюбленном диванчике и разглядывающим конверт одной из пластинок.

– Папа, – позвал я, – а давай поиграем?

Отец отложил конверт, прислонив его к спинке дивана, и, очевидно, стал перебирать в уме варианты игр.

– Так, ну, читать ты еще не умеешь, так что в крестословицу^[11] не выйдет. Может, ты уже дорос до шахмат? – задумчиво произнес он. О неведомых шахматах я никогда не слышал, но искренне надеялся, что дорос до них.

Отец вытащил из недр гаража небольшую деревянную шахматную доску и опустил ее на серый ковер. Я с интересом наблюдал за тем, как он аккуратно расставлял фигурки в немислимо сложном порядке.

– Это король, – пояснил отец, подняв вторую по высоте фигурку и показав на маленький крест у нее на голове. – Он может ходить на одну клеточку в любом направлении.

Он подвигал короля, показывая мне, как это делается. Я напрягся, изо всех сил пытаюсь запомнить правила. Собственно, так прошло все мое детство – в постоянном натаскивании самого себя на то, чтобы пристально наблюдать за окружающими и внимательно слушать и запоминать все сказанное^[12].

Не помню, сколько времени ушло у отца на то, чтобы объяснить мне правила и убедиться, что я понял принцип передвижения всех фигур, но вскоре мы уже провели первую полноценную игру. Отец быстро поймал моего короля в ловушку – куда бы я им не пошел, тот везде попадал под шах. Затем папа опрокинул моего короля пальцем и тот упал на бок, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

– Шах и мат, – сказал он.

– Что это значит? – спросил я.

– Это значит, что я выиграл.

Наблюдая за своим все медленнее и медленнее покачивавшимся королем, я расплакался. Отец же просто спросил:

– Хочешь, сыграем еще?

Освоив шахматы, я стал приставать к отцу с просьбами поиграть каждый раз, когда тот был дома. Иногда к нам приходила мама и молча садилась читать, вязать или работать рядом, пока мы играли. Разумеется, я постоянно проигрывал. Папа каждый раз спрашивал: «Хочешь, сыграем еще?», и я неизменно отвечал: «Да».

Шахматы были моей первой соревновательной игрой. Игры с мамой в рассказы и рисование не подразумевали победителей и проигравших, так что сама концепция игр с элементом соревнования была мне незнакома. Вот мой двоюродный брат Сет – тот как раз обожал все превращать в состязание. Каждый раз, когда он предлагал побегать наперегонки по заднему двору, я спрашивал у него: «А почему обязательно наперегонки? Почему нельзя просто побегать, если тебе хочется?»

Как-то раз, когда мы сидели за столом на заднем дворе, он поставил локоть на столешницу и предложил мне раунд в армрестлинг.

– Мне будет больно, – возразил я.

– Ну и трусишка, – ответил он.

После некоторых раздумий я пришел к выводу, что страх перед раундом в армрестлинг и впрямь делает меня трусишкой. К счастью, мне было без разницы, трусишка я или нет. Мнение моего брата на этот счет меня также не волновало – главным было отвертеться от собственно армрестлинга.

– Да, – сказал я ему нейтральным, ничего не выражающим голосом. – Я трусишка.

Сет вскочил из-за стола, намереваясь найти себе другого соперника, но внезапно застыл, стоя на одной ноге. Затем он развернулся ко мне.

– Я поддамся, – предложил он.

– Что значит поддашься? – спросил я.

– Я не буду жать изо всех сил. Дам тебе выиграть.

Я вскочил на ноги.

– Правда?

– Ага, – сказал он, явно довольный тем, что первым рассказал мне о том, что такое игра в поддавки. – Когда мы с папой соревнуемся в армрестлинге, он мне поддается.

И тут меня посетила жуткая мысль о том, что папа тоже мог поддаваться, играя со мной в шахматы. Я расплакался, чем окончательно сбил Сета с толку.

В следующую субботу, сидя на полу папиной фонотеки перед шахматной доской, я спросил отца:

– А почему ты мне не поддаешься?

Тот помахал рукой в воздухе, будто отгоняя от лица невидимую муху.

– Если я начну тебе поддаваться, как ты сможешь понять, стал ты лучше играть или нет? Как сможешь понять, выиграл ли ты у меня хоть раз по-настоящему? Как вообще сможешь мне доверять? – ответил отец и тихонько рассмеялся. – Как же это дико – играть в поддавки, – пробормотал он себе под нос. – Понятия не имею, кому и зачем это вообще может быть нужно.

– Может, поддаваться вежливо? – предположил я.

Отец нахмурился.

– Вежливость – не всегда проявление уважения^[13], – сказал он. – Вести себя уважительно – значит верить в способность собеседника принять правду, или по крайней мере давать ему шанс хотя бы попытаться это сделать!

Последовавший пассаж папы оказался для меня слишком сложен^[14].

– Если все вокруг будут тебе поддаваться, ты не сможешь научиться проигрывать. А потом тебе попадетсч честный человек, и все – ты в ловушке. Ты слишком изнежен и хрупок. Тебя ведь не готовили к тому, чтобы быть храбрым и открыто принимать свои чувства и управлять ими. Тебе это было просто не нужно, ведь ты привык общаться с подхалимами и «вежливыми» людьми, которые тебе поддаются. И вот из-за этого мы окружены миллионами трусов, впадающих в истерику при малейшем столкновении с реальностью и искренне полагающих, что весь окружающий мир с какой-то стати обязан постоянно обкладывать их мягкой периной уютной лжи и лести, – отец повесил голову, явно разочарованный этим миром. – Играя с тобой, я не стану поддаваться, – сказал он, – я слишком тебя уважаю.

Я глубоко прочувствовал эти слова. Папа меня уважал. Я понял, почему уважение лучше вежливости и почему они плохо сочетаются. Мы продолжили игру, в ходе которой папа периодически молча качал головой. Мне казалось, что он думал о моем не столь удачливом

двоюродном брате и о его отце, о том, что они были слишком
изнежены и хрупки, чтобы по-настоящему уважать друг друга, как мы
с папой.

Скисшее молоко

Мы с родителями всегда были сродни заводным игрушкам – так же механически двигались вперед, невзирая на любые препятствия и бесконечно маршируя, даже упершись в стену. Мы просто физически не могли остановить свои внутренние шестеренки. Самое большее, на что мы были способны – это стараться пересилить их вращение.

Родители обожали рассказывать мне истории о собственном детстве, и в результате я еще ребенком понял, как они стали такими искренними. Мама с папой познакомились в старшей школе в 1966 году, когда им обоим было по четырнадцать. Мама была к тому моменту уже наслышана о папе и его репутации клоуна и шутника, постоянно отпускавшего колкости и пародировавшего учителей. На их первом свидании он повел ее в кино на экранизацию «Хладнокровного убийства» Трумена Капоте – пожалуй, самый неподходящий фильм на всем белом свете для такой ситуации. Они оба плакали в конце, когда печального убийцу казнили. В тот момент папа произвел на маму большое впечатление тем, что, в отличие от большинства сверстников, не стеснялся плакать, особенно в присутствии практически незнакомой девушки.

К моменту моего рождения четырнадцать лет спустя между ними уже установилось практически полное взаимопонимание. Однако разница в их воспитании все же вылилась в несколько принципиальных мировоззренческих разногласий.

Мамина семья постоянно разрывалась между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом, поскольку ее родители, Грэмми и Па, занимались продажей предметов декора и украшений для тортов, а в этих двух городах справлялось больше всего свадеб. Образ Па вызывал у меня ассоциации с путешествующими торговцами из старых фильмов, ходивших по поездам и спрашивавших: «Эй, паря, чем промышляешь?» Говорил он чаще всего о том, какой ажиотаж вызывал у женщин, о своих успехах на фронте и в спорте и о тупости своей жены и детей, причем зачастую преувеличивая или вообще привирая. Он был весьма общителен и мил внешне и умел очаровывать людей, но при этом был достаточно скрытен. Сомневаюсь, что он хоть раз в жизни кому-нибудь открыл свои истинные чувства.

Жестокий отец и наркозависимая мать Грэмми обеспечили дочери расшатанную психику и глубочайшую, отчаянную потребность в одобрении со стороны каждого встречного и поперечного. Почти каждое взаимодействие с окружающими ее оскорбляло, и в результате большую часть времени она пребывала в состоянии хронической обиды на все и вся. Ее чувства можно было задеть буквально чем угодно, и никакие самые строгие правила этикета не способны были от этого уберечь. Для Грэмми все люди делились на «милых» и «гадких» в зависимости от их способности предугадывать и исполнять ее прихоти. К примеру, ее безумно раздражали недостаточно польщенные ее присутствием официанты, не осыпавшие ее комплиментами. Особую ненависть она питала к врачам, имевшим наглость задавать вопросы о ее возрасте и диете или, упаси боже, намекавших на то, что у нее есть те или иные проблемы со здоровьем. Неприятные диагнозы, естественно, тоже казались ей хамством.

Она понимала, конечно, что постоянные обвинения человека в грубости – не самый лучший способ ему понравиться, и что в этом отношении была необходима постоянная самоцензура.

– Ни один человек не знает, что я на самом деле о нем думаю, – хвасталась она маме, словно это был некий идеал, к которому все должны стремиться.

Вся материнская мудрость, которую она передала моей маме, сводилась к искусству мимикрии под желания окружающих. Если верить Грэмми, мужчинам нужно было, чтобы женщина притворялась счастливой дурочкой, всегда следила за своей внешностью и была максимально женственной. В женской же компании маме следовало скрывать любые свои изъяны и являть собой некий идеал, однако сохранять при этом благосклонность, давая даже тем, кого она презирала, почувствовать себя особенными.

Многих людей, особенно девушек, с детства приучают жертвовать собственными интересами в угоду окружающим, однако мамина семья доводила эту практику до крайностей.

Мое представление о том, какой мама была в четырнадцать, когда повстречала отца, строится во многом на одной истории, рассказанной ею, когда мне было всего года четыре или пять. Как-то раз одна из маминых подруг в старшей школе пригласила ее к себе домой на обед. Когда маму спросили, что она будет пить, она попросила молока.

Сделав первый глоток, мама обнаружила, что молоко скисло. Никто из сидевших за столом, кроме нее, молоко не пил. Однако она на тот момент уже многое переняла от Грэмми и промолчала, посчитав, что комментарий по поводу скисшего молока может показаться невежливым. Более того, попросить стакан молока и не выпить его было, по ее разумению, еще более невежливо. Мама понимала, что вся наука этикета вращалась вокруг умения спокойно и невозмутимо переносить такие небольшие неудобства, чтобы не ставить окружающих в неловкое положение. В результате четырнадцатилетняя мама упорно продолжила пить скисшее молоко, пока ее просто-напросто не вырвало.

Рассказав мне эту печальную историю, мама спросила:

– Ты ведь не стал бы пить скисшее молоко, правда, Майкл?

Я ответил, что не стал бы, и она крепко меня обняла, сказав:

– Не хочу, чтобы ты чувствовал себя обязанным пить скисшее молоко, никогда в жизни.

Рассказ о семье отца следует, пожалуй, начать с его бабушки. Та была родом из Вустера, штат Массачусетс. На единственной сохранившейся фотографии (сделанной в 1930-е годы, на пике ее куража) она запечатлена одетой в мешковатые брюки и пиджак с широкими лацканами, с перекинутой через плечо лисьей шкурой, подобная какому-то немислимому шекспировскому принцу, несущему охотничий трофей. Лицо у нее было суровым и жестким, а волосы – короткими. Рядом с ней стояла меркнувшая на ее фоне сестра, улыбающаяся и абсолютно нормальная, если не считать обвивавших ее рук прабабушки, крепко державших сестру длинными, унизанными кольцами пальцами. В камеру прабабушка смотрела тяжело и недобро, заранее презирая любого, к кому этой фотографии суждено было попасть в руки много лет спустя. Ее семья эмигрировала в Америку из восточной Европы незадолго до начала первой мировой войны и осела в Вустере, штат Массачусетс. Там она вышла замуж за другого иммигранта и родила восьмерых детей. Пятой из них в 1927 году родилась папина мама, которую мы все называли Баббе. Прабабушку, соответственно, называли Биг-Баббе. Когда Баббе было девять, ее отец окончательно надоел своей супруге – и Биг-Баббе выгнала его из дома и наказала детям переходить на другую сторону улицы, лишь заведев его. Даже живя в литовском районе Вустера, где все друг друга знали и

постоянно друг с другом сталкивались, Биг-Баббе сочла такую «меру пресечения» достаточно эффективной. Все, кто ее знал (включая ее бесчисленных мужей, рано или поздно ставших бывшими) утверждали, что она моментально бросала любого мужика, стоило тому впервые сказать ей «нет». В результате Баб-бе все детство исправно переходила на другую сторону улицы при виде собственного отца.

Биг-Баббе и так-то недолюбливали в округе, но тот факт, что она выгнала из дома мужа, еще и публично унизив его при этом, возмутил общественность до абсолютно невыносимой степени. Росшая без отца под опекой столь жестокой женщины, люто ненавидимой соседями, Баббе многое готова была отдать за то, чтобы выбраться из Вустера. Биг-Баббе всегда мечтала перебраться в Калифорнию – одному Богу ведомо, почему – и Баббе унаследовала от нее эту мечту. В двадцать два года она вышла замуж за моего дедушку, которому было тогда двадцать семь, и сказала ему: «Я уезжаю в Лос-Анджелес. Ты со мной?»

Ни Баббе, ни дедушка Зайде никогда до этого не покидали Вустер. Зайде был низким, простым и свойским мужичком, обожавшим травить анекдоты и спать – иными словами, он был совершенно не из тех, кто спонтанно бросается на поиски приключений, оставляя при этом позади родню. Однако Баббе все же попросила его уехать с ней в Лос-Анджелес. Она, в отличие от Биг-Баббе, все же нашла себе мужа, который не смел ей перечить.

Вместе с Баббе в Лос-Анджелес в 1950 году переехала и ее мать с остальными детьми. Семья Зайде же осталась жить в Вустере. Сам он часто их навещал, а вот Баббе категорически отказывалась возвращаться в родной город.

По словам папы, с точки зрения воспитания детей Баббе вела себя как любая нормальная еврейка, выросшая в эпоху Великой депрессии. Впрочем, надо понимать, что в моей семье всегда бытовало не самое нормальное понятие «нормальности».

Папа говорил:

– По ее мнению, ты либо вырастал сильным и закаленным, либо погибал. Когда я в детстве жаловался на то, что мне холодно, она отвечала: «Неправда. Никакой это не холод».

Заходя с папой в магазин игрушек, Баббе разрешала ему самому выбрать что-нибудь – что угодно. Когда он определялся с выбором игрушки, она неизменно отказывалась ее покупать.

По праздникам папа постоянно нервничал, поскольку в детстве насмотрелся, как его мама, открыв очередной подарок от мужа, заявляла, что тот ей не по вкусу. Сам папа пытался подстраховаться, пытаясь вызнать у нее заранее, чего бы ей хотелось, но она каждый раз отвечала: «Так не принято».

По маминым рассказам Баббе всегда выходила жестокой и деспотичной женщиной. Папа, в сущности, рассказывал про нее точно такие же истории, но при этом без единого намека на недовольство и вообще какой бы то ни было негатив. Стоило кому-то из нас сказать что-нибудь малоприятное про Баббе, папа моментально вставал на ее защиту, утверждая, что она была любящей матерью.

Надо сказать, что все эти детские переживания прямо отразились на характере отца.

– Никто не вправе ожидать от тебя телепатии, – говорил он мне, – окружающие всегда сами должны просить тебя о чем-либо. А ты всегда должен иметь право задавать им вопросы. Пытаться угадать, что человек чувствует – неправильно и бесцеремонно. Все мы устроены по-разному. Я вот, например, не хочу, чтобы кто-то делал какие-то выводы о моих чувствах. Если они спросят прямо, я отвечу.

Слова Баббе о том, что «так не принято», вылились в отцовскую веру в людское разнообразие.

– Какую бы дикость ты ни выдумал, обязательно окажется, что хотя бы в каком-нибудь одном существовавшем на протяжении всей истории человечества обществе она считалась общепринятой нормой, – утверждал он, – спроси любого антрополога или психолога.

Когда папе было восемь, он решил вести дневник. Скопив карманные деньги, он купил себе записную книжку. Он написал на внутренней обложке свое имя, поставил на первой странице дату и начал писать первое предложение. Выведя всего пару слов, он остановился, осознав, что, обыскав его комнату, Баббе наверняка найдет этот дневник и что ей вряд ли понравится то, что он собирался написать. Он вычеркнул написанное и решил начать со вступления, которое ее бы удовлетворило. Тут он осознал всю бессмысленность ведения дневника с поправкой на одобрение матери. В результате

дневник отца как начался, так и окончился тем самым недописанным и зачеркнутым предложением.

Услышав эту историю от папы, я тут же спросил, о чем он собирался написать в дневнике. Тот ответил, что не помнит и что дневника давно уже нет – Баббе выкинула многие из его вещей, не спросив разрешения. Мне было интересно, открыла ли она папин дневник, прежде чем его выкинуть. Может, Баббе просто увидела зачеркнутое предложение и не стала вчитываться. Теперь-то я понимаю, что далеко не каждому человеку хочется знать обо всем, что происходит в голове у его ребенка, но в то время мой опыт ограничивался наличием у меня самого родителей, желавших знать, о чем я думал, и готовых в свою очередь поделиться собственными мыслями со мной. Папин рассказ тогда показался мне настоящей трагедией – историей о ребенке, чья мать совершенно не желала его понять и узнать получше.

Папины подростковые годы пришлись на шестидесятые. Он вел тогда колонку в школьной газете и в какой-то момент выяснил, что за написание музыкальных обзоров и рецензий раздавали бесплатные пластинки и билеты на концерты. Он написал письма в редакции всех музыкальных журналов, которые знал, с предложением писать для них эти обзоры. Из многих пришли утвердительные ответы вместе с пластинками для обзоров. Те, что ему не нравились, папа выменивал на другие. Надо сказать, что папа, унаследовавший от матери и бабушки страсть к критике, был абсолютно смешон в своих беспощадных подростковых рецензиях. Рассказывая мне о своей ранней карьере музыкального критика, папа от души смеялся над собственным незамутненным юношеским максимализмом:

– Я как-то раз написал письмо в редакцию «Лос-Анджелес таймс», в котором в пух и прах разнес их положительную рецензию на тур «Exile on Main St.» в 1972 году. Я в нем назвал Rolling Stones кряхтящими старперами, едва способными пересечь сцену!

Отец нередко задавал невежливые вопросы и частенько ненамеренно оскорблял своих любимых исполнителей. Якобы в ходе интервью, которое он брал у группы Black Flag, Генри Роллинз даже пригрозил папе мордобоем.

В конце семидесятых папе представился шанс взять интервью у одного из его кумиров – Рэнди Ньюмана.

– Я послушал его последний на тот момент альбом, – рассказывал папа. – Такое впечатление, что Рэнди при написании слов буквально не вылезал из словаря рифм: «грусти» – «прости», всякое такое. Я спросил его, почему рифмы в новом альбоме такие заезженные, сознательно ли он решил не делать упор на слова песен, – пересказывая эту историю, папа качал головой и постоянно посмеивался над молодым собой. – Он, вероятно, счел меня самым безбашенным интервьюером из всех, что ему встречались. Сказал, что лично ему рифмы нравятся, и добавил что-то вроде: «Жаль, что вас они разочаровали». Но мне этого было мало – я продолжал приводить примеры плохих рифм из его последнего альбома, а он все так же их отстаивал!

Ему казалось, что Ньюману понравится столь пристальное внимание к его музыке. Папа с детства привык выражать восхищение и выказывать уважение через критику.

Друзья папы тоже имели привычку все критиковать и постоянно спорили на тему искусства и политики. Мамины же друзья и подруги предпочитали обсуждать общих знакомых. Надо сказать, папа ладил с ними не лучше, чем мама – с его друзьями.

В 1979 году, за год до моего появления на свет, папа пытался устроиться на работу в крупную студию звукозаписи в Лос-Анджелесе. Он подал заявление и через некоторое время его пригласил на собеседование один человек, который в то время уже много лет как был достаточно крупной шишкой в музыкальной индустрии. Встреча с ним и его секретаршей была назначена в одном ресторане в Голливуде. Когда все уселись за стол, представитель студии повернулся к папе и внезапно разразился гневной тирадой, в которой подчеркнуто выразил свою глубокую неприязнь к картинам Пабло Пикассо. Закончив свою речь, он уперся взглядом в отца и потребовал, чтобы тот поделился своим мнением по этому вопросу. Папа в ответ объяснил, почему лично ему Пикассо нравится, прибавив, что кубизм объективно оказал существенное влияние на мировую живопись и что тут личные предпочтения и вкусы уже ни при чем. Мужчина назвал папин ответ идиотским и пустился в очередной монолог о чем-то еще, что ему не нравилось. Цикл повторился еще несколько раз и все по тому же сценарию: он выражал свое мнение, требовал мнения папы, а затем поливал оное грязью. Секретарша просто сидела рядом и молча

наблюдала за разговором. Несмотря на то, что папу такое поведение собеседника ощутимо сбивало с толку, он продолжал честно отвечать на каждый вопрос. Вернувшись домой, он пересказал все это маме и добавил, что на работу его теперь точно не возьмут. Однако уже на следующий день папе сказали, что его берут в штат. Приехав на новую работу, он вновь встретился со своим начальником – тем самым мужчиной с собеседования. На сей раз он говорил с папой с прежней едкостью, но уже без тени той злобы, которую буквально источал в ресторане. В разговоре с его секретаршей папа упомянул, что был уверен, что его не возьмут на работу. Та в ответ заявила, что это была проверка на стрессоустойчивость, призванная показать, насколько соискатель склонен вступать в спор со старшим по должности и способен ли он сохранять спокойствие и ясность мысли в конфликтной ситуации. Проверка такого рода явно была папе по плечу.

Чудо на Хануку

Несмотря на заверения моих родителей в том, что большинство людей любит лгать и любит, чтобы им лгали другие, сам я окончательно в этом убедился, когда бабушка повела меня на встречу с Сантой. Родители мало что рассказывали мне о Рождестве, поскольку мы были евреями^[15]. К тому моменту Грэмми уже несколько месяцев упрашивала маму отпустить меня с ними в Вегас на выходные и обижалась на ее неизменный отказ. Будучи настоящим ветераном злопамятности и чемпионом обидчивости, Грэмми не сдавалась и все вопрошала:

– Что же это за мать такая, которая прячет четырехлетнего ребенка от его бабушки с дедушкой?!^[16]

На самом деле, в том возрасте я достаточно много времени проводил с Грэмми. Я глядел на нее, изучая разницу в цвете между ее шеей и напудренным лицом. Ее фиолетовые солнцезащитные очки сочетались с длинными, крашеными ногтями и подходили к ярко-розовой губной помаде. У нее была неприятная, отработанная улыбка участницы конкурса красоты, заранее уверенной в своем поражении. Она мне никогда не нравилась; впрочем, она отвечала взаимностью. Я хорошо это знал по той простой причине, что после каждого ее приезда к нам в гости мама пересказывала мне ее жалобы: то я слишком мало ей улыбался, то не заметил, как она построилнела, то задавал слишком много вопросов, то был недоволен, как она водит машину, то смущал ее тем, что жаловался, будто она меня вот-вот раздавит, когда мы сидели в одном кресле, и так далее. Закончив тот пересказ, мама добавила:

– Но ты во всем прав. За рулем нельзя рыться в сумочке, а улыбаться и делать комплименты нужно только тогда, когда тебе самому этого хочется. И стоит задавать вопросы обо всем, что тебе хочется узнать. И да, *нужно* пытаться обратить на себя внимание, если на тебя кто-то сел!

С каждым маминым отказом ворчание и недовольство Грэмми все усиливалось, и в какой-то момент мама просто не смогла в очередной раз отказать. Всю ночь по дороге до Вегаса я крепко проспал. Утром бабушка вновь загнала меня обратно в машину и тронулась с места.

Надо сказать, я никогда еще не оказывался в такой ситуации – ехал в машине и понятия не имел, куда именно. Когда я спросил Грэмми о пункте назначения, она полностью обернулась ко мне, все еще держа руками руль, и предложила:

– А ты угадай!

Я изо всех сил вцепился в ремень безопасности – мне было безумно страшно, что мы разобьемся, пока Грэмми смотрела на меня, а не на дорогу. Родители меня уже просветили на тему того, насколько часто происходят такие аварии.

– Мы едем к Санте! – сказала Грэмми, все еще не отрывая взгляда от моего лица, ожидая, очевидно, увидеть на нем восторг.

Полностью поглощенный мыслями о том, насколько жутко и неправильно Грэмми водит, я отстраненно пробормотал:

– К Санте?

Грэмми вздохнула.

– Мама не рассказывала тебе о Санте? – разочарованно спросила она, поворачиваясь обратно к ветровому стеклу автомобиля. Тут до нее дошло, что она может стать первым человеком, который расскажет мне о Рождестве, и ее руки тут же переместились с руля на мои плечи. – Санта приносит всем подарки!

– Грэмми! – взвизгнул я, – Возьмись за руль!

Еще пару секунд подержав ладони на моих плечах, она неохотно вернула ладони на руль.

– Без Санты не было бы Рождества, – сказала Грэмми.

– Но ведь, – ответил я, – мы же евреи.

– Рождество – это общий праздник, – возразила она. – В канун Рождества Санта на своих волшебных санях прилетает к каждому дому по всему миру, спускается по дымоходу и кладет всем подарки под елку.

Я напряг все свои извилины, пытаюсь это осмыслить. Я даже представил себе свою голову изнутри, вообразив пульсирующий в большой банке мозг. В результате уже через минуту меня укачало, да к тому же у меня разболелась голова.

– А у нас нет ни елки, ни дымохода, – сказал я.

Мама всегда хвалила меня за такие проявления смекалки, однако Грэмми мои слова явно пришлись не слишком по вкусу – остаток

дороги мы провели в напряженной тишине. Добравшись до торгового центра, мы встали в очередь к небольшой елке.

Грэмми показала на пластиковые деревья, посыпанные белым порошком.

– Гляди, снег! – произнесла она.

Я уже тогда знал, что Лас-Вегас – это пустыня, а в пустыне снега быть никак не может. Заинтересовавшись, я резво поднырнул под преграждавшую путь бархатную ленту, чтобы пощупать снег. Тот оказался совсем не снежным на ощупь – он даже не был холодным.

Грэмми окликнула меня сквозь стиснутые зубы, пытаясь избежать конфуза.

– Майкл! Не трогай снег!

Оторвав мою руку от ненастоящего снега, она отвела меня обратно в очередь.

Я пребывал в полнейшем недоумении. Я никак не мог взять в толк, с чего вдруг Грэмми врать мне про снег. Еще более дикой мне казалась ее убежденность в том, что я скорее поверю ее словам, чем собственным глазам.

Грэмми прервала мои тяжкие думы.

– Смотри! – воскликнула она, приоткрыв рот в притворном восторге, который я нашел отвратительно снисходительным. – Это же Санта!

И действительно – приглядевшись, я увидел сидящего на троне и позировавшего для фотографий Санту, к которому, собственно, и выстроилась очередь, к началу которой мы постепенно приближались.

– Когда подойдем, скажи ему, чего бы тебе хотелось на Рождество, – объясняла Грэмми. В тот момент мне хотелось на Рождество лишь одного – доказательства ее лжи.

Подойдя еще ближе, мы услышали голос Санты.

– Почему он все время говорит «Хо-хо-хо?» – спросил я.

– Санта так смеется, – ответила Грэмми, пренебрежительно помахав своим фиолетовым маникюром.

В конце концов уставшая Грэмми таки посадила меня на колени к Санте и заняла наблюдательную позицию на краю подиума. Я принялся внимательно изучать Санту на предмет каких-либо проявлений магии.

– Хо-хо-хо, привет, Майкл! – произнес тот. Я открыл рот от изумления, пытаюсь понять, откуда ему известно мое имя. Придя к выводу, что единственным разумным объяснением была магия, я стал хоть чуточку склоняться к мысли, что этот странный человек и впрямь обладал некими сверхъестественными способностями. Но эту гипотезу еще необходимо было подтвердить.

– Хо-хо-хо, Майкл, – повторил Санта, явно смакуя мое удивление тем, что ему известно мое имя. – Что бы ты хотел получить на Рождество?

Я внимательно всмотрелся в его лицо, чтобы не пропустить его реакцию на мои слова, и произнес:

– Я еврей.

Санта запрокинул голову и вполне по-человечески рассмеялся. Затем он склонился поближе ко мне и прошептал:

– Я тоже, парень. Я тоже!

Тут уже мы оба прыснули. Было в этой разделенной на двоих запретной истине нечто безумно забавное. Честность этого торгового Санты стала для моих персональным маленьким рождественским чудом.

В конце концов я слез с коленей Санты и вернулся к сиявшей от радости Грэмми.

– Вы с Сантой так весело смеялись! – восхитилась она.

Мое желание обличить ложь Грэмми переросло в нервозность. С одной стороны, я боялся задеть ее чувства, с другой – не поведать о том, что только что произошло, было просто невозможно.

Я пересказал ей слова Санты, и Грэмми буквально сложилась пополам от истерического хохота.

– Ох, Майкл, – произнесла она, отдышавшись. – Я в жизни не слышала ничего более забавного!

– Правда? – удивился я. – Я думал, тебе станет неловко из-за того, что ты наврала.

Смех Грэмми прервался.

– Я не врала, – возразила она, и тут же снова зашлась хохотом. – Не терпится рассказать твоей маме о вашем разговоре с Сантой!

Когда мы вернулись домой, Грэмми пересказала маме эту историю, устроившись на коричневом диване в нашей маленькой гостиной. Я переводил взгляд с одной из них на другую, сравнивая их, глядя то

на яркие одежды Грэмми, то на более спокойный мамин наряд. У меня в голове не укладывалось, что эти женщины связаны родственными узами.

Стоило Грэмми начать рассказ о том, как она отвезла меня к Санте, обычно ласковая мама заметно посуровела.

– Ты отвезла Майкла к Санте, прекрасно зная, что я этого не одобряю? – перебила она.

Грэмми невозмутимо продолжила говорить, пропустив мамин вопрос мимо ушей. По ее словам выходило, что я был рад возможности увидеть Санту и с нетерпением ждал встречи с ним. Весь мой скепсис она решила опустить. Затем она перешла к пересказу нашего с Сантой разговора, причем говорила так, будто стояла рядом и слышала все до единого слова. Я внимательно наблюдал за выражением лица мамы, пытаюсь понять, уловила ли она фальшь в словах Грэмми. Когда та сообщила, как я сказал Санте, что я еврей, мама расхохоталась. На этом Грэмми окончила свой рассказ, опустив и ту часть, где я уличил ее во лжи. Я был абсолютно потрясен ее непонятной уверенностью в том, что такое искажение произошедшего сойдет ей с рук – я ведь стоял рядом, знал правду и был готов избличить ее вранье.

Грэмми уже закончила говорить, а мама все никак не могла отсмеяться.

– Все было не так, мам, – не выдержав, сказал я.

Грэмми полностью проигнорировала мои слова. Впрочем, я прекрасно знал, что, оставшись с мамой наедине, она обязательно начнет ей жаловаться на то, как я поставил ее в неловкое положение. Сдержанная улыбка на лице мамы показывала, что она точно знала, кому из нас верить, что мне она доверяла больше, чем собственной матери, и правильно делала. Я же лишь дивился тому, как просто, оказывается, быть честным, и как легко заслужить чье-то доверие даже в четыре года, и никак не мог взять в толк, почему это было так трудно для Грэмми и других взрослых^[17].

Когда Грэмми, наконец, ушла, мама тяжело вздохнула и морально приготовилась объяснять мне, почему взрослые, собравшиеся в той очереди у торгового центра, лгали своим детям и почему тем так это нравилось. Она рассказала мне, как в моем возрасте тоже подозревала,

что с Санта-Клаусом дело нечисто. Когда она сама спросила об этом Грэмми, та ответила:

– Санта ведь тебе подарки дарит! Какая неблагодарность! Считаешь, что твоя родная мать лжет тебе? Заодно, кстати, с родителями всех твоих друзей? Негодница!

Годами позже, узнав наверняка, что Санты не существует, мама напрямую спросила у Грэмми о том, почему она в тот раз просто не призналась.

– Потому что верить в Санту весело, – ответила та. – Я ведь хотела, чтобы тебе было весело.

Мама честно изо всех сил тщиалась объяснить мне, почему дети так упорно верят в Санту, несмотря на абсолютную неправдоподобность этого мифа. Она говорила, что большинство людей предпочитают честности веселье и возможность не выбиваться из коллектива.

На это я ответил:

– Но ведь люди же придумывают сказки, снимают фильмы, а мы смотрим их и знаем, что это все не по правде, но это все равно весело!

Мама рассмеялась:

– Верно, Майкл! Честно, я не знаю, почему взрослые не говорят детям, что это просто такая забавная традиция. Наверное, им почему-то так нравится, – сказала она. А затем совершенно нехарактерно для себя мама, пойдя против собственных принципов, посоветовала мне воздержаться от развеивания мифа о Санте в разговорах со сверстниками. – В следующем году ты пойдешь в детский сад, и если тебя спросят о Санте, просто отвечай, что ты еврей и можешь что-то сказать только про Хануку. Что можешь вместо этого рассказать им про менору.

Сказать, что я был потрясен, значит ничего не сказать.

– Но это же вранье! – воскликнул я.

Мама на секунду растерялась и смутилась, но все же решила отстоять свою точку зрения.

– Да, – сказала она, – Просто в данном конкретном случае будет лучше, если ты не станешь говорить правду.

Папа бы никогда мне такого не посоветовал.

Детсадовские лицемеры

В детском саду я столкнулся с шумными толпами маленьких проказников, либо толком не говоривших, либо говоривших так неразборчиво, будто никогда не имели дела с диктофоном. Все мои призывы сочинять песенки, шутки или какие-нибудь забавные истории мои новые однокашники неизменно встречали настороженными косыми взглядами. Мои любимые игры, вроде игр в вопросы или придумывание историй к рисункам, им не подходили – не хватало внимательности и усидчивости. Прямо посреди моих пояснений они вскакивали и начинали носиться и кричать. Девочки в среднем лучше владели речью и были внимательнее, но они отказывались играть, да и вообще особо со мной не разговаривали. Я бы и рад был завести друзей, но мои критерии отсеивали весь контингент детского сада без исключения.

Моя воспитательница, миссис Смит, носила очки в металлической оправе и собирала седые волосы в неаккуратный пучок, из которого постоянно выбивались пряди то с одной, то с другой стороны. Она казалась мне старше моих бабушки с дедушкой, и была тихой, но весьма строгой поборницей благопристойности.

Как-то раз, когда я сидел в одиночестве за столом и что-то рисовал, пока остальные мальчишки играли рядом и изображали пулеметные очереди, миссис Смит подошла сзади и положила руку мне на плечо. Я отпрянул, что наверняка показалось ей невежливым; я же посчитал таковым как раз ее жест. Мама всегда говорила мне, что никто не имеет права трогать меня без моего разрешения, и что я всегда имею право сказать «нет».

– Майкл, не хочешь тоже пойти поиграть? – поинтересовалась миссис Смит.

– Я и так играю, – ответил я. – Я играю в «рисование».

Это была моя попытка подколоть ее за ее убежденность в том, что игры, которые мне нравились, нельзя было назвать играми. Она же просто посчитала, что я ее не так понял, и решила пояснить:

– Не хочешь поиграть с другими мальчиками?^[18]

– Нам нравятся слишком разные игры, – заявил я.

Она опустила на корточки рядом со мной.

– А давай мы с тобой вместе подойдем и попросим их взять тебя в игру?

Мне казалось, что я предельно ясно выразил свое нежелание играть в их игры, а она в ответ... предложила мне попроситься играть с ними? Я пришел к единственному логичному выводу: у миссис Смит явно было что-то не в порядке то ли с головой, то ли со слухом. Я закатил глаза, предвидя мучительно долгое объяснение взрослому человеку чего-то настолько простого. Однако, прежде чем я успел открыть рот, мне в голову пришло другое возможное объяснение: может быть, ей показалось, что я и впрямь хотел поиграть с мальчиками, а отрицал это потому, что стеснялся подойти и попросить их принять меня. По сути, миссис Смит обвиняла меня во лжи.

Я стал говорить медленно и снисходительно, так, как это обычно делают взрослые, объясняя что-либо детям.

– Я не стесняюсь. Мне просто не нравятся их игры – у меня уши болят от криков, и я быстро устаю бегать.

Миссис Смит схватила меня за руку и буквально вытащила меня из-за стола.

– Уверена, тебе бы гораздо больше хотелось поиграть с другими детьми, чем сидеть тут одному.

Я попытался вывернуться из ее хватки.

– Мне и одному хорошо, – запротестовал я. Она пропустила мои слова мимо ушей и потащила меня к мальчишкам.

– Да вы издеваетесь, – сказал я.

Миссис Смит остановилась и нахмурилась.

– Прошу прощения?

– Я же вам сказал, что не хочу играть. А вы мне почему-то не верите.

Миссис Смит скривила губы^[19]. Она ахнула, словно я грязно выругался, и отправила меня сидеть в углу. Это было первое наказание в моей жизни – родители никогда меня не наказывали. На глаза стали наворачиваться слезы.

– За что? – всхлипнул я.

– За грубость, – ответила она, снова потащив меня куда-то за руку.

Я ответил вариацией папиной «шоколадной защиты»:

– Мне просто нравятся другие игры – разве это грубо? Вот вам же наверняка нравятся какие-то другие игры, не те же, что нравятся мне? А мои вот не нравятся вам. Это разве значит, что вы грубо себя ведете?

Миссис Смит проигнорировала этот мой аргумент. Единственным человеком в моем окружении, кто точно так же замолкал в ответ на подобные слова вместо того, чтобы начать оправдываться, была Грэмми. Я расценил это как верный признак того, что миссис Смит признавала мою правоту, что ей нечего было мне возразить, но соглашаться с этим она отчаянно не желала. Она усадила меня на позорный стул и ушла. Я уткнулся в стену и разрыдался. В какой-то момент до меня дошел весь абсурд наказания в виде изоляции за желание побыть одному, и я засмеялся. Мне эта мысль показалась самой умной из всех, что когда-либо приходили в голову.

За следующей игрой в шахматы с отцом я похвастался ему этим наблюдением. Папа рассмеялся и сказал:

– Это называется «ирония».

Я безумно обрадовался, что для таких ситуаций уже придумали емкое слово – это означало, что кто-то другой тоже замечал такие вещи и смеялся над ними, что хоть все в детском саду и считали меня ненормальным, но где-то существовали и единомышленники.

– Обалдеть можно, – добавил папа, смеясь вместе со мной над миссис Смит, – В детском саду нет и не может быть никакого правила, обязывающего тебя играть в игры, которые тебе не нравятся, с теми, кто тебе не нравится. Это ее собственные выдумки. Ты что, по ее мнению, должен был специально играть в игры, которые не любишь? [\[20\]](#)

– Пускай остальные играют в игры поинтереснее! – воодушевленно добавил я.

Отец фыркнул, и я явственно почувствовал, что теперь его недовольство было нацелено уже на меня.

– Пускай остальные играют в то, во что хотят. Раз ты не обязан играть в их игры, с чего вдруг они обязаны играть в твои?

Я заплакал, но отец невозмутимо продолжил:

– Нельзя критиковать окружающих за то, что практикуешь сам. Это называется «лицемерие».

Я сразу понял, что это слово мне пригодится еще не раз.

Мама охотно рассказывала историю о еврее-Санте направо и налево. Как-то раз она рассказала ее Баббе и Зайде – мы тогда сидели за стеклянным кофейным столиком в их загородном доме, в котором будто бы навеки застыла атмосфера 1950-х. Зайде по ходу рассказа как обычно то засыпал, то просыпался. Даже когда он не спал, он вечно словно на что-то отвлекался и выглядел рассеянным. Баббе же, напротив, казалась мне похожей на одного из аллигаторов, которых я видел по телевизору – ее взгляд точно так же словно осуждал все и всех вокруг из-под неопределенного количества наслаивавшихся друг на друга полупрозрачных век. Когда мама закончила рассказывать, я вспомнил о своем новом любимом слове и спросил:

– Мам, а Грэмми лицемерная?

Мама ответила без малейшей запинки или раздумий:

– Ну, во всяком случае, Грэмми очень часто ведет себя лицемерно.

Баббе подалась вперед и произнесла со своим жестким, типично массачусетско-еврейским акцентом эпохи Великой депрессии:

– Не говори так! Майкл должен считать свою бабушку лучшей бабушкой на свете.

Мама невесело усмехнулась.

– Поверь, Майкл и сам бы очень быстро понял, что это не так, – ответила она.

Баббе скорчила максимально жгуче-осуждающую мину и повернулась ко мне, словно размышляя, не повесить ли каким-нибудь немислимым образом вину за этот разговор на меня.

Мама тем временем продолжала:

– Если я отвечу «нет» на вопрос Майкла о том, лицемерна ли Грэмми, он просто перестанет доверять либо мне, либо себе самому. Ни то, ни другое мне как-то не особо по душе.

Она повернулась к папе, ища поддержки, но тот лишь безучастно глядел куда-то вниз сквозь стеклянную столешницу.

Первые несколько лет дошкольных занятий я провел преимущественно в слезах. В ответ на неизбежные обвинения в плаксивости я пересказывал обидчикам слова отца о том, что сдерживать слезы – это все равно что сдерживать смех, и пытался

объяснить, что в слезах нет ничего дурного и что скрывать свои эмоции гораздо хуже, не говоря уже о том, чтобы смеяться над теми, кто этого не делает. Решительно никого из моих однокашников эти доводы не убеждали.

Как-то раз один мальчик, который активнее всех называл остальных плаксами, поцарапал коленку на площадке и сам упал на асфальт в слезах. Надо сказать, в моем понимании он и так уже являлся самым большим позором всей группы из-за такого мощного страха перед эмоциями, побуждавшего его смеяться над каждым, кто их проявлял. Однако в тот момент, лежа на асфальте и плача, он расписался еще и в собственном лицемерии. Впрочем, были и плюсы: по крайней мере, он на собственной шкуре понял, почему не стоит называть окружающих плаксами.

Однако совсем скоро он вновь стал обзывать остальных плаксами – у него даже коленка еще зажить не успела, и на ней все еще был бинт. Другой мой одноклассник споткнулся, упал и заплакал, а этот мальчик встал над ним и начал скандировать: «Плакса! Плакса!»

Я подошел к нему и прервал его крики, используя папин метод объяснения путем задавания вопросов.

– Ты тоже плакал, когда поцарапал коленку, – сказал я, – Почему ты и себя не назвал плаксой?

Он напрягся. Я узнал его позу – в нее обычно вставали сердитые и хмурые мужики, которые дрались по телевизору. Вид маленького мальчика, принявшего точно такую же позу, меня рассмешил.

– Я не плакса! – рявкнул он.

– Все видели, как ты плакал, – пожал плечами я.

– А вот и нет! – закричал он, – я не плакса! – он сорвался с места и побежал к зданию детского сада. – Я на тебя нажалуюсь! – крикнул он мне через плечо.

Я побежал следом, на ходу объясняя:

– Ты и ябедами других называешь! Нельзя называть других ябедами, если ябедничаешь сам!

Добежав до миссис Смит, он ухватился за ее ногу.

– Майкл назвал меня плаксой! – пожаловался он.

Так и не отцепив от своей ноги этого якобы не-плаксу, у которого глаза были на мокром месте, миссис Смит присела на корточки, чтобы меня отчитать.

– Это невежливо, – сказала она.

– Да я бы в жизни никого не назвал плаксой! – возразил я. – Мне самому нравится плакать, я каждый день плачу. Плакать хорошо. Я назвал его не плаксой, а лицемером.

Миссис Смит замешкалась. Я начал подозревать, что ей неизвестно значение этого слова, поэтому на всякий случай пояснил:

– Он сам плачет, а потом называет всех вокруг плаксами. Он лицемер.

Миссис Смит прищурилась, все так же глядя на меня и пытаюсь найтись с ответом.

– Я же ему помогаю. Самому сложно понять, что ты лицемер, если никто тебе про это не скажет. Это все равно что сказать ему, что у него что-то в зубах застряло.

Наконец миссис Смит произнесла:

– Майкл, а тебе самому понравилось бы, если бы тебя назвали лицемером?

– Я был бы только рад, что мне об этом сообщили, – честно ответил я.

Миссис Смит покачала головой – она явно уже устала от этого разговора.

– Лицемер – грубое слово, – сказала она.

Я рассмеялся.

– Вообще нет! Папа меня постоянно называет лицемером!

Миссис Смит отшатнулась, встала во весь рост и молча удалилась. Тот мальчик пошел следом, все так же держась за ее ногу. Я воспринял ее уход как побег и очередное доказательство своей правоты.

Когда я пересказал эту историю папе за шахматами, тот от души посмеялся.

– А что ты, по ее мнению, должен был сделать? Специально не обратить внимание на это противоречие? Проигнорировать его? Спустить все на тормозах и смолчать?^[21]

Каждый день, сидя в машине, на которой меня забирали из детского сада, я рассказывал маме обо всех случаях лжи и лицемерия, которые наблюдал в тот день.

– Миссис Смит заставила нас пожать друг другу руки после кикбола, она сказала, что это спортивное поведение! А потом мы играли в испорченный телефон и некоторые из ребят специально все перевирали! А когда я ушибся на площадке, миссис Смит сказала мне, что я отважный, хотя я ничего отважного вовсе не делал!

Мама в ответ обычно смеялась и соглашалась со мной.

– И все-то ты подмечаешь, Майкл!

– Подмечаю, а как же, – отвечал я.

Возможность рассказывать родителям обо всех подобных впечатлениях позволяла мне относительно безболезненно переносить несправедливости детсадовской жизни, а иногда даже находить в них удовольствие. В моменты напряженных конфронтаций с воспитательницей или со сверстниками меня подчас разбирали смех, стоило мне подумать о том, как забавно будет потом пересказывать этот случай родителям.

Мама с папой в основном встали на мою сторону и поддерживали меня, но лишь потому, что искренне считали, что я прав. Если им казалось, что я вел себя нечестно и лицемерно или слишком узко смотрел на ситуацию, они незамедлительно мне об этом сообщали. Такая критика давала мне понять, что они по-настоящему интересуются моими рассказами, дарила мне ощущение собственной важности. В моей семье тишина означала страдание, чистосердечные признания связывали нас друг с другом, а любовь выражалась через конструктивную критику^[22].

Потом наступили праздники – мое первое Рождество в детском саду. Все вокруг только и говорили что о Санте, а мне приходилось усердно держать язык за зубами, чтобы не начать делиться с остальными тайным знанием, носителем которого я являлся. Это был крайне болезненный для меня ритуал посвящения в пассивную ложь – ложь умолчанием. Я много раз слышал от других, как горят щеки и учащается сердцебиение, когда делишься с кем-то своими чувствами. У меня же подобные симптомы вызывала как раз необходимость сдерживаться. Я с ужасом ждал дня, когда эти дети узнают, что их всех водили вокруг пальца. Я знал, что тогда уже не смогу не признаться в

том, что я пассивно участвовал в этом заговоре, что знал об этом обмане с самого начала и никому не сказал.

Однако до этого дня оставалось еще несколько мучительных лет утаивания истины. Надо сказать, что в итоге этот судьбоносный день оказался далеко не так страшен, как я представлял. Не было никаких криков, никакой злости и боли от такого предательства. Когда я сознался в том, что знал правду с самого начала, остальные солгали, заявив, что тоже всегда прекрасно это понимали. Они словно предпочитали правде некую общность со своими друзьями и родными.

– Удивительно, – бормотал я себе под нос, меряя шагами детскую площадку, – и смешно. Просто смешно.

Жопендрежничество

Как-то раз, когда мне было восемь, папа с мамой и с новорожденной Мириам сидели на заднем дворе и слушали шутки, которые рассказывал, пританцовывая и размахивая своими длинными руками, уже четырехлетний Джош. Иногда он хватал надувной мяч вдвое больше него самого, кидал его об землю и бил его руками и головой. Его «шутки» представляли собой достаточно бессвязные микроистории, соединявшиеся словами «а потом». Каждый раз на этом «а потом» Джош замедлялся, чтобы успеть придумать следующую часть. В итоге получалось нечто вроде: «Пингвин подошел к утке и сказал, что хочет пить. А потом утка дала ему стакан воды. Но там была не вода, а лед! А потом пингвин всосал этот лед! А потом...» Он мог продолжать так до бесконечности, наслаждаясь вниманием зрителей, и рассказывал обыкновенно до тех пор, пока его не останавливали.

Мы сидели и слушали Джоша, мама смеялась, радуясь тому, как проступали ямочки на его щеках и как загорались радостью его глаза, когда он улыбался. Я тоже смеялся, но не над шутками, а скорее над неверными представлениями Джоша о том, как они должны быть устроены. Наш смех лишь подстегивал Джоша, он двигался все быстрее и говорил все громче. В какой-то момент он даже стал забывать делать вдохи и начал тяжело дышать на каждом «а потом».

Папа тоже посмеивался, но при этом я явственно чувствовал его растущее нетерпение. В конце концов он не выдержал и перебил комика-самоучку.

– Джош, – сказал он, – у хороших шуток есть одно важное качество – они обычно имеют конец!

Папино заявление прозвучало легко и не обидно; мы все засмеялись, включая самого Джоша, который, вполне возможно, даже не понял, что его критикуют. Папа решил воспользоваться удобным случаем для небольшого наставления:

– Конец шутки обычно называют добивкой...

Джош перебил его криком «Добивка!» и как следует врезал несчастному надувному мячу. Джош просто обожал что-нибудь бить. Его любимой игрушкой был надувной человечек для битья.

Отец посмеялся над тем, как Джош понял это слово, и продолжил свое пояснение:

– Добивка называется так потому, что она должна быть смешной и неожиданной, как удар.

Джош еще посреди этого предложения метнулся за надувным мячом, который еще полминуты назад улетел от его молодецкого удара на другой конец заднего двора. Вернувшись, он, задыхаясь от бега, спросил маму, можно ли ему пойти в дом и побить надувного человечка. Разговор про добивку явно вдохновил его на очередные боевые подвиги.

– Давай попробуем сочинить хорошую добивку, – предложил папа, рассчитывая на то, что Джошу понравится такая игра. Однако тот внезапно напрягся, готовый в любой момент то ли вспыхнуть в приступе буйства, то ли упасть на землю в истерике и слезах.

Я решил вмешаться и объяснить несколько иначе.

– Смотри, Джош, – сказал я, – закончить шутку – это как-нибудь вот так, скажем: «Я только прилетел прошлым вечером. Ох, как же руки-то устали!»

Все засмеялись, включая, опять же, Джоша, хотя я точно почувствовал, что юмор до него не дошел.

– Когда ты говоришь, что только что прилетел, все думают, что ты имеешь в виду «прилетел на самолете». А потом, когда ты говоришь, что у тебя устали руки, все понимают, что на самом деле ты имел в виду «прилетел как птица», – для пущей убедительности я изобразил руками движение крыльев. – А юмор в том, что никто не умеет так летать!

Джош заулыбался и аж заскакал на месте, а потом в точности повторил мою шутку, чему мы все дружно зааплодировали^[23].

Вскоре, за очередной нашей партией в шахматы с папой, он упомянул, что пытался научить Джоша.

– Он ходил всеми фигурами как попало! – сердился папа. – Единственное удовольствие от игры он получал, сбивая фигуры с доски. – Он с искренним сожалением покачал головой. – Я ему сказал, что не стану больше с ним играть, если он продолжит кидаться фигурами, а Джош в ответ лишь засмеялся и раззадорился еще больше.

Я, надо сказать, понимал, почему папу беспокоило такое поведение. Джош был не таким, как мы, и я это видел. Я не знал, конечно, что

бывает, когда младший сын не вписывается в собственную семью, но примерно представлял себе, что вряд ли это выливается во что-то хорошее^[24].

Пойдя в детский сад, Джош сумел поладить со сверстниками, что встревожило нас еще сильнее. Он часто приводил домой своих друзей, они носились по заднему двору, визжали и кричали нечто невразумительное, как обычно делает большинство детей.

В 1989 году отцу окончательно надоело по часу добираться на машине от дома до работы и обратно, и в результате мы переехали из Клермонта в долину Сан-Фернандо. Я помню, как мама, сидя на диване, обнимала пятилетнего Джоша и всячески старалась его утешить – тот плакал и убивался по друзьям, с которыми ему придется расстаться, и поименно перечислял всех ребят, по которым будет жутко скучать. Мне было решительно непонятно, каким образом за полгода в детском саду можно так сильно привязаться к такому количеству людей, мне это казалось даже смешным. В итоге я приписал это явление низким стандартам Джоша.

На новом месте нам с Джошем пришлось пойти в новую школу посередине учебного года. В какой-то из дней Джош вернулся с занятий в слезах. Пав на ковер в гостиной, он поведал мне, что кто-то из сверстников пустил слух о том, что у него зеленая задница.

– У меня не зеленая задница! – рыдал он на ковре. – Моя задница вовсе не зеленая!

– Да ты меня-то не убеждай, я и сам знаю, что не зеленая, – серьезно ответил я. – А с чего они вдруг так решили? Может, они увидели зеленый ярлычок у тебя на штанах и подумали, что это твоя задница? Если так, то это, конечно, тупо, даже по меркам пятилеток^[25].

Заплаканный Джош неотрывно смотрел на меня, ожидая от старшего брата мудрого совета.

– Так, ну, во-первых, – начал я. – Стыдиться тут вообще нечего. Даже если бы твоя задница и впрямь была зеленой, они все равно были бы неправы, насмехаясь над этим. Нет ничего плохого в том, чтобы отличаться от других.

Джош снова разрыдался, опровергая между всхлипами свою зеленозадость.

Я попытался успокоить его советом^[26]:

– Так ты просто приведи их в туалет и покажи свою задницу.

Обретший слабую надежду Джош утер слезы.

На следующий день он снова вернулся из школы зареванным.

– Я сказал им, чтобы они пошли со мной в туалет! – причитал он. – А они не пошли! Сказали, что я просто хочу им показать свою зеленую задницу. И назвали меня «жопендрожником»!

Я покачал головой, стремительно теряя веру в человечество.

– То есть ты попытался предоставить им доказательство их неправоты, а они отказались даже взглянуть? Они что же, не хотят чувствовать себя по-настоящему правыми? Их совсем не интересует истина?

Джош наморщил лоб, отчаянно напрягая все извилины. Вероятно, он в тот момент пытался определиться, важна ли истина ему самому. А я тем временем размышлял, додумался ли он уже до того, что приверженность истине исключала возможность иметь друзей.

Джош всегда просил маму с папой покупать ему одежду и обувь, похожую на ту, что носили ребята из школы; он даже просил, чтобы его стригли похожим образом. Его речь обрела странный и незнакомый тягучий, расслабленный акцент, разительно отличавшийся от нашей манеры выражаться четко и многословно. Мама с папой оба считали, что друзья Джоша плохо на него влияют, и переживали из-за того, что Джош начинает под них мимикрировать.

Я помню, папа как-то раз спросил у него:

– Если все твои друзья прыгнут со скалы, ты тоже прыгнешь?

Без тени сомнений Джош выпалил:

– Да!

Потом выяснилось, что он представил себе прыжок со скалы в озеро, но общей картины это не меняло – Джош уже выбрал, на чьей стороне ему быть.

Глава 2

Мое не-образование

В долине Сан-Фернандо у нас с отцом появилось новое общее развлечение по выходным: мы стали ходить пешком в местную синагогу. Каждым субботним утром я надевал детский черный костюм и кипу и отправлялся в поистине эпическое пешее паломничество к святому месту под палящим солнцем Лос-Анджелеса. Наш с папой путь лежал через пригород Гранада Хилс, по которому гуляли пешком обычно лишь собачники со своими питомцами – большинство людей просто проезжали мимо на машинах. Столь долгие и дальние прогулки были для меня в новинку – ноги горели и ныли, а каждый новый шаг давался с труднее предыдущего, но игры, которые придумывал для меня в этих походах папа, определенно того стоили.

Он обращал мое внимание на попадавшиеся на пути рекламные щиты и предлагал мне как следует приглядеться к ним, вдуматься и понять, каким именно образом каждая из размещенных на них реклам пыталась заставить нас потратить деньги. Именно в ходе одной из таких игр отец объяснил мне, что цены в магазинах специально устанавливают таким образом, чтобы они всегда кончались на девяноста девяти центах, для того чтобы создать у покупателя впечатление, что товар стоит меньше, чем на самом деле. Я в ответ спросил у него, кто может быть настолько туп, чтобы попасться на такую простую уловку. Он ответил:

– Большинство людей.

Другая игра заключалась в том, что я должен был пытаться как можно точнее представить устройство чего-нибудь. Как-то раз папа предложил мне угадать профессию человека, который получал больше всего денег с продаж моих любимых хлопьев, «Фростед Флэйкс». Моим первым предположением был повар, который их изобрел. Однако отец сказал, что правильным ответом был инвестор – неизвестная мне на тот момент «профессия». Как оказалось, инвесторы всегда зарабатывали больше, чем те, кто занимались изготовлением. Больше, чем те, кто изобрел эти хлопья, кто нарисовал

маскота-тигра, кто его озвучил и придумал слоган. С тех пор фирменное «Пр-р-р-ректрасно!» из уст этого тигра окончательно перестало казаться мне прекрасным.

Еще во время этих прогулок мы обсуждали прохожих – их одежду и вероятный стиль жизни. К примеру, как-то отец спросил меня, почему, по моему мнению, кто-то решает сделать себе татуировку в виде черепа. Я предположил, что такой человек, возможно, хочет страшно выглядеть. Затем папа спросил, является ли в таком случае татуировка в виде черепа доказательством того, что ее обладатель страшный, или же она означает, что он хочет именно казаться страшным. Вывод всегда получался один и тот же: многие люди пытались казаться не тем, кто они есть на самом деле, а кем-то иным, и столь же многие велись на такие уловки. Если тебя воспринимают определенным образом, это совершенно не означает, что ты на деле соответствуешь этому образу^[27]. Каждый раз, когда мимо проезжала дорогая машина, отец раздражался одной и той же тирадой:

– Между прочим, почти все, кто ездят на дорогих машинах, берут их в кредит, ты в курсе? Они занимают деньги, чтобы казаться богаче, чем на самом деле. И даже если человек действительно может себе позволить такую машину, он все равно каким-то образом ожидает, что мы при виде ее не подумаем о том, что деньги, потраченные на ее покупку, можно было бы отдать на благотворительность. Нет, он с гораздо большей охотой потратит их на то, чтобы выглядеть богатым, чем на что-то по-настоящему стоящее. Стыдно за таких людей. Он-то считает, что машина делает его крутым, а на самом деле это знак позора.

В дополнение к каждой газете, которую читал отец, он непременно выписывал также по три брошюры тех или иных наблюдателей за СМИ, в которых эта самая газета разносилась в пух и прах. Он учил меня находить неточности, логические уловки и предвзятые точки зрения в новостных колонках. Как-то раз папа спросил меня:

– Как ты думаешь, почему в газетах публикуются правки к статьям?

– Потому что они хотят исправить свои ошибки, сделать так, чтобы новость была правильной? – предположил я.

– Нет, они хотят, чтобы ты именно так и думал, – ответил отец. – Они публикуют правки для того, чтобы создать у читателя впечатление, что во всех остальных статьях в этом номере ошибок нет.

Мы с папой устраивали своеобразные учебные дебаты на политические и философские темы, разбирали утверждения и аргументы, и он показывал мне, почему то или иное заявление является уловкой. На примерах из новостей, политики и истории, современной и древней, он показывал мне, как люди раз за разом используют одни и те же ложные доводы, поскольку им не хватает креативности для новых. Папа посвятил меня в древнегреческий софизм и рассказал, как еще в те времена назывались определенные виды логических уловок и ошибок. Во время таких разговоров папа всегда смотрел строго вперед и никогда не переводил глаза на меня – он смотрел куда-то в пространство сосредоточенным взглядом канатоходца. Иногда он говорил низко, уверенными басовитыми раскатами, а иногда звучал точь-в-точь как комик на сцене.

Я безумно гордился тем, что отец считал меня достаточно взрослым для разговоров на подобные темы. Никто из моих сверстников в школе, разумеется, не был способен ни выявить предвзятость в газетной колонке, ни перечислить логические уловки, которым дали названия еще древние греки. Даже школьные учителя, казалось, не видели очевидных погрешностей в американских вариациях капитализма и демократии и в юридической системе США. Школа не была со мной достаточно честна, чтобы я воспринимал ее всерьез. Настоящим источником образования стал для меня отец.

Благодаря таким играм я крепко усвоил, почему школьное образование – это полная ерунда, точно так же, как и юридическая система, успешность, крутость, гендерные стереотипы, власть, идея превосходства белых, а также дружба и большая часть вариаций того, что называют отношениями. Все скользкое и лицемерное бросалось в глаза, будто подчеркнутое красным маркером.

Я помню, как выпадал из реальности на уроках, пытаюсь понять, зачем кому-то может понадобиться лгать. Плодом многих часов таких раздумий стал единственный пример ситуации, в которой ложь может быть полезна. Можно было, услышав смешную шутку по телевизору, пересказывать ее знакомым и утверждать, что я сочинил ее сам. Но и этот вариант я быстро отмел, как абсолютно бессмысленный – мне совершенно не хотелось присваивать чужие шутки. Я хотел писать собственные шутки, пусть, возможно, и не такие смешные, или хотя бы пересказывать чужие, но не присваивать их при этом себе. Я

понимал, что, даже сумею я одурачить всех остальных, красть шутки было бы совсем не интересно, ведь сам-то я точно знал бы, что я их украл.

Чаще всего ложь вызывала у меня ассоциации как раз с комизмом. Лжецы напоминали мне Волшебника страны Оз, судорожно восклицавшего: «Не обращайтесь внимания на того человека за ширмой!» Смешнее всего было то, что, хоть все понимали юмор «Волшебника страны Оз», к раскрытию собственной лжи люди относились предельно серьезно и без тени юмора.

Чем старше я становился и чем лучше говорил, тем больше отец критиковал мои слова. В какой-то момент он начал терроризировать меня классическими философскими моральными дилеммами.

– Представь, что в больнице лежат пять человек, которые абсолютно точно умрут без пересадки органов, и в нее приходит один здоровый человек, который способен спасти их всех своими органами, если станет донором, но при этом умрет он. Убил бы ты одного, чтобы спасти пятерых? Или обречь бы их на смерть?

Если я отвечал, что убил бы, он спрашивал:

– Seriously? Ты бы вырезал органы из случайного невинного прохожего?

Если я менял свой ответ, реакцией отца было:

– Ты действительно позволил бы пяти людям умереть, чтобы спасти одного?

Иногда он добавлял новые вводные, чтобы усложнить мысленный эксперимент.

– А что, если этот здоровый человек на самом деле злодей, а пятеро умирающих – герои? Что если умирающие – подростки, а человеку со здоровыми органами уже семьдесят пять и он страдает неизлечимой смертельной болезнью?

Такая разновидность «Что ты выберешь?» с моральными дилеммами была крайне увлекательна, но быстро выматывала, поскольку отца не удовлетворяли простые ответы – каждое решение он требовал объяснить и отстоять. Меня по сей день захлестывает

адреналин, стоит кому-либо задать мне подобную гипотетическую задачу.

Ночами я лежал без сна, ворочаясь в постели – мне не давали покоя эти дилеммы. Мне казалось, что если я буду достаточно усердно размышлять, то мой ум обретет остроту, нужную для четкой, убедительной и безукоризненной аргументации моего мнения. В разговорах с отцом я старался запомнить каждое сказанное слово, чтобы затем его как следует обдумать. Иногда папа утверждал, что не говорил тех или иных слов или что я его неверно понял, и в таких случаях мне необходимо было иметь возможность полностью доверять своей памяти.

Иногда неправота отца казалась мне абсолютно очевидной, но сколь доходчиво я ни пытался доказать ему это, он неизменно утверждал, что я говорю ерунду. Когда я ловил его на противоречии самому себе или на уклонении от заданного мной вопроса, я обычно получал в ответ обвиняющее: «Чепуха» или «Ты не понимаешь, о чем говоришь». Особенно ненавистны мне были слова: «Ты попусту тратишь мое время». Думаю, меня раздражал даже не столько тон этих фраз, сколько тот факт, что они попадали в категорию тех самых уходов от ответа, которые отец сам учил меня распознавать. Иногда мне казалось, что папа таким образом проверял меня на усвоение материала. Во всяком случае, я надеялся, что все обстояло именно так.

Как-то раз я нашел отца крайне чем-то раздраженным – он мерил дом шагами, громко топая, а в какой-то момент даже случайно ударился плечом о дверной косяк. Я спросил:

– Пап, почему ты злишься?

– Я не злюсь, – прорычал он в ответ.

– А мне кажется, что злишься.

Отец гневно глянул на меня сверху вниз.

– Ты считаешь, что знаешь, что я чувствую, лучше меня самого?

– Нет, – ответил я.

– Поменьше думай о том, что тебе кажется, – взорвался он, – И побольше о том, что я тебе говорю. Если ты мне не веришь, значит обвиняешь меня во лжи, – он нависал надо мной, вытянув руки по швам и сведя ноги вместе, как солдат на плацу. – Никто не знает, как я себя чувствую, лучше, чем я сам. Пытаться прочесть чьи-то мысли или

чувства глупо и самонадеянно. Хочешь узнать, что человек чувствует – спроси его об этом. И поверь тому, что он тебе ответит^[28].

Все мы немножко критики

Поскольку я толком не играл с другими детьми, большую часть свободного времени я проводил дома за чтением или писательством. О да, я постоянно писал рассказы в поистине немислимых количествах, а самые, на мой взгляд, удачные показывал родителям. Мама находила их забавными. Не прибегая ко лжи, она все же достаточно дипломатично и мягко оценивала мои творения, отмечая куски, которые ей особенно понравились, а иногда говорила мне, что какие-то из более ранних рассказов ей нравились больше, и если так, то по какой причине. Мне всегда казалось, что она говорила все это искренне и отвечала на мои порой дурацкие восьмилетние вопросы со всей серьезностью и точностью формулировок. Папа маминой дипломатичности не разделял, скажем так. Я отчетливо помню его соображения по поводу небольшого детективного рассказа моего авторства, главным героем которого был мальчик, который обыгрывал в шахматы всех, с кем ни садился за одну доску. Все остальные герои рассказа были уверены, что он жульничал, но никто не мог понять, каким именно образом. В конце концов другой мальчик-детектив обнаружил, что у этого хитреца были утяжеленные фигурки. Я и сам знал, что концовка вышла дурацкой; завязки у меня обычно выходили интересными, а вот развязки – не очень. Мне казалось, что хорошая развязка – дело не особо посильное для восьмилетнего ребенка, но отец не посчитал мой возраст оправданием.

Мы сидели в отцовской фонотеке. Помахав копией моего рассказа, папа поинтересовался:

– И каким же образом утяжеленные фигурки могут помочь в игре?

– Ты меня подловил! – ответил я, рассмеявшись, – Я не смог придумать лучшей развязки.

Но отец почему-то не разделял моего веселья. Серьезность, которую он буквально источал в такие моменты, была даже забавной. Проглядев свои заметки по моей рукописи, он спросил:

– То есть, по-твоему, читатель не заметит, что концовка ничего не объясняет и вообще не вяжется со здравым смыслом? Ты считаешь, что все твои читатели будут идиотами?

– Это была проверка! – все еще смеясь, ответил я. – Ты ее прошел.

Отец мою шутку проигнорировал.

– К слову, на шахматных турнирах участникам запрещается использовать собственные наборы. Ты вообще, что ли, не изучил эту тему?

Изучить тему мне действительно как-то не пришло в голову. Я твердо решил, что попрошу школьную библиотекаршу вычитать мою следующую рукопись на предмет фактологических ошибок.

– Как этот парень вообще умудрился незаметно заменить фигуры на доске? – продолжил допрос отец. – Он что, еще и иллюзионист у тебя?

Я отнесся к этой идее с полной серьезностью.

– Точно, надо переписать конец так, чтобы он оказался фокусником!

– Да я не к тому... – попытался пояснить папа.

– Стой, есть идея еще получше! – воскликнул я. – А что, если он вообще окажется настоящим волшебником? И он всегда побеждал потому, что мог читать мысли противника!

– Вот это уже интереснее, – ответил папа, – Но все будет зависеть от того, как ты об этом напишешь.

Иногда такие разборы полетов с отцом кончались тем, что он вспоминал похожий сюжет из какой-нибудь книги, фильма или эпизода «Сумеречной зоны» или «За гранью возможного» и пересказывал его мне, давая идеи для творчества. Пару раз он даже читал мне вслух рассказы Рэя Брэдбери.

– Ух ты, здорово! – восклицал обычно я и уносился переписывать концовку, а то и вовсе в порыве вдохновения писать что-то новое.

Папе я показывал далеко не все свои творения, а лишь те, что по-настоящему нравились мне самому – где-то каждое десятое. Он честно читал каждый из этих рассказов, писал небольшие рецензии и возвращал их мне вместе с рукописями. За все мое детство он прочел не меньше сотни таких моих творений. Надо сказать, ни одно из них он не оценил положительно. Мне это было, в общем-то, безразлично, поскольку мне-то самому они нравились, а все остальное меня мало интересовало. Моим рассказам совершенно необязательно было быть «хорошими» в общечеловеческом понимании этого слова. Я полностью отдавал себе отчет в том, насколько большой редкостью является настоящий литературный талант. Отец сам признавался мне открытым текстом, что за всю жизнь не сумел написать ни одного стоящего рассказа.

– Мне всегда нравилась поэзия и художественная проза, но писательскими способностями я обделен, – сказал как-то он. Это тоже в определенной мере развязывало мне руки. Я писал для собственного удовольствия, а критика отца лишь делала происходящее интереснее.

В какой-то момент кто-то из взрослых сообщил мне, что я «толстокожий», и объяснил, что это значит. По моему собственному разумению, это было вовсе непохоже на меня. В то время как окружающие предпочитали закрываться от мира эмоциональной броней, я старался подражать древнегреческим стойкам, о которых рассказывал отец; они были столь же уязвимы, как и все прочие люди, но достаточно сильны, чтобы переносить весь груз своих чувств. Иногда это подразумевало слезы, но чаще – смех над самим собой.

В четвертом классе у нас преподавала миссис Расин. Ее волосы были жесткими из-за модных в восьмидесятых регулярных химических завивок и все время сильно пахли лаком. В какой-то момент она задала нам написать рассказ, а потом поставила мне слабенькую четверку за мое нуарное криминальное чтиво о крысах, ограбивших сырную лавку.

Я поднял руку и перед всем классом поинтересовался у миссис Расин, за что такой низкий балл. Нет, на деле я сам считал, что оценки выше рассказ не заслуживал – он мне самому не особо понравился, и отцу я его не показывал. Дело в том, что я решил проверить свою гипотезу о том, что миссис Расин ставила оценки за рассказы, что называется, «от балды», что она была недостаточно хорошей учительницей, чтобы разбираться в литературе и уметь грамотно критиковать такие сочинения. Я в такой ситуации оставался в выигрыше при любом исходе. Если бы миссис Расин аргументированно доказала свою компетентность, я бы только порадовался за нее. Если бы у нее не получилось обосновать свою оценку, это бы только подтвердило мое подозрение о том, что оценки она ставила исходя из личного отношения к тому или иному ученику или же из тех или иных прихотей, которым мы совершенно не обязаны были потакать. Если бы мне удалось прилюдно дискредитировать миссис Расин, то те из моих одноклассников, которые были

недовольны своими оценками, почувствовали бы себя свободными от ее беспочвенных суждений.

– Майкл, учись не обижаться на критику, – ответила миссис Расин. Я аж засмеялся вслух оттого, как плохо она меня, оказалось, знала.

– Я люблю критику, – возразил я, – проблема в том, что я никакой критики от вас не услышал. Вы просто поставили мне оценку, никак ее не объяснив.

Миссис Расин вывела меня из класса, словно я серьезно провинился. Я, как и всегда, начал плакать. Возвышаясь надо мной посреди гулкого школьного коридора, она повторила, что мне стоит научиться спокойно воспринимать критику. Я ответил сквозь слезы:

– Но, если вы не говорите ничего конкретного, как можно понять, стоит ли прислушиваться к вашему мнению?

Надо сказать, я совершенно не ожидал, что она обидится на это мое заявление. Я ошибочно предполагал, что учителя должны понимать, что они обязаны на деле заслуживать уважение своих учеников. Но миссис Расин, очевидно, этого не знала. Она побагровела и прикрыла рот рукой в искреннем шоке и возмущении.

– Я твоя учительница!

К счастью, я умел закатывать глаза даже посреди рыданий.

– Ну вот представьте себе, – сказал я, – представьте, что я вам ставлю оценку за качество вашей критики. Как думаете, что бы я вам поставил?

У миссис Расин челюсть отвисла уже на этих словах, а ведь я еще не закончил.

– Да это, собственно, даже не важно. Важно другое: какую оценку вы сами бы себе поставили?

Тут она пошатнулась и отступила на меня на шаг.

Я мысленно приготовился к тому, что она меня накажет или даже отправит к директору, но вместо этого миссис Расин невнятно пробормотала, что ей нужно обратно на урок и зашла обратно в класс, оставив меня в коридоре. Я забежал в класс следом за ней и добавил:

– Миссис Расин, это вы должны научиться спокойно воспринимать критику!

Если бы я еще не плакал в тот момент, получилось бы гораздо убедительнее^[29].

Когда я рассказал об этой перепалке отцу, тот склонил голову на одну из подушек, лежавших на спинке дивана, и уставился в потолок своей фонотеки.

– Вот интересно, как она вообще живет, если она неспособна воспринимать критику от ребенка?

Казалось вполне очевидным, что раз уж мои вопросы так сильно ее задевали, то даже под малой толикой той волны критики, которую обыкновенно обрушивал на меня отец, она бы просто сломалась.

Спроси у раби

В наших разговорах по пути в синагогу и обратно домой практически никогда не возникало долгих пауз, но когда такое все же случалось, я обычно нарушал тишину рассказами о тех или иных теориях или вопросах, приходивших в последнее время мне в голову. Ни разу не было такого, чтобы отец не ответил на мой вопрос; я вообще сомневался, что существуют такие вопросы, на которые он не стал бы отвечать. А потому одним прекрасным субботним утром, едва поспевая за отцом в своем костюмчике и кипе, я без тени сомнений спросил у него со всей своей непосредственностью:

– Пап, а что сказано в Торе о фетишах?

Папа засмеялся и явно умилился моему вопросу.

– Отличный вопрос! – ответил он высоким тоном.

Хоть я и говорил фетишистские, по сути, вещи с тех самых пор, как вообще начал разговаривать, слово «фетиш» я впервые услышал как раз на той неделе от мамы. На первой «Говорильной записи Майкла» есть один забавный фрагмент. Мама спросила меня тогда, какие телесериалы и мультики мне нравятся. Я честно ответил:

– «Инспектор Гаджет», потому что там связывают Пенни.

В ответ на вопрос о том, какие еще мультики я люблю, я сказал:

– «Хи-Мен», потому что там иногда связывают Тилу, и еще «Бетти Буп», потому что ее тоже иногда связывают.

На кассете слышен мамин понимающий смешок, а потом она говорит:

– Что ж, Майкл, приятно видеть, что ты растешь феминистом.

Я часто поднимал эти темы в школе, наивно полагая, что это не более чем вопрос вкуса, дескать, каким-то детям нравятся мультики про солдат, другим – про единорогов, а мне вот нравятся мультики, в которых связывают девочек. Когда я был совсем маленьким, учителя обычно не обращали на это внимания, но годам к девяти я стал замечать, что эта тема загадочным образом смущает большую часть взрослых. Естественно, как-то раз я спросил маму о причинах такого странного поведения.

Маме не потребовалось ни секунды на размышления о том, с какой стороны подойти к этому вопросу в разговоре со мной –

приверженность правде позволяла отвечать на такие вопросы без неловких заминок и пауз.

– Тебе нравится видеть, как связывают девушек – это называется «фетиш». Так называют что-то очень конкретное, что тебе нравится, в то время как остальные об этом даже не думают, – сказала она абсолютно буднично, таким тоном, каким учителя обычно рассказывают о фотосинтезе или золотой лихорадке. – Фетиши есть у многих людей. Связывание девушек – как раз довольно распространенный. Кстати, многим девушкам тоже нравится, когда их связывают.

Я перестал рисовать.

– Правда? А почему?

– А почему тебе нравится то, что тебе нравится? – ответила мама вопросом на вопрос.

– Не знаю, – ответил я.

– Вот и никто не знает. Но некоторые почему-то обижаются, когда им напоминают, что не всем нравится одно и то же.

Я явственно чувствовал, что мама рассказала не все, что могла, но все же ее ответ меня удовлетворил – она ясно дала мне понять, что никто не имеет право стыдить меня за мой фетиш.

Когда я поднял тему фетишей в разговоре с отцом по дороге в синагогу тем жарким утром, тот сказал:

– Считается, что в Талмуде сказано про все. Значит, и про фетиши там должно быть, – тут он вдруг рассмеялся. – Но у меня есть подозрение, что ты нашел тему, которую при его составлении все же упустили.

Я аж зарделся от гордости.

– И что же конкретно ты желаешь знать?

– Я хочу знать... Не сказано ли в Торе, что представлять одноклассниц связанными – это нормально?

На это отец невозмутимо ответил:

– В иудаизме поощряется свободомыслие. Это католики верят, что мысли могут быть греховными.

Я поразмышлял еще с полминуты, а затем добавил:

– А я вообще представлял себе связанных девочек еще с самого рождения...

– Не с самого рождения, а с того момента, как ты себя помнишь, – поправил папа. – Память полностью развивается у человека только к трем-четырем годам.

– Ну да, точно, – сказал я. – То есть, если Бог есть, то он дал мне фетиш.

– Интересный вывод, – ответил отец.

– Почему Господь дает детям фетиши? Ему нравятся фетиши?

– Хм-м-м, – папа явно крепко задумался и нахмурился. Мне вдруг стало интересно, болит ли у него голова так же, как у меня, когда он думает. – Не знаю, – сказал он наконец. – Спроси у раби^[30].

На следующее утро, сев за массивный деревянный стол, за которым проходили мои индивидуальные воскресные занятия в синагоге, я сходу взял быка за рога:

– А что говорит Талмуд по поводу фетишей?

Раби Мински было уже за шестьдесят. Длинная рыжая борода делала его похожим на какого-то сказочного волшебника, а желтые от никотина зубы и постоянный мощный запах табака выдавали в нем заядлого курильщика.

Раби пристально взглянул на меня своими светло-зелеными глазами из-под приподнявшихся кустистых рыжих бровей.

– Фетишей? – переспросил он.

– Да, – ответил я. – Например, если кто-то представляет себе связанных девочек? Но не связывает их в реальной жизни?

– Связанных? – вновь переспросил раби, поворачивая головой и помахав руками в карикатурно-мультикшном удивлении, вероятнее всего, наигранном – мама ведь говорила о фетишах как о чем-то общепонятном и распространенном. Культурный раввин то ли и впрямь понятия не имел о фетишах, то ли прикидывался.

– Я постоянно представляю себе связанных девочек, – терпеливо пояснил я. – Видимо, Господь хочет, чтобы я об этом думал, так ведь?

– А почему ты об этом думаешь? Об этом... Связывании? – поинтересовался раби Мински.

– Так ведь никто же не знает, почему людям нравятся те или иные вещи, – ответил я, удивленный тем, что девятилетний ребенок, оказывается, способен знать о жизни больше, чем якобы мудрый пожилой раввин. – Если в Талмуде ничего не сказано про фетиши, то

почему так? Разве это не важная тема? Или есть вещи, о которых нам не следует говорить, потому что Господь этого не желает?

Раби Мински явно колебался, так что я продолжил за него.

– Если же Господу угодно, чтобы мы говорили обо всем, то мы просто обязаны говорить и об этом тоже, разве нет? Тут что-то не то – либо Господь нечестен, либо вы.

– Ну, ну, – не выдержал раби Мински, – это невежливо.

Меня всегда поражало то, что люди так обижаются, когда их уличают в нечестности. Если они считают, что быть нечестным плохо, то почему же сами не следуют своим убеждениям? Раби вздохнул и сказал:

– Ну ладно, начнем, пожалуй. Нам сегодня многое предстоит обсудить.

Он начал рассказывать о чем-то куда менее интересном, чем фетишизм, и я вначале даже расстроился. Потом, впрочем, я нашел эту ситуацию скорее смешной. Раби Мински продолжал свою лекцию, явно еще не отойдя от нашего разговора и все еще пребывая в напряжении, а я улыбался и иногда даже прыскал от смеха. В конце концов, раби это порядком достало, и он прервал урок, сказав, что я, видимо, не слушаю его и думаю о чем-то другом. Я ответил:

– Я смеюсь из-за того, что я, кажется, честнее Господа!

Смейтесь над чем-нибудь настоящим

Новая школа оказалась совсем близко к дому, поэтому мама водила меня туда пешком, но большинство моих сверстников все же приезжали на автобусах. Эти ребята мне нравились, поскольку казались мне по какой-то причине более здравомыслящими, нежели ухоженные блондинчики из Клермонта, без вопросов глотавшие всю ту ложь, которую им скармливала школа, и истово верившие, что хорошие оценки, зубрежка и подлизывание к учителям доказывали их интеллектуальное превосходство. Местные же подобно мне ненавидели школьный абсурд и несправедливость. Они делились личными переживаниями и историями, матерились и говорили вещи, которые было не принято говорить. Их речь была полна слова и речевых оборотов, недоступных во всех смыслах этого слова белым детям.

В одной из групп таких ребят главными были Роберт и Мануэль, за которыми я таскался повсюду, куда они меня брали. Сами они относились ко мне с глубоким непониманием, однако без негатива – надо думать, я казался им эдакой забавной аномалией. Они носили дорогие кеды и бейсболки с названиями спортивных команд и коротко стриглись под машинку, либо приглаживали волосы назад или расчесывали их в упругие волны с проборами. Я ничего такого не делал. Когда парикмахеры в «Суперкатс» спрашивали отца, как меня стричь, тот отвечал:

– Я же не спец, вам виднее. Стригите так, как считаете нужным.

Еще я был в этой компании единственным очкариком. Мои толстые очки в оправе из лески считались в то время безусловным атрибутом законченных ботаников, а мама как-то не заморачивалась с моим стилем одежды со времен детского сада.

Как-то раз я сидел на корточках на площадке, прислонившись спиной к стене для гандбола^[31], и наблюдал за тем, как они пасуют друг другу баскетбольный мяч, отчаянно пытаюсь придумать достаточно интересную тему для разговора, которая бы отвлекла их от этого скучного занятия.

Роберт очень забавно принимал пасы – он был значительно крупнее всех нас и двигался с намеренной и обманчивой неуклюжестью

циркового клоуна. Его большая голова качалась вверх-вниз, а на круглом лице явно читалось удовольствие. Именно он обычно заводил новый разговор, когда предыдущая тема себя исчерпывала.

– А Майкл гадкий, – сказал Роберт. – Он в носу ковыряется, я сам видел.

Его друзья взорвались безудержным хохотом. Я несколько не обиделся, поскольку то была правда – я действительно ковырялся в носу, и Роберт вполне мог в какой-то момент случайно это заметить.

– Майкл ковырялся в носу, а потом съел козявки! – продолжил он, в очередной раз метнувшись за мячом.

– А потом высрал козявки! – поддержал Мануэль. Надо сказать, он обычно открывал рот только в тех случаях, когда действительно хотел что-то сказать. Роста он был небольшого, но зато отлично сложен и мог похвастаться видной внешностью – в частности, густыми, жестко уложенными черными волосами и аккуратными ямочками на щеках.

– Погодите, – вмешался я, – Это же ерунда.

Ребята повернулись ко мне с каким-то нерешительным интересом – они-то ожидали, что я отвечу чем-то в том же духе.

– Я вполне допускаю, что вы видели, как я ковыряюсь в носу, – начал я, поднимаясь на ноги. – Но козявки я, естественно, не ем. Кто вообще ест свои козявки?

Ребята нервно переглянулись.

– Но, разумеется, если бы я их ел, то они выходили бы вместе с какашками – это научный факт, – продолжил я. Мне показалось справедливым отметить верную часть их рассуждений. При упоминании какашек ребята снова засмеялись, и я заподозрил, что смысл моих слов от них все же ускользает. – Короче говоря, если уж смеетесь над кем-нибудь, так смейтесь хотя бы над чем-нибудь настоящим, над чем-то, что действительно произошло, – подытожил я [\[32\]](#).

Мануэль исполнил на месте нечто вроде короткого танца победившего воина и сказал:

– Майкл ковыряется в носу! Сам признался!

Ребята как-то вымученно хохотнули – ситуация как-то не особо располагала к веселью.

– Ну разумеется, я ковыряюсь в носу! – ответил я. – Все это делают. И ты то...

– Заткнись! Не ковыряюсь я! – перебил Мануэль, внезапно напрягшись лицом и сжав кулаки. – Возьми свои слова обратно!

– Да ладно тебе, Мануэль, ты что, правда хочешь сказать, что никогда не ковырялся в носу? – я повернулся к остальным. – Хоть кто-нибудь из вас верит, что Мануэль никогда в жизни не ковырялся в носу?

– Заткнись! – крикнул Мануэль, подступая ближе и явно пытаюсь меня запугать.

Я все так же обращался к остальным.

– Видите, теперь Мануэль угрожает мне кулаками.

А затем я повторил слова отца о проявлениях мужских черт характера.

– Он притворяется крутым, чтобы скрыть свой стыд. Ему настолько стыдно оттого, что он ковыряется в носу, что он просто не может стерпеть, когда кто-то ему об этом говорит.

– Заткнись! – снова повторил Мануэль, уже слишком разъярившийся, чтобы придумать что-нибудь поумнее и пообиднее.

– Если бы он и впрямь был крутым, ему было бы все равно. Он признал бы, что ковыряется в носу. А ему слишком страшно открыто выражать свои чувства. И поэтому он и не может ничего сказать, кроме «заткнись».

– Заткнись! – тут же выплюнул Мануэль.

Я рассмеялся и указал на него остальным.

– Видите? Вот это по-настоящему смешно.

Никто, впрочем, не засмеялся. Я пытался объяснить им комичность ситуации, но ребята юмора не поняли. Я тяжело вздохнул.

– Смейтесь над чем-то настоящим, ладно? И над тем, чем не занимаетесь сами. Например, вы вполне можете смеяться надо мной из-за очков, поскольку ни один из вас их не носит, – я задумался, подыскивая иные примеры. – Или из-за моей неуклюжести и того, что я постоянно себе что-нибудь травмирую на физкультуре. Потому что вы не столь неуклюжи. – Я задумался над тем, чего бы еще такого привести в пример, такого, что свойственно только мне. – Я плачу из-за всего подряд. А еще мне нравятся девочки. Но когда я пытаюсь с ними поговорить, они просто убегают от меня.

Ребята смотрели на меня в каком-то испуганном ужасе. Я же почувствовал такой мощный прилив сил, что даже стал делать ходить

на пару шажков вперед-назад, влево-вправо, словно играл в невидимые классики.

– Еще я ношу обувь из «Payless». И веснушки у меня есть, и вообще я некрасивый. Еще я получаю хорошие оценки, и я ботаник. И мне обычно не нравятся игры, которые нравятся окружающим.

Перечисление собственных недостатков удивительным образом придавало мне сил. Если я был способен признать все эти малоприятные вещи о себе самом, то, стало быть, никто не мог задеть меня издевками на эти темы. Чем дальше, тем быстрее и громче я «исповедовался» перед мальчишками.

– Еще я не пользуюсь гелем для волос! И никто не смеется над моими шутками! И вообще друзей у меня нет! И я не люблю носить шапку!

В наступившей после этой моей тирады гробовой тишине мне в голову пришла еще одна идея.

– Слушайте! – воскликнул я, буквально подпрыгивая на месте от возбуждения. – А я придумал новую игру, которая вполне может понравиться всем нам!

Мануэль переминался с одной ноги на другую. Еще несколько ребят машинально отшатнулись от меня. Остальные слушали меня с застывшим на лицах ужасом.

– Давайте по очереди рассказывать о себе что-нибудь, над чем можно посмеяться!

На выходных я рассказал об этом случае отцу и описал то, как шустро они убежали подальше от меня после этих слов.

– Н-да, насколько же они еще маленькие... – произнес папа^[33].

Шах и мат

Переехав в долину Сан-Фернандо, мы с отцом продолжили добрую традицию играть в шахматы в его фонотеке. К десяти годам у меня за плечами был уже шестилетний стаж проигрышей, увеличивавшийся на десятки каждые выходные. Эти тысячи поражений притупили мои эмоции в отношении шахмат: проигрыш стал ожидаемой и неотъемлемой частью моей жизни.

Как-то раз я заметил, что отец открылся и подставил своих слона и ферзя – я мог пойти своим конем и устроить папе вилку. Никогда раньше мне еще не представлялось такой возможности, а потому я стал подозревать, что дело здесь нечисто, что я что-то проглядел и не учел, и что отец таким образом заманивает меня в блестящую ловушку. Однако, тщательно оглядев доску на предмет бьющих эту клетку папиных фигур, я не увидел никакой угрозы. Получалось, что отец сделал ошибку. Дрожащей рукой я передвинул своего коня, все еще «сканируя» глазами доску и не отпуская фигуру. На лице отца не отражалось ни осознания своей оплошности, ни удивления от того, что я сумел ею воспользоваться. Наконец, я убрал руку, завершив свой ход.

– Хм, ты глянь, – произнес папа. – Кажется, у меня неприятности.

Некоторое время он внимательно осматривал доску, постукивая пальцами по ковру. – Что ж, по-видимому, других вариантов нет, – сказал он наконец, осознав, что никак не сможет спасти обе фигуры. Он увел из-под удара ферзя, а я в следующий свой ход без каких-либо потерь взял его слона. Впервые за всю свою жизнь я оказался на шаг впереди отца в шахматах, впервые у меня появилось преимущество.

Чем дальше, тем более беспорядочно и бестолково папа стал играть. Бесполезно потеряв еще несколько фигур, он сказал:

– Вряд ли у меня уже получится выкарабкаться, но давай все равно доиграем.

В итоге я поставил ему мат, и он сам опрокинул своего короля. Я сбивал своего собственного короля с доски тысячи раз, но в исполнении отца этот жест казался диким. Мне он, к слову, никогда не нравился: оба игрока и так знают, кто проиграл. Я не видел никакого смысла в этом символическом жесте покорности. Однако

смотреть, как отец сбивает своего короля, оказалось еще неприятнее, чем опрокидывать собственного.

Лежавший на боку король качался из стороны в сторону, постепенно замедляясь, а я выжидательно смотрел на отца.

– Хочешь сыграть еще? – спросил он точно так же, как и всегда.

– Да, – ответил я.

– Хорошо, – произнес он, уже выстраивая свои фигуры обратно на исходные позиции.

Я принялся заниматься тем же.

– Я думал, ты как-нибудь прокомментируешь свой первый проигрыш мне.

Отец невозмутимо продолжал выстраивать фигуры на доске.

– И каких слов ты от меня ожидал?

– Мне казалось, что ты скажешь что-нибудь в духе того, что не зря ты никогда мне не поддавался, – ответил я. – И поэтому теперь я мог быть по-настоящему уверен в том, что действительно победил.

– Так ведь ты и так это знаешь, – возразил папа. – С какой стати мне обращать твое внимание на то, что тебе и так уже известно?

Я почесал в затылке.

– Ну, мне казалось, что, может, ты скажешь, что гордишься мной или что-нибудь в этом роде.

Отец невесело хохотнул.

– Выиграть у меня в шахматы – так себе достижение, – сказал он. – Я не большой мастер.

Ложные обвинения

Первая неделя моего шестого класса началась с объявления мистера Гельмана и миссис Джонсон о том, что было совершено какое-то преступление и что занятия останавливаются до тех пор, пока виновный не признается. Все молчали, так что розовощёкий, лысый и невероятно высокий мистер Гельман вместе с пожилой и сгорбленной миссис Джонсон стали по очереди вызывать к доске Мануэля, Роберта и их друзей и допрашивать их на глазах у всего класса, задавая вопросы типа: «Ну что, Мануэль, не хочешь ли ты нам ничего рассказать?», «Должен сказать, Роберт, ты выглядишь достаточно обеспокоенным», и так далее.

Тут вмешался я.

– А что произошло?

– Они сами знают, – ответила миссис Джонсон.

Я уже не первый год учился в той школе и знал, что тамошние белые учителя недолюбливали черных и мексиканцев. Мне это было ясно, как божий день – учителя обыкновенно говорили с ними гораздо более жестким и холодным тоном и в принципе относились к ним с подозрением. Когда такие ученики поднимали руку, чтобы ответить на заданный учителем вопрос, тот обычно вызывал его к доске с определенным снисхождением и скепсисом в голосе. Да и вообще имена этих детей преподаватели практически всегда произносили каким-то обвинительным тоном, словно желая унижить их за то, что те чего-то не знают, или наказать за невнимательность. Причем, согласно моим наблюдениям, чем темнее был цвет кожи учащегося, тем хуже к нему в среднем относился преподавательский состав. Я периодически пытался завести разговор на эту тему с Робертом, Мануэлем и другими ребятами, но они явно не горели желанием обсуждать сложившуюся ситуацию.

Отец много рассказывал мне о судебной системе, об истории расизма в Америке и о методах, к которым прибегали полицейские и юристы, чтобы выбить признание из невиновного или создать у окружающих впечатление, что он виновен. Так что я был более чем способен отличить противозаконное судебное разбирательство, основанное на расизме, от нормального и отлично понимал, что именно такой фарс разворачивался в тот день прямо перед моими глазами.

– Вы обязаны огласить обвинения, – перебил я миссис Джонсон. – Вы пытаетесь выбить из кого-нибудь признание просто потому, что понятия не имеете, кто проштрафился на самом деле, или знаете, но у вас нет никаких доказательств.

Я ждал смешков от своих одноклассников, но те молчали – очевидно, сложившаяся ситуация их слишком угнетала.

Полностью проигнорировав мои слова, мистер Гельман вывел Роберта в коридор. Пару минут спустя он вернулся в класс и сообщил, что все позади, и что можно спокойно продолжать занятия.

– Погодите, – снова встрял я, – как вы узнали, что это Роберт?

Мистер Гельман добавил что-то еще в том духе, что все уже кончилось. Но только не для меня.

– Если бы вы с самого начала знали, что Роберт виновен, вы не стали бы допрашивать остальных. Вы что, повесили на него вину без каких-либо доказательств?

Но учителя все так же продолжали меня игнорировать, и, надо сказать, это жутко бесило.

На следующий день я спросил о случившемся самого Роберта. Оказалось, что его отправили к директору из-за того, что якобы он нарисовал в туалете граффити, и вызвали в школу его родителей. На площадке Роберт говорил нам:

– Да я до сих пор даже не знаю, что там было на этом граффити – слова или картинка, или еще что!

Он утверждал, что это не его рук дело, но директор решил иначе, и родители Роберта тому поверили.

– Постой, то есть твои родители доверяют учителям больше, чем тебе?! – ошарашенно спросил я.

Вскоре ситуация повторилась – мистер Гельман и миссис Джонсон снова остановили очередной урок. На сей раз речь шла о какой-то украденной шоколадке, и вновь под прицел учителей попали исключительно Мануэль, Роберт и их компания.

– Да почему вы все время обвиняете одних и тех же людей? – спросил я, и так уже зная ответ на собственный вопрос.

Миссис Джонсон вызвала меня в коридор. Я тут же начал плакать, и она наивно посчитала, что я спасовал – в принципе, многие так думали. На деле же мои слезы были проявлением злости и их стоило воспринимать скорее как признак нарастающей во мне агрессии и беспощадности.

– Майкл Левитон, – сказала миссис Джонсон уже в коридоре, – ты не должен говорить таких вещей.

– Но здесь же школа, мы имеем право задавать вопросы, – возразил я. – А учителя должны на них отвечать.

Миссис Джонсон и бровью не повела.

– Эти мальчишки плохо на тебя влияют, – сказала она. – Держись от них подальше.

– Вы просто обвиняете всех не-белых, – заявил я сквозь слезы. – Прямо как газетчики.

Подобно миссис Расин пару лет назад, миссис Джонсон явно хотела было меня наказать, но некая неведомая сила ее остановила. Сперва я объяснил это себе ее страхом того, что я изложу свою точку зрения на произошедшее директору, и что тот вполне мог мне поверить, поскольку я был весьма красноречив. А затем я осознал, что Роберт тоже вполне мог поступить точно так же, вот только этого учителя не боялись, потому что были уверены, что ему никто не поверит. Ответ был очевиден до омерзения – меня не наказали из-за моего цвета кожи.

В порыве жгучей, мало с чем сопоставимой ярости я высказал все это в лицо миссис Джонсон. Та в ответ лишь стала повторять, что Роберт и Мануэль плохие.

– Да откуда вы знаете? – вновь спросил я. – Какие у вас доказательства?

– Я знаю таких детей, – ответила миссис Джонсон, уже примериваясь к двери класса в явном намерении сбежать от разговора со мной.

– Вы знаете только то, что они не белые!

Все так же подобно миссис Расин, миссис Джонсон сбежала от меня в класс, оставив меня рыдать в коридоре. Вернувшись следом за ней, я обнаружил, что, пока она меня отвлекала, допрос в классе шел полным ходом. Я сел обратно за свою парту, размышляя, в чем же я ошибаюсь и как поступить в следующий раз, чтобы быть услышанным.

Я осознал, что мои учителя боялись оказаться в неловком положении гораздо сильнее, чем показать свою безнравственность. Они были абсолютно эмоционально не готовы к вопросам и изобличениям, и в этом заключалась их слабость. Миссис Джонсон и мистер Гельман уже ясно дали мне понять, что меня к директору отправлять не собираются. Опять же, на тот момент я уже рассказал своим родителям обо всех случаях расизма, которым стал свидетелем в школе, и знал, что они поддержат меня в попытках его пресечь. Мое неуважение к старшим и моя способность совершенно спокойно и бесстрашно вступать в конфронтацию означали, что заставить меня замолчать не удастся.

Я высказал все эти мысли Роберту с Мануэлем, но те даже не смотрели в мою сторону во время этого монолога^[34]. Роберт сказал, что мне вечно удастся избежать неприятностей по причине того, что я – любимчик. Я расплакался и стал призывать Роберта вспомнить,

сколько раз я открыто выступал против учителей. Ребята в ответ молчали. Кончилось все тем, что я сквозь слезы пообещал, что докажу их неправоту в следующий раз на подобном допросе.

И тот не заставил себя долго ждать – вскоре занятия снова прервали на «расследование» какого-то нового преступления. Я немедленно спросил миссис Джонсон, почему она не ставила под подозрение и не допрашивала белых^[35]. Миссис Джонсон и мистер Гельман сделали вид, что не слышали меня.

– Почему вы меня не спросите, не я ли нарисовал граффити?

Этот вопрос они тоже проигнорировали. Я вновь плакал, но моя атака лишь начиналась^[36].

– Почему вам так сложно ответить на мои вопросы? Почему вы их так боитесь?

В конце концов миссис Джонсон все же снизошла до фразы: «Майкл, ты отвлекаешь».

– Я замолчу, если вы станете вести себя честно, – ответил я.

Глава 3

Подростковые истины

К тринадцати годам я был уже достаточно взрослым, и отец стал по несколько раз в неделю водить меня на концерты, билеты на которые ему доставались по работе. Для меня большая часть этой новой музыки была внове: Рей Дэвис, Нил Янг, «Х», Руфус Томас, Джони Митчелл, братья Оллман, Брэнфорд Марсалис, «Ministry», Моуз Эллисон, «The Grateful Dead», и так далее. В автобусе, на котором я добирался до школы и возвращался потом домой, постоянно играло радио KROQ, давая мне возможность впервые в жизни самостоятельно знакомиться с новой музыкой. Правда, отец знал любую группу, о которой я заводил речь, поскольку слушал вообще все новинки музыкальной индустрии сразу после релиза.

Одной из первых уже известных мне групп, на концерт которой мы пошли, была Nirvana. Причем папа был гораздо более серьезным их фанатом, чем я – я-то слышал только самые известные их хиты. А еще это был первый на моей памяти концерт, где отец оказался единственным взрослым, сколько хватало глаз. Я с презрением оглядывал стадион, набитый одинаковыми фланелевыми трутнями, одетыми в стиле гранж^[37].

Концерт открывал комик Бобкэт Голдтуэйт. Нам с отцом такой эксцентричный и даже несколько насмешливый ход пришелся по вкусу. Мне понравился неповторимый хриплый голос Бобкэта. Начал он с того, что попросил поднять руки всех, кто уже отоварился чем-нибудь из новой линейки Gap в стиле гранж. Стадион взорвался хохотом, чему я знатно удивился – я совершенно не ожидал, что собравшиеся окажутся способны посмеяться над собственной модной конъюнктурностью.

Уже после первых нескольких песен я почувствовал, что папе что-то не дает покоя. Он сказал:

– Потрясающая группа, искренняя и самобитная.

Я точно знал, что дальше будет «но».

– Но меня жутко бесят их костюмы. У меня буквально перед глазами стоит картинка, на которой эти ребята режут свои джинсы ножницами и специально взлохмачивают волосы, поливая их лаком. Это, наверное, самое не-панковское, что вообще бывает на свете. Они явно из кожи вон лезут, чтобы создать видимость, будто им плевать, как они одеты, – отец покачал головой. – Многие из гениальных музыкантов носят костюмы, но они признают, что это лишь костюм. Грейс Джонс и Дэвид Боуи не делают вид, будто они только что вылезли из постели. Nirvana попросту лгут в этом отношении.

– Точно, – поддержал я, восхищаясь отцовской проницательностью. – Явная фальшивка.

– Что ж, они еще молоды, – подытожил папа – Может, с возрастом им удастся примириться с собой настоящими.

Навострив уши в моем школьном автобусе, можно было подумать, что смотришь плохое кино, полное стандартных диалогов, клише и переигрывания. Ребята вокруг меня наперебой хвастали своими очевидно вымышленными дерзкими преступлениями и успехами в сексуальной жизни. Они захлеб рассказывали смехотворные истории о потасовках со старшими ребятами и кончавшимися постелью романами из прошлых школ, хотя даже не были способны вспомнить имена выдуманных героев этих историй. Интереснее всего было то, что я ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то усомнился в их истинности.

В то лето я ходил на курсы, проходившие на кампусе колледжа, известные в школьной среде как «лагерь ботаников». В первый же день нашего знакомства мы все сидели на траве и по очереди хвастались достижениями на личном фронте. Надо сказать, что в автобусе такими вещами обычно кичились ребята ощутимо постарше и покрупнее. Из этих же ребят большая часть была еще ниже меня и хуже развита физически. Маленькие ботаники называли касание груди второй базой, минет – третьей, а полноценный секс – хоумраном^[38]. Тринадцатилетнему мне сложно было даже помыслить о том, чтобы хотя бы подружиться с какой-нибудь девочкой, не говоря уже о поцелуе. Ребята тем временем по кругу рассказывали о том, что

добрались до второй или даже третьей базы. Я был абсолютно уверен в том, что они лгут, а потому стал задавать уточняющие вопросы, заставляя их более детально описывать мнимые минеты. Субтильный блондинчик, который, собственно, начал эту игру, быстро потерял самообладание и рявкнул, чтобы я заткнулся и не перебивал. Когда очередь дошла до него, он склонил голову чуть набок и усмехнулся, смешно подражая взрослым.

– Я дошел до третьей и почти до хоумрана, – заявил он. Остальные впечатлились.

Когда пришел мой черед, я честно сказал:

– А я ни до каких баз не добирался.

Блондинчик указал на следующего за мной парня, даже не оставив остальным времени отреагировать на мои слова. Следующий заявил, что добрался до третьей. Я начал закипать. После того, как высказался последний из собравшихся, я заявил:

– Не знал, что мы тут делимся вымышленными историями.

Ребята стали нервно переглядываться, надеясь, что среди них найдется кто-нибудь, кто сможет достойно ответить мне. Неловкое молчание прервал блондинчик, встав и предложив пойти разжиться газировкой.

Я не знал, верили ли они сами друг другу или же их общение вовсе не строилось на доверии и честности. Но в итоге я в тот день выработал неплохой метод изобличения лживых рассказов.

Было ясно, что многие люди лгали с целью искусственного повышения собственной социальной оценки. Те ребята хвастались вымышленным сексом, пытаясь казаться взрослее и круче. Естественно, отсутствие особенного воображения, креативности и смекалки не позволяло им выдумать убедительные подробности своих мнимых постельных приключений. Они говорили весьма общо, вероятно, присваивая себе подслушанные где-то чужие рассказы и явно не рассчитывая, что кто-то начнет что-то у них уточнять. Для обличения такой лжи требовались всего два простых вопроса: во-первых, повышает ли эта ложь социальную оценку говорящего, а во-вторых, желай они ее повысить, стали бы они использовать именно такую байку? После проверки этими двумя вопросами обычно оказывалось, что почти все, что говорили мне и друг другу мои сверстники мужского пола, было ложью.

Я почему-то был уверен, что у девочек все обстояло иначе. Я подслушивал их разговоры и наблюдал за ними издали. Девочки обычно разговаривали о своих переживаниях и чувствах. Многие из них что-то писали в закрытых на маленькие замочки дневниках, а я гадал, что за мысли и истории могут требовать такого уровня секретности. Девочки достаточно открыто самовыражались, и я поставил себе задачу поскорее выяснить, как с ними можно подружиться.

Высокая самооценка

Вернувшись в летний «лагерь ботаников» в четырнадцать, я встретил девочку по имени Майя, которой нравилось обсуждать личные темы. В ходе первого же нашего разговора она рассказала мне историю своего появления на свет: ее мама хотела завести ребенка, но не желала выходить замуж, поэтому уговорила своего бывшего парня зачать с ней ребенка, а растить его, дескать, она будет сама. Еще Майя рассказала мне о своем восемнадцатилетнем парне, оставшемся в Вашингтоне, откуда она была родом, и поделилась со мной своими соображениями и наблюдениями на тему секса. Она предполагала, что способа уметь хорошо заниматься сексом с кем угодно не существовало и что это все зависело от совпадения интересов участников. На ней была футболка тай-дай и шорты, и я сказал, что она одевается практически как мой отец. Она ответила, что одевается так же, как ее мама. Это был первый за всю мою жизнь интересный разговор с кем-то помимо родственников.

На следующий день Майя сказала, что разговор со мной убедил ее расстаться с парнем и что в то утро она послала ему письмо. Потом она сказала, что хочет меня поцеловать. Она постелила нам плед для пикника под деревом в укромном уголке кампуса, мы растянулись на нем и стали глядеть на небо. Она склонилась надо мной и поцеловала меня. Когда я ответил на поцелуй, она отстранилась и сказала:

– Давай покажу, как это делается. Не шевелись.

Я видел, как некоторые прижимались друг к другу сомкнутыми губами, а другие засовывали языки друг другу в рот, но она сделала иначе: она стала по очереди посасывать мои губы. Затем я попробовал сделать так же и обрадовался – чувство от поцелуя оказалось именно таким, как я надеялся. Это было большим облегчением – я серьезно опасался, что поцелуи тоже попадали в категорию того, что все делали просто чтобы вписываться в социум, а не потому, что им это нравится.

– Ух ты, – сказал я, – оказывается, есть вещи, которые популярны потому, что они действительно прекрасны.

Майя засмеялась.

– Поцелуй может быть настоящим или искусственным, точно так же, как и разговор, – ответила она, мечтательно улыбаясь. Я поблагодарил

ее за то, что она научила меня целоваться, а она ответила, что тронута тем, что эта роль досталась ей.

Я сказал Майе, что она – первая, кому я по-настоящему понравился. Она мне не поверила. Пообщавшись некоторое время с другими ботаниками с кампуса, она вернулась и сказала:

– Надо же, и правда! Большинству ты действительно не нравишься! Некоторые даже объяснили, почему именно, но, честно говоря, с их слов ты получался, наоборот, веселым и интересным.

– Нам с тобой обоим нравится честность, так что нам сложно представить, почему кому-то она может не нравиться, – пояснил я. – Поверь, многие ее ненавидят всей душой. Во всяком случае, конкретно мою честность – точно ненавидят.

Она кивнула.

– Я обычно нравлюсь окружающим, но, если подумать, то тем, кому я не понравилась, я, видимо, не понравилась как раз своей откровенностью.

На протяжении всей оставшейся учебы в «лагере ботаников» Майя была моей «девушкой». Потом мы звонили и писали друг другу письма настолько часто, насколько это было по карману родителям, то есть раз в пару месяцев.

Повстречав наконец девушку, которой я понравился, я еще более утвердился в своем намерении крепко держать оборону и не предавать честность, держаться ради тех, кто способен это оценить, и махнуть рукой на всех остальных.

Около года спустя я стал регулярно обмениваться записками с одной девушкой, с которой мы вместе ходили на испанский. Тамар была совсем непохожа на Майю и старалась уходить от ответов на слишком личные вопросы. Однако, несмотря на это, ей явно нравилось мое любопытство. Она в ответ подкидывала мне записки, в которых задавала еще более личные вопросы, разводя меня на разговор. Вскоре я уже всю писал в этих записках о своих фетишистских фантазиях и с удовольствием наблюдал за ее расширяющимися глазами, когда она читала это все на занятиях. Дописав ответ, она обычно хитро смотрела на меня с ухмылкой. В какой-то момент я начал писать и о своих

чувствах к ней, причем в самых романтических и сексуальных формулировках, какие только способен был придумать. Как-то раз я спросил ее напрямую о ее чувствах ко мне. Она ответила, что я казался ей милым и эмоциональным и что мы практически одинаково относились к сексу и не стеснялись этой темы. Она рассказала, что была как-то раз на концерте британской группы «Pulp» и что с тех пор еще долго не могла перестать представлять себе длинные руки Джарвиса Кокера, обнимающие ее за талию. Лицом к лицу мы никогда подобные вещи не обсуждали – да мы вообще толком не оставались с ней один на один – все эти обмены информацией происходили на занятиях по испанскому, словно это была наша общая большая тайна. Я видел, как в фильмах учителя иногда перехватывали такие записки и зачитывали их вслух перед всем классом, чтобы унижить тех, кто ими обменивался. Я написал Тамар, что я был бы совершенно не против такого расклада и что я гордился нашей перепиской. Еще я написал, что содержание наших записок столь неприлично, что учитель сам просто-напросто смутится и не станет их зачитывать. Я спросил мнения Тамар на этот счет, но она снова ушла от ответа.

Как-то раз я спросил ее в записке, не хочет ли она встретиться и пообщаться как-нибудь за стенами школы. Она ответила «да» с восклицательным знаком, который я воспринял с большим пиететом. В ту ночь мне снились восклицательные знаки.

Поскольку я провалил экзамен на права (на сей раз не из-за честности – я просто никудышно водил), Тамар приехала за мной через всю долину Сан-Фернандо и подобрала меня у дома, после чего мы весь день катались по Лос-Анджелесу, слушая «Music for Torching» Билли Холидей. Надо сказать, я в жизни не слышал столь честного голоса.

Ближе к ночи Тамар припарковала машину неподалеку от моего дома, и я спросил, могу ли я ее поцеловать. Она вжала голову в плечи.

– Зачем ты спросил? – спросила она, скорчив жалобно-недовольную мину. – Почему просто не поцеловал? – она посмотрела на меня. – Такие вопросы все портят. Я бы тебя поцеловала, если бы ты не спросил.

Может быть, мне следовало расценить это как вежливый отказ, а может, поцеловать ее сразу после этих слов без дальнейших рассусоливаний. Вместо этого я уцепился за ее фразу и ударился в философию.

– Так ты целуешься только с теми, кто не спрашивает твоего мнения? А остальным как, мысли твои читать, что ли? Я вот, например, не желаю лезть с поцелуями к девушке, которая этого не хочет.

– Я имела в виду, что не надо просить разрешения, – ответила она. – Просто бери и делай то, что хочешь.

Я вспомнил о том, как она заранее писала мне, что хотела бы меня поцеловать. – Но это, получается, просто твои личные предпочтения?

– Да нет же, ни одной девушке не нравится, когда о таком спрашивают, – настаивала она, а я тут же решил, что надо будет спросить об этом Майю в следующем письме. – Задавать такие вопросы – это не сексуально. Надо быть увереннее. Если ты уверен в себе, то и спрашивать не нужно, потому что ты и так знаешь, что все вокруг хотят тебя поцеловать, – добавила она. – Вот уверенность – это сексуально.

– погоди, давай проясним, – сказал я. – То есть ты хочешь сказать, что, стоит мне каким-то образом убедить себя самого в том, что все вокруг хотят меня поцеловать, то такое безосновательное заблуждение сразу делает меня сексуальным?

Тамар отодвинулась к двери, явно пытаясь придумать, как бы повежливее сплавить меня из своей машины. Я же все еще надеялся исправить ситуацию спором.

– Меня почти никто не хочет целовать. Это железный факт. Каким образом я должен умудриться поверить в то, что настолько очевидно и доказуемо не является истиной?

– У тебя просто низкая самооценка, – ответила Тамар.

Я засмеялся.

– Нет, низкая самооценка – это когда ты низко ценишь самого себя. Я себя как раз люблю таким, какой я есть. Я же низко ценю окружающих. У меня низкая не-себя-оценка.

Несмотря на то, что поцелуй с Тамар так и не состоялся, как и на то, что мы так и не сходили больше ни на одно свидание, мы продолжили обмениваться записками на занятиях. А я все так же продолжал переписываться с Майей и временами звонить ей.

Полгода спустя состоялось празднование бар-мицвы у Джоша, и родители сказали, что я могу пригласить друзей. Оказалось, что в планах было заселиться на выходные в трейлер (чтобы папа, не ездивший никуда в шаббат, имел возможность быть в пятницу вечером неподалеку от синагоги и не тратить времени и сил на пеший путь). В субботу вечером трейлер планировалось оставить у заезда к нашему дому, чтобы на следующий день вернуть владельцу, а мы с друзьями могли посидеть в нем.

Я пригласил Майю и еще двоих наших общих знакомых по «лагерю ботаников», живших неподалеку. Майя по приезду заявила, что у нее есть парень и, соответственно, целовать меня она не хочет и не будет, хоть и любит меня до сих пор. Я поблагодарил ее за честность и прямоту и не стал пытаться пересекать обозначенную ею черту. Вместо этого я обдумывал новый план: познакомить ее с Тамар и поболтать с ними обеими одновременно.

После завершения празднования мы все встретились в запланированном составе: я, Майя, Тамар и еще двое из «лагеря ботаников». Все, кроме меня, возжелали тем или иным способом разжиться алкоголем. Я на тот момент еще ни разу в жизни не напивался, так что не имел ни малейшего представления о том, понравится ли мне пить спиртное. Не имея собственного мнения по этому вопросу, я согласился на эту авантюру просто потому, что этого хотели и Майя, и Тамар. Мы с ботаниками сидели в припаркованной на стоянке у супермаркета машине и наблюдали с безопасного расстояния за тем, как Тамар с Майей упрашивали какого-то мужика купить им водки.

Потом мы сидели в трейлере и пили водку с апельсиновым соком. Здесь память по понятным причинам начинает меня подводить, однако, проснувшись следующим утром, я все же обнаружил в своей голове достаточное количество обрывочных воспоминаний, чтобы сложить из них более-менее полную картинку происходившего. Я помню, как предложил всем дружно раздеться^[39]. Я не помню каких-то особых последовавших за этим споров, но, надо думать, мое

предложение в целом пришлось остальным по душе, поскольку в итоге мы все же оказались в том трейлере голышом, все пятеро – двое ребят из «лагеря ботаников» лежали с одной из девушек, а я – с другой, причем те были старше и опытнее меня в таких вопросах^[40]. Мои же достижения на любовном фронте на тот момент ограничились поцелуями с Майей и засовыванием руки под ее футболку. То бишь в ту ночь, лежа в постели с обнаженной Тамар, я не имел ни малейшего представления о том, что мне следовало делать. Вполне может статься, что я могу претендовать на свое место в анналах в качестве самого неопытного в половом отношении инициатора группового секса за всю историю человечества.

Несмотря на мою крайнюю увлеченность лежавшей рядом девушкой, вскоре меня одолело желание прерваться и поговорить.

– Слушай, Тамар, – произнес я, – это все только на одну ночь? Или попробуем как-нибудь еще, вдвоем?

Тамар даже не разомкнула глаз.

– Заткнись и поцелуй меня, – сказала она, и, надо сказать, этот ответ меня вполне устроил – он напомнил мне сцену из какого-то фильма. Еще некоторое время мы целовались, но я все же не смог не любопытствовать:

– Ты теперь моя девушка?^[41]

– Заткнись и поцелуй меня, – вновь произнесла Тамар, и я вновь подчинился.

Позднее мы поменялись местами – я лег с Майей, а те двое перебрались к Тамар. Я обратился к Майе:

– Ты же говорила, что нам нельзя целоваться, потому что у тебя есть парень.

Девушка взяла пример с Тамар:

– Майкл, заткнись и поцелуй меня.

– А ты ему расскажешь обо всем этом? – поинтересовался я.

– Заткнись и поцелуй меня, – повторила она.

Тут меня отвлекли звуки, которые издавала у меня над ухом в иступлении Тамар. Один из тех двух парней целовал ее в губы, а другой тем временем делал что-то у нее между ног. Не совсем понимая, что к чему, я решил посмотреть поближе, но быстро осознал, что на деле вовсе не хотел наблюдать такое. То был первый раз в моей жизни, когда я физически не смог себя заставить на что-то посмотреть.

Я гадал, ощущают ли все остальные то же самое, когда не могут посмотреть правде в глаза. Однако чувство стыда за трусость быстро сменилось раздражением из-за того, что я сам не имел никакого представления о том, как извлечь из Тамар такие звуки.

На следующее утро я проснулся в одной постели с Майей и теми двумя парнями. Тамар сидела, уже одетая во вчерашнее, на другом конце трейлера. Заметив, что я проснулся, она совершенно восхитительно улыбнулась мне, чуть покраснев. Я подошел к ней нагишом и принялся искать собственную одежду. Когда я нагнулся, чтобы подобрать ее с пола, Тамар провела рукой по моим волосам.

– Мне пора домой, – сказала она.

Когда все встали, Майя отправилась в дом принять душ, а парни принялись обсуждать со мной события прошлой ночи.

– Нет, ну Тамар – это нечто! Горячая штучка, ничего не скажешь! Губы мне чуть в кровь не стерла! – сказал тот, что повыше. Строго говоря, он говорил чистую правду, однако почему-то его слова вызывали во мне искреннее отвращение. В тот момент я твердо решил, что в жизни больше не стану с ним разговаривать. Вскоре ботаники ушли, а я отвез Майю в аэропорт.

На следующий день я рассказал эту дикую, пожалуй, лучшую из приключившихся со мной историю друзьям в школе, и не по разу. Я честно не пытался утаивать даже самые дурацкие моменты и не старался скрывать своей неуверенности насчет того, смогу ли я когда-нибудь еще хоть раз поцеловать хотя бы одну из этих девушек. На уроке испанского я заметил на лице Тамар все ту же чуть смущенную, тронутую румянцем улыбку, и предложил девушке встретиться вечером. Она ответила мне согласием.

Оказавшись у Тамар дома, я признался ей, что безумно хочу повторить наш опыт наедине с ней, и попросил ее показать мне, что и как нужно делать. Она отступила на шаг, сказала, что она расценивала произошедшее лишь как пьяную случайность, и попросила меня никому об этом не рассказывать.

– А-а, – сказал я. – Я не понял, что это секрет. Я весь день сегодня эту историю пересказывал.

Тамар затихла и отвела взгляд. Мне стоило, конечно, просто уйти, но вместо этого я решил поведать ей о том, как меня задело то, что один из тех ботаников назвал ее «горячей штучкой» и сказал, что, дескать,

она ему чуть губы в кровь не стерла. После этих моих слов Тамар сказала, что ей нехорошо и что ей нужно срочно прилечь.

– Не нужно лгать, – сказал я ей на это. – Ты можешь честно сказать мне, что злишься.

Я по наивности ожидал от нее чего-то вроде облегченного вздоха. Однако чем больше я уверял ее в том, что от меня не нужно ничего утаивать, тем больше Тамар зажималась и тем отчаяннее повторяла, что она в порядке, не считая этого таинственного внезапного недомогания.

На следующий день на уроках она игнорировала мои записки. Майя, как ни странно, тоже перестала брать трубку.

Вечером после ужина мы с родителями сидели на кухне и обсуждали минувшее празднование бар-мицва.

– Как с друзьями, хорошо посидели? – поинтересовалась мама.

– Сначала все было хорошо, а потом стало просто хуже некуда, – ответил я. – Меня теперь все ненавидят из-за того, что мы в субботу напились в трейлере, я уговорил всех раздеться и повеселиться и в итоге, в общем, никому ничего не понравилось.

Мама с папой сели за кухонный стол, и я рассказал им всю историю целиком (к слову, рассказ родителям о моей первой подростковой оргии дался мне без каких-либо усилий). Когда я дошел до расстройств Тамар на следующий день, отец возмутился точно так же, как и я сам.

– А что ты, по ее мнению, должен был сделать? – подивился он. – Держать все в тайне? Не рассказывать ей, что о ней говорили?^[42] – ободряюще кивнув мне, папа добавил: – Я считаю, что ты вел себя правильно.

Глава 4

Семейный лагерь

В 1997 году, когда мне было шестнадцать, родители усадили меня за стол и спросили, не хочу ли я поехать в семейный лагерь.

Родители с Джошем и Мириам ездили в этот лагерь уже несколько лет, а я в это время обыкновенно находился в «лагере ботаников». Мама пояснила, что этот лагерь представляет из себя некое экспериментальное сообщество, созданное одним известным семейным врачом, и что сам основатель уже десять лет как умер, но его идею подхватили последователи и ученики. Мама сама последние несколько лет училась у этих людей, и именно они изначально ее и пригласили. Она добавила, что правила этого лагеря, его атмосфера и обстановка были специально разработаны таким образом, чтобы на примере небольшого сообщества доказать, что методы скончавшегося основателя способны изменить наше общество к лучшему.

– И что, хорошие там врачи? – поинтересовался я^[43].

– Мне они нравятся, – ответила мама. – Большинство из них, по крайней мере.

– Дело вовсе не в них, – подал голос отец. – В этом семейном лагере принята целая иная культура, – он взял паузу, а из его глаз потекли слезы. – Это тяжело объяснить, – глухо произнес он сквозь рыдания. – Но это единственное место из всех, что я знаю, в котором тебя не отринут за честность.

Короче говоря, меня купили с потрохами.

Итак, все семейство Левитон забралось в мамин минивэн и отбыло в шестичасовое путешествие к заливу Сан-Франциско. Мне на тот момент исполнилось семнадцать, Джошу было четырнадцать, а Мириам – десять.

Я мало времени проводил с сестрой. К тому моменту, когда она научилось более-менее отчетливо говорить, мне было уже лет

одиннадцать или двенадцать, и я успел стать маленьким последователем отца. Мириам чаще всего была рядом с родителями, а я в их присутствии обыкновенно переключал все свое внимание именно на них. За столом мы чаще всего разговаривали о том о сем с папой, а Мириам с Джошем, а подчас даже и мама, в дискуссию не вступали^[44]. Мириам обладала пышными, кудрявыми волосами, пухлыми щеками и непреодолимой тягой к искусству: она обожала петь, танцевать и разыгрывать сценки, в которых сама играла всех действующих персонажей. В то время как мне доставалось лишь от отца, Мириам приходилось терпеть помимо отцовской критики еще и мою. Мы были в этом отношении этаками Стэтлером и Уолдорфом из «Маппет-шоу», шутившими вместе и смеявшимися с высоты театральной ложи над происходившим внизу. Вероятно, Джошу с Мириам не особенно нравился такой недостаток внимания, но, с другой стороны, я точно отвлекал отца с его критикой, что несколько развязывало им руки. И все же детство у Мириам выдалось не самое легкое, и к десяти годам оно уже оставило в ее душе неизгладимый горький след, который она и не думала скрывать.

К семейному лагерю вела извилистая полуторазполосная дорога, пролежавшая через горный хребет и подчас опасно крутая. Было в этой дороге нечто метафорическое – словно нас должно было вырвать на ней физически, прежде чем нас вырвет эмоционально уже в лагере.

С дороги был виден небольшой заливчик с очаровательным мостиком. На мелководье среди камней резвились дети, охотясь при помощи самодельных копий на речных раков и ловя в банки мелких тритонов. Позади них раскинулся густой лес. Мы остановились на «парковке» лагеря, которой служила большая зеленая поляна посреди леса. На бамперах большей части оставленных здесь машин красовались наклейки вроде «Я – гордый родитель своего внутреннего ребенка», «Кто странствует – не потерялся», «Остановим насилие над детьми. Быть ребенком должно быть не больно» и так далее. «Практикуйте хаотичное добро и спонтанную красоту» – таких и вовсе было без счета. На номерном знаке одной машины над номером красовалось «На серфе лучше», а на другой «Лучше быть собой».

Туалет напоминал случайно оброненный в лесу каким-то немислимым гигантом цементный блок. Стены здания кухни пестрили постерами и плакатами с изображениями облаков, радуги или цветов, и на каждом были цитаты основателя лагеря. Я прошелся вдоль этих плакатов, потирая подбородок, словно сноб в галерее искусств.

«Норма – это отклонение».

«Проси того, чего хочешь, даже если знаешь, что тебе откажут».

«Критикуй, но не обвиняй».

«Неблагополучность семьи измеряется в количестве и тяжести секретов, которые ее члены хранят друг от друга».

Мы поели за собственным столом для пикника, после чего к нам без приглашения подсел дерганый пожилой человек в очках и с неряшливым снопом седых волос на голове. Я посчитал было, что он знаком с моими родителями, однако их нерешительные приветствия убедили меня в обратном. Представившись мне, он тут же добавил, что мне совершенно не обязательно запоминать, как его зовут.

– Здесь не нужно запоминать имена, – сказал он, – мы не придерживаемся общепринятых правил вежливости.

Вначале я ему просто не поверил – целая неделя без правил вежливости звучала слишком хорошо, чтобы быть правдой. Однако папа тут же, словно в качестве наглядной демонстрации, сказал этому человеку прямым текстом, что нам бы не хотелось, чтобы он сидел с нами. Пожилой мужчина на вид нисколько не обиделся, а просто сказал «хорошо» и пересел за другой стол. Этот разговор между двумя взрослыми людьми, в котором оба честно и явно выражали свои желания и уважали установленный друг другом границы, был для меня иллюстрацией настоящего рая на земле. До тех пор я не понимал, насколько меня на самом деле тяготили уловки, вежливые отговорки и агрессия, с которыми я регулярно сталкивался в повседневной жизни. Тем удивительнее оказалось чувствовать легкость от осознания того, что здесь никто не станет на меня огрызаться по каким-то мелочам.

Следующим утром я отправился на церемонию, которую все по традиции называли «замером температуры». Вместе с остальными я вышел к амфитеатру, где на старых деревянных скамьях сидело, замерзая и грея руки об чашки с кофе, почти все население лагеря, то есть примерно полторы сотни человек. Большая часть обитателей

лагеря были в туристической или спортивной одежде; то тут, то там мелькали фирменные лагерные зеленые толстовки и футболки.

Замер температуры начинался с «доброты и ласки» – местные выходили на сцену и выражали свою радость и удовлетворение по поводу событий минувшего дня. Многие вышли и дали хотя бы небольшую речь, а я сидел и удивлялся тому, как все эти люди любили этот лагерь и друг друга. Никогда прежде я не был свидетелем такой истинной общности, не выкованной из железных колец этикета и вежливости. За «добротой и лаской» следовали «клопы». Теперь на сцене выстроились хмурые обитателя лагеря, коих набралось почти втрое больше, чем тех, кто выходил на сцену в предыдущем сегменте. Кто-то из них стал жаловаться на шумевших у костра подростков, кто-то – причитать на тему того, что его любимую лагерную работу уже отдали кому-то еще до его прибытия. Девчушка лет пяти громко порицала практику рубки деревьев на дрова. Кто-то заявил, что некто иной на него давит, на что этот самый некто возмущенно возразил. Остальные влезали без всякой очереди, чтобы успеть высказаться о собственных неурядицах. Расстроившиеся из-за происходящего отдыхающие начали плакать. Другие тут же во всеуслышание подвергли «нытиков» жестокой критике и заявили, что они-де отказываются стыдиться того, что достаточно храбры, чтобы урегулировать конфликт. Вскоре все уже забыли, с кого из «клопов» вообще начался весь сыр-бор.

«Терапия» проходила на окраине лагеря, на опушке, укрытой желтыми и оранжевыми листьями, под сенью деревьев, сквозь ветви которых было видно небо. На опушку выкатили меловую доску, а в качестве сцены постелили ковер. Участники расселись вокруг на складных стульях, между которыми то там, то сям валялись упаковки с бумажными платками. Зрелище меловой доски посреди леса меня завораживало.

Терапевтов в лагере принято было называть «координаторами», а саму терапию – «работой». Мне нравилось, что местные обитатели обзавелись собственным сленгом – это придавало всему происходящему яркий личный оттенок, контрастировавший со скучным бытовым унаследованием обыкновенного разговорного языка^[45].

Один из координаторов по имени Макс – обладатель орлиного носа, кустистой бороды и ласковых, понимающих глаз, вышел на «сцену». На нем была флисовая жилетка и лыжная шапочка. Он постоянно как будто пожимал плечами. Обрызгав себя репеллентом, он объявил, что сеанс начнется с «приемов».

– Вы можете поделиться с остальными чем-то, что не дает вам покоя, или просто рассказать нам о том, что произошло в вашей жизни с тех пор, как мы последний раз с вами виделись.

Участники принялись один за другим рассказывать о важных событиях из своего недавнего прошлого, и чаще всего эти события оказывались малоприятными. Плакали все, включая меня. Передо мной стояли настоящие, живые люди, рассказывавшие с безумно скорбными лицами о самых важных моментах в их жизнях, и это буквально разбивало мне сердце. Извращенная красота этих импровизированных монологов казалась мне поистине прекрасной.

Одна из женщин скривилась.

– А вам никогда не приходило в голову, что, может быть, не всем здесь хочется стоять здесь и ждать вашего суждения на тему того, как мы провели все это время?

Координатор Макс снова поднялся на ноги.

– Мы все вас услышали – вам не нравится наши приемы. Кому-нибудь еще неудобно?

В воздух взлетело несколько десятков рук. Я же и представить себе не мог, что этим людям могло не нравиться. Теперь постояльцы лагеря стали, выходя по очереди, делиться с остальными своими мыслями и чувствами по поводу уже, собственно, самих «приемов» – описывали свое самовнушенное чувство вины, своего «внутреннего критика», свои переживания и то, как они совершенно не заслуживали времени на этом сеансе, свои никчемные, по их мнению, жизни. Некоторые говорили, что страшатся осуждения и издевок, даже в этом лагере. В теории я знал, что это достаточно широко распространенные в обществе чувства, но в тот день окружающие впервые доказывали мне это на практике, искренне в них признаваясь.

На следующий день мы вновь собрались на поляне перед меловой доской. Координатор Макс попросил кого-нибудь из примерно сорока присутствовавших выйти на «сцену» добровольцем. Первым поднял руку широкоплечий детина гигантского роста. Встав со своего кресла,

он протопал к коврику. Макс спросил, что его беспокоит, и тот в ответ стал рассказывать о беременности своей жены. Он не сказал еще и трех предложений, но уже начал всхлипывать, да так громко, что вместо рассказа выходил скорее крик. Сквозь слезы он рассказал о том, что у его жены случился выкидыш, что теперь непонятно, сможет ли она вообще иметь детей в будущем, и что он винит за произошедшее себя.

Стоило мужчине издать определенный звук, похожий на мычание, Макс быстро произнес:

– Цепляйся за этот звук!

Мужчина замычал еще громче, его огромное тело сжалось, выпуская наружу боль.

– Если бы твоя боль умела говорить, что бы она сказала? – спросил Макс.

– Ты причиняешь боль всем, кто тебя любит! – ответил рыдающий гигант.

Макс попросил мужчину выбрать кого-нибудь из собравшихся на роль своей боли, чтобы тот повторял эти слова. Произнесенные другим человеком, они словно окончательно добились детину, и у того стали подкашиваться ноги. Многие из присутствовавших повскакали с мест, чтобы подхватить его могучую тушу.

Я тогда ровным счетом ничего не знал ни о ненависти к самому себе, ни о боли и горечи утраты. И все же мне казалось, что ни одному подростку в мире, даже такому, что успел уже побывать в больницах, тюрьмах, судах и на похоронах, еще не доводилось видеть настолько искренние и мощные рыдания скорбящего человека.

Макс попросил выйти еще несколько человек, чтобы те схватили гиганта и держали покрепче и дали ему набрыкаться. За мужчину уцепились почти все собравшиеся, в том числе и мы с папой. Я крепко сжимал плечо детины, а тот извивался и дергался в наших общих тисках и постепенно затихал. Мы с папой случайно встретились взглядом; он поднял брови и улыбнулся, надо думать, внутренне посмеиваясь над таким интересным совместным времяпровождением отца и сына.

С тех пор я стал посещать сеансы регулярно, как только представлялась возможность. Я стал свидетелем «работы» по врачу, которому не давал проходу заведующий отделением, по насилию

сексуального характера над ребенком, по женщине, отчаянно желавшей, чтобы ее муж занимался с ней более жестким сексом, по тяжкому бремени многолетней безработицы и по трудностям при знакомствах за восемьдесят. С порой весьма неожиданных точек зрения я наблюдал немислимое количество жизней; нигде более такое не было возможно. Знание прошлого того или иного человека очень ощутимо помогало понять его в настоящем. Вне лагеря все эти истории были невидимы для глаза стороннего наблюдателя – большая часть людей упорно отказывалась обсуждать причины своих проблем.

Помимо основных сеансов, мы с папой ходили в «мужскую» группу. «Специализированные» группы – мужские, женские, детские, подростковые, для молодых и пожилых людей – были, по сути, закрытыми сеансами, на которых люди могли свободно обсуждать, к примеру, членов своих семей. В женской группе любая могла рассказать про интрижку на стороне, и ее семья оставалась в неведении. Какой-нибудь дедушка мог спокойно рассказать про зависимость, которую скрывала при жизни его почившая жена, не боясь осквернить этим память своих детей и внуков о ней. Мне такая конфиденциальность не нравилась – я в то время расценивал это как нечестность.

На одном из сеансов мужской группы в тот первый год я наблюдал, как папа проводил «работу» над своим гневом на собственного отца. Когда он выбрал одного из присутствовавших на роль Зайде, Макс спросил, какую позу тому принять.

– Он вечно дрыхнет, – ответил отец. Мужчина, игравший Зайде, послушно откинулся в кресле, изображая сон. Папа назвал его «слабым» и «трусливым», после чего Макс попросил кого-нибудь еще выйти и сыграть слабости Зайде. К всеобщему веселью, отец выбрал на эту роль молодого, атлетичного парня. Самого папу, однако, смех окружающих озадачил.

– Я тогда не уловил всей иронии ситуации, – сказал он мне потом. – Мне слабость отца всегда казалась некой незыблемой опорой, которая помогала ему жить – отними ее, и он упадет на пол тряпичной куклой. Так что на роль этой слабости мне нужен был сильный человек.

Папа вел себя не так бесшабашно, как некоторые, но все же много плакал и признавался, что не хочет стать таким, как его отец. Когда он

успокоился, координатор предложил мне высказать свое мнение насчет их схожести.

Я честно ответил:

– Шутите? Да папа – самый не-сонливый человек из всех, что я знаю, – собравшихся эти слова, очевидно, тронули. – Уж не знаю, к счастью или к несчастью – свои плюсы, свои минусы, – добавил я, пожав плечами. Эту мысль мужская группа встретила смехом.

Недели еще не прошло, а я уже оказался свидетелем терапии с несколькими десятками человек. Это не говоря уже о том, что лагерь вообще словно бы обладал некой магической аурой, превращавшей почти любой разговор в сеанс терапии. Почему-то основными предметами обсуждения в лагере были весьма личные темы и переживания насчет взаимодействия и отношений с теми или иными людьми, и частенько заканчивались они комментированием и оценкой, собственно, текущей беседы. Но мне все это совершенно не казалось странным. Если разговор переставал мне нравиться, я мог просто молча уйти и никого этим не оскорбить.

Не устраивало меня, пожалуй, лишь то, что в ходе примерно каждого третьего сеанса кто-нибудь – либо сам «работающий», либо доброволец, играющий его в бытность ребенком – обязательно сворачивался на ковре в позе эмбриона. «Работающий» обыкновенно либо извинялся перед маленьким собой, либо давал ему те или иные обещания. Некоторые играли себя маленьких в колыбельке, а вокруг стояли другие участники сеанса, игравшие семью ребенка. Уж не знаю, как все остальные относились ко взрослому человеку, играющему на сцене младенца, но лично меня это несколько отталкивало и сбивало с толку.

У посещения семейных терапевтических сеансов в бытность подростком оказалось множество неожиданных побочных эффектов. К примеру, после этих сеансов я долго тщился заставить себя смотреть на окружающих как-то иначе, нежели чем на сосуды скрытой боли и страхов. Я думал о том, как выглядел бы наш мир, если бы боль светилась, если бы на первый взгляд можно было точно понять, страдает ли стоящий перед тобой человек и насколько именно. Одни напоминали бы восковые свечи, а другие – целые доменные печи. На иных, наверное, вообще было бы физически больно смотреть.

Домой из лагеря я вернулся с целым арсеналом новых манипуляционных схем, защитных механизмов, методов принятия и целых категорий искаженного мышления и заблуждений. Бесконечные лагерные рассказы о насильниках, нарциссах и провокаторах прилично пополнили мою энциклопедию лжи. Чем дальше, тем труднее становилось меня одурачить.

Правда или действие

Естественно, когда я вернулся в школу, все вокруг стали казаться мне еще более ненастоящими и внутренне несвободными, чем прежде. Помню, как-то раз я стоял неподалеку от площадки, на которой играли школьные музыкальные группы, и от нечего делать что-то втирал курившему рядом товарищу на тему того, что на самом деле происходило вокруг. Кивнув на стоявшего неподалеку привлекательного парня, я изрек:

– Взгляни вон на того парня. Только представь себе, сколько всего он скрывает! Подробности о своей семье, настоящее мнение о друзьях и девушках, с которыми он встречается... И мы никогда всего этого не узнаем, и никто не узнает. С ума сойти, да? Он столько всего никогда и никому не расскажет!

Несмотря на все мое презрение ко всем в школе, меня все же занимали мои товарищи по драмкружку. Многие из них были весьма харизматичны и талантливы, кто-то классно креативил на ходу, а кто-то превосходно танцевал. Меня тянуло к артистичным людям, поскольку они часто оказывались более честными в отношении собственных эмоций, словно их сценическое самовыражение склоняло их к открытости и в остальных аспектах жизни. Так или иначе, мое восхищение ребятами из драмкружка редко оказывалось взаимным. Чаще всего мне удавалось находить пару-тройку товарищей, которым все же нравилось проводить со мной время и которые искренне не понимали почти поголовной антипатии по отношению ко мне со стороны окружающих. Но даже эти люди в итоге все равно начинали отмечать ненависть, которую вызывало у многих упоминание одного моего имени, и общее чувство дискомфорта, сопровождавшее меня, куда бы я ни направил свои стопы. Один актер, который мне, между прочим, очень нравился, обычно сверлил меня настолько свирепым взглядом, что я просто старался не пересекаться с ним в одном помещении. Товарищ, познакомивший нас, как-то передал мне его слова: «Кое в чем надо все же отдать Майклу Левитону должное – он знает, что бесит меня, но никогда не устраивает по этому поводу сцен. В жизни не встречал никого, кто так же спокойно воспринимал бы мою неприязнь!»

– О, он заметил – как мило с его стороны! – без тени сарказма ответил польщенный я.

Как-то раз наш драмкружок отправился в поход. В первый же вечер я оказался в одной освещенной фонариками палатке со всеми товарищами, к которым питал наиболее теплые чувства. Мы стали играть в «правду или действие». Сам я никогда прежде не играл в эту игру, но был о ней наслышан и буквально сгорал от нетерпения – мне эта игра должна была подойти идеально и создать ситуацию, в которой все обязаны были честно отвечать на абсолютно любые вопросы. Драмкружковцев непросто было удивить, так что действия на кону были настолько унижительные, что выбирать их вместо правды было себе дороже. Это было для меня весьма удобно – я-то вовсе не рассчитывал на действия. О, напротив – я даже в какой-то момент влез с предложением и вовсе опустить часть с действиями и играть просто в правду.

– Может, поймете, наконец, что говорить правду весело, и станете так делать в обычной жизни, – добавил я. Ответом мне была тишина.

Вскоре пришел мой черед задавать вопрос, причем не кому-нибудь, а самому отъявленному ловеласу в кружке. Я стал прикидывать, что бы мне хотелось о нем узнать. Сначала я хотел спросить, способен ли он, по его мнению, быть самим собой на свиданиях с девушками, но передумал – я и так знал ответ. А вот чего я не знал, так это того, сколько предмет обожания всей женской половины школы на деле занимался сексом. Мне важно было не столь число, сколь его собственные чувства на этот счет – мне хотелось, чтобы он поделился с нами чем-то личным. Итак, я спросил его, со сколькими девушками у него был секс, с какой из них ему больше всего понравилось и почему.

Палатка буквально взорвалась возражениями на тему того, что о таком спрашивать нельзя.

– Так ведь правда или действие, – фыркнул я. – Вся ведь соль как раз в том, что отвечать нужно на любой вопрос!

Собравшиеся упорно продолжали требовать изменения вопроса.

– Да что не так-то с моим вопросом? – поражался я. – И вообще, с каких таких пор в «правде или действии» есть запретные темы?^[46]

Тут сам сердцеед отмахнулся от протестующих и сказал, что все нормально. Показушно задумавшись, он насчитал двадцать девушек. Трудно было сказать, говорит он правду или все же привирает в ту или

в другую сторону. Больше всего ему, по его словам, нравился секс с его нынешней девушкой – ожидаемые, в общем-то, слова.

– Потому что... – призадумался он, отвечая на последнюю часть вопроса. – Она умная. И веселая.

Я прыснул и безмерно удивился тому, что никто не поддержал мой смех над такой явной жалкой и бессмысленной попыткой уйти от ответа.

– Да ладно! – воскликнул я. – Это не ответ! Ты серьезно не можешь сказать, почему тебе нравится секс с твоей девушкой? Ты даже в «правде или действии» шифруешься!

На меня снова принялись орать, голося наперебой, что-де он и так снизошел до ответа на такой плохой вопрос и что пора забыть и забить. Однако напряжение в палатке так никуда и не делось даже после того, как ход ушел от меня дальше по кругу – все понимали, что я в любой момент могу задать любому из них какой-нибудь каверзный вопрос интимного характера или поймать кого-нибудь на лжи. В какой-то момент кто-то задал вопрос уже мне. Честно сказать, не помню его содержания, помню лишь то, что он был неинтересным.

– Ты же все, что угодно, спросить у меня можешь! – дивился я. – Ты правда больше всего хочешь узнать о такой ерунде?!

Потом снова пришел мой черед задавать вопрос какой-то девушке, которую я впервые встретил в этом походе и с которой успел перекинуться буквально лишь парой слов. Безо всяких подтекстов и задних мыслей я задал ей вопрос, который в принципе желал задать всем присутствующим:

– Есть ли у тебя какие-нибудь сексуальные фантазии, и если да, то какие?

Палатка снова взорвалась криками, причем на сей раз особенно истоно.

– Да что с тобой не так-то?! – выкрикнула одна из подружек девушки. – Извращенец!

– Спроси о чем-нибудь другом! – сказала другая подружка.

– Ладно, – горько согласился я. – А как прикажете мне понимать, какие вопросы можно задавать, а какие – нет?

– А самому не ясно? – ответила она. – Ты же не потребуешь ни от кого в качестве действия пырнуть себя ножом в глаз, так ведь?

– Ага, то есть в нашем обществе сексуальность табуирована настолько, что рассказ о своих сексуальных фантазиях вы приравниваете к высаживанию себе глаза?!

В палатке повисла мертвая тишина.

– Что ж у вас за фантазии-то такие? О чем-то прямо очень мерзком и аморальном или как?

Попререкавшись еще пару минут, я все же сдал назад:

– Ладно, ладно, все, уговорили – больше никаких вопросов о сексе. Давай так: назови три своих самых мощных комплекса.

Этот вопрос собравшихся тоже не устроил.

– Ты ужасный! – крикнул кто-то.

– Нет у меня никаких комплексов! – рявкнула девушка, которой был адресован вопрос.

Я рассмеялся:

– Да ладно тебе. У всех они есть! Ты серьезно хочешь, чтобы все поверили, будто у тебя нет вообще никаких комплексов?

– Выпендрожник! – крикнул кто-то из собравшихся.

– Задолбал со своими вопросами, – добавил кто-то.

С одной стороны, меня это все порядком забавляло, но с другой мне расхотелось играть дальше, поэтому я встал и собрался на выход. Пришлось перелезть через товарищей, так что шуму получилось много, и мне вслед понеслись обвинения в том, что я-де отношусь к игре слишком серьезно и что по-детски сбегая. Добравшись наконец до входа в палатку и расстегнув его, я добил игроков последним козырем:

– Вам, ребят, впору бы переименовать игру в «сокрытие своих чувств или действие».

Майкл Левитон лжет

Поехав следующим летом в семейный лагерь, я стал свидетелем «работы» Аманды. Я с ней до этого лишь раз пересекался лично в очереди на обед, но уже знал, насколько она раздражала всех обитателей лагеря своими истериками на «замерах температуры» по поводу каких-то пустяков, на которые никто кроме нее просто не обращал внимания. Если уж она не способна была держать себя в руках в лагере, страшно было даже представить, как она вела себя в обычной жизни.

Вызвавшись на «работу», она проковыляла к ковру так, словно на ней была не одежда, а тяжелый ржавый доспех. Встав перед доской, она напряженно оглядела собравшихся.

– Мне страшно, – сказала она. Сидевшие в креслах обитатели лагеря потупили взгляды, чтобы избежать зрительного контакта.

– Все эти люди поддерживают тебя, они не станут тебя осуждать, – попытался успокоить ее Макс. Напрасно, в общем-то – Аманда никому из присутствовавших не нравилась и ее явно очень даже собирались осуждать. – Ну что, – продолжил Макс, – как сегодня себя чувствуешь?

– Мне одиноко. Очень. Я много с кем встречаюсь, но отношения никак не складываются. Все-таки все мужики – козлы. Я не собираюсь держать язык за зубами и делать вид, что у меня нет чувств.

– Я так понимаю, – сказал Макс, – ты хочешь сказать, что мужчинам не нравится, когда ты показываешь им свои чувства?

– Ну вот, к примеру, у меня герпес, – начала Аманда. Собравшиеся дернулись, но быстро взяли себя в руки и сделали вид, что их это заявление ничуть не смутило. – У нас было третье свидание с одним парнем, который мне очень нравился. Дело шло к постели, ну и я ему сказала. Он от меня отдернулся с выражением абсолютного отвращения на лице. Он бросил меня за то, что я поступила правильно!

– Не хочешь попросить кого-нибудь побыть твоей поддержкой? – предложил Макс.

Аманда оглядела присутствующих влажными глазами и остановилась на Дон – та была школьным чирлидером сорок лет назад, а потому ее часто выбирали на роль поддержки. Она вышла к Аманде.

– Как ей встать? – спросил Макс.

– Сзади меня, – ответила Аманда. – И пускай обнимет меня за талию.

Дон покорно обняла Аманду сзади.

– Так, – сказал Макс. – А теперь попроси кого-нибудь побыть мужчиной, который тебе нравится.

– Что, правда? – Аманда рассмеялась. – Что ж, будет весело! Кого угодно могу выбрать же, да?

Она обвела взглядом собравшихся мужчин, хихикая и облизывая губы в притворном вожделении.

– Ну бли-и-и-ин, Джека нет! – вздохнула она. Имелся в виду местный Адонис, предпочитавший вместо посещения сеансов качаться топлесс на виду у обедавших за столами. Затем взгляд Аманды остановился на мне. – Майкл Левитон?

Мне всегда по непонятным причинам хотелось, чтобы кто-нибудь выбрал меня, если только речь не шла о роли прокси-младенца. Глупо, я знаю, но так уж вышло. Я был искренне тронут тем, что Аманда выбрала именно меня на роль привлекательного мужчины, роль, которую я ни разу не играл ни на терапии, ни, собственно, в реальной жизни^[47].

– Майкл, ты как, согласен? – спросил Макс.

– Конечно, – ответил я.

Оказавшись на «сцене» всего в паре футов от Аманды, я смог поближе увидеть слезы, катившиеся зигзагами по морщинкам на ее лице и опускавшиеся к губам. С моего места казалось, что у нее разные глаза – один был словно янтарный, а другой, отражавший меньше света – темно-карий.

– Что происходит сейчас у тебя внутри? – осведомился Макс.

Аманда едва способна была говорить.

– Я заглянула в его глаза и подумала: «Я его хочу! Хочу себе! Что мне мешает? Я знаю себе цену. Я этого заслуживаю!»

– Ты этого заслуживаешь! Ты знаешь себе цену! – подхватила Дон из-за ее спины.

– Да! – продолжила Аманда. – Заслуживаю! Я это знаю.

– Ты заслуживаешь такого мужчину, – тянула Дон. Собравшиеся потихоньку начали скандировать то же самое.

В переднем ряду я заметил рисовавшую Аманду маму. Она вообще часто зарисовывала сеансы. В тот раз она рисовала карикатуру: размахивая руками Аманда кричала:

– Я знаю себе цену!

Все вокруг нараспев хором утверждали, что Аманда заслуживает любви, а Дон в какой-то момент даже стала импровизировать:

– Ты прекрасна такой, какая ты есть! Ты сильная! Ты права!

У Аманды подкосились ноги и Дон подхватила ее, поддерживая теперь не только эмоционально, но и физически.

– Так, давайте позовем еще кого-нибудь для поддержки, – сказал Макс. Несколько человек поднялись из кресел, чтобы помочь Аманде встать.

– Я хочу быть любимой! Хочу быть любимой! – взвыла та. Ее рев эхом отражался в лесу. – Мне так одино-о-о-о-о-о-око!

Еще некоторое время побившись в коконе из рук, образованном вокруг нее остальными, Аманда все же поутихла, сумела встать на ноги и вновь обратила внимание на игравшего роль ее идеального мужчины меня. Макс сказал ей, что она могла задавать мне абсолютно любые вопросы.

За последние полчаса она явно немного выдохлась.

– Как думаешь, сможет ли по-настоящему подходящий мне человек понять мой внутренний мир? – как-то даже робко спросила она меня.

Я хотел сказать ей, что ее внутренний мир не особо располагает к ней окружающих, что у меня ровно такая же ситуация и что нам таким стоит учиться быть счастливыми в одиночестве. Подбирая правильные слова, я заодно подумал о том, что надо бы сказать, что «подходящий человек» и «внутренний мир» – вещи достаточно расплывчатые и плохо поддающиеся определению. Однако лишь за мгновение до того, как открыть рот, я вспомнил о том, что играю роль на чьем-то сеансе и что от меня требуется, по сути, лишь убедительно произнести нужные слова. Как меня ни воротило от мысли о необходимости говорить нечто, что не являлось правдой, делать было нечего – все же я сам дал согласие на свое участие в сеансе. Внезапно меня начало мутить, и я даже подумал о том, не получится ли отмазаться от этой роли, сблевав у всех на виду. Не припомню, чтобы на моей памяти кого-то рвало посреди сеанса. Брови Аманды задергались – она явно заметила мое замешательство. Я не лгал еще со времен утаивания истины

о Санте от товарищей по детскому саду. Медленно и через силу я стал выдавливать из себя вторую ложь за всю свою жизнь:

– Подходящий человек наверняка захочет тебя выслушать и понять твой...

– Я ему не верю, – перебила меня Аманда, обращаясь к Макс. Мое лицо исказила нервная ухмылка. – Поглядите только на него! – воскликнула она. – Да он же смеется! Он явно лжет!

– Я так понял, – ответил Макс, – тебе не особо верится, что человек, который тебе бы понравился, захотел бы...

– Нет, – снова перебила Аманда, – я говорю конкретно о нем, – она указала на меня. – Конкретно этот человек, Майкл Левитон – он лжет.

Со стороны зрителей послышались тяжкие вздохи. Макс попытался разрядить обстановку.

– Погодите, давайте не будем спешить с выводами, – примирительно сказал он. – Давайте просто спросим самого Майкла.

Он повернулся ко мне.

– Майкл, можешь сейчас забыть о своей роли и говорить от собственного лица. Помни, что ты вовсе не обязан отвечать – у каждого есть право задавать вопросы, и у каждого же есть право не отвечать на них.

По сути, он давал мне возможность выкрутиться из ситуации. Я стоял и не мог поверить, что даже дипломированный психолог пытается склонить меня ко лжи.

Аманда глядела на меня, как солдат на вошь.

– Ладно, Майкл Левитон. Считаешь ли ты, что кто-то сможет меня ценить такой, какая я есть, и принять мой внутренний мир?

– Достаточно забавно играть эту роль – я ведь очень хорошо тебя понимаю, – ответил я. – Вот только я стараюсь жить, не опираясь на других людей. Если ты остаешься самим собой, то шанс найти кого-то, кто будет тебя ценить, статистически крайне мал – все равно что случайно найти на тротуаре сто долларов.

Аманду мой ответ явно сбил с толку.

– Но ведь ты заслуживаешь того, чтобы тебя ценили.

Тут я все же не выдержал и сорвался.

– Ты все повторяешь – заслуживаю, заслуживаю. Что это значит? Как это – заслуживать того, чтобы тебя ценили?

Вышло громче и злее, чем я рассчитывал, так что я попытался смягчить свои слова.

– Большинство людей, которые обычно нравятся окружающим, просто умеют строить хороший фасад. Если для тебя это важно, можешь поступать так же – просто подстраиваться под ожидания других. А если уж выберешь искренность и бытие самой собой – не стоит ожидать от людей одобрения.

Я все это время говорил с Амандой, попятившейся от шока. Повернувшись к зрителям, я обратил внимание на то, что многие из них всхлипывали и даже плакали, но не из жалости к Аманде, а из жалости ко мне.

– Майкл, звучит так, словно ты уверен, что не заслуживаешь любви, – произнес Макс. Я уже готов был горячо возразить, но тот быстро перестроился, осознав, что всеобщее внимание окончательно переключилось со стоявшей неподалеку со скрещенными руками Аманды на нас с ним.

– Спасибо, что поделился своими мыслями, Майкл, – быстренько подытожил Макс.

Позднее я обсудил произошедшее на этом сеансе с родителями. Дослушав, отец обнял меня и затрясся от смеха.

– Боже ты мой, вот умора! Блестящий ответ, Майкл!

– Бедная Аманда, – добавила мама. – Она ведь не понимает, насколько всех раздражает.

– Я должен был ей об этом сказать, – сказал я. – Поверить не могу, что я солгал.

Впрочем, я прекрасно понимал, что даже ярые ненавистники Аманды наверняка сказали бы мне, что сказать правду конкретно на том сеансе было бы неправильно. На деле даже семейный лагерь не мог удержать звания царства абсолютной честности.

Я написал об этом лагере в своем сочинении, когда поступал в колледж. О том, что узнал, сколько всего люди обычно прячут в себе от окружающих и о том, как бы мне хотелось уметь безошибочно видеть людей сквозь эти маски, такими, какие они есть на самом деле^[48]. Однако в колледж меня все же зачислили. Я слышал, что многие сочинения абитуриентов просто не читают.

Песенные ламентации

Первый курс я провел, раздражая окружающих точно так же, как и в школе, воспринимая каждый разговор как игру в «правду или действие» и, естественно, не ставя об этом в известность собеседника. Я задавал людям неловкие и, как правило, внезапные вопросы на личные темы. Даже если разговор располагал к таким темам, отвечать мне на них никто по понятным причинам не стремился.

Вдохновившись ностальгией по «Говорильным записям Майкла», я начал носить с собой карманный диктофон и просить знакомых дать мне «интервью». Естественно, я ожидал вопросов о том, что буду с этими интервью делать^[49]. После недолгих раздумий я решил, что стану отвечать как есть и говорить, что что диктофон, возможно, поможет людям отвечать на вопросы, на которые они не стали бы отвечать в обычном разговоре, что сделало бы наши беседы много интереснее для всех участников. К счастью, мои потенциальные собеседники таких вопросов не задавали. К моему великому удивлению. Они чаще всего просто радовались возможности сказать что-нибудь под запись. Я спрашивал людей, к примеру, о лучшем поцелуе в их жизни, а они выпускали эмоции наружу и отвечали вполне честно, не боясь показаться уязвимыми, подобно обитателям семейного лагеря. Я считал это доказательством своей теории о том, что любой человек интересен, если позволяет себе таковым быть.

Поскольку такие интервью редко затягивались надолго, у меня оставалась уйма свободного времени, которое я обыкновенно посвящал писательству и музыке. Я все еще продолжал сочинять рассказы, показывать лучшие из них отцу, получать его рецензии и выслушивать отрицательное мнение по поводу каждого из них.

В какой-то момент, когда я был еще на первом курсе, один из моих рассказов папе вроде как понравился, однако он так и не сказал мне, чем именно. Видимо, выражений, подходящих для положительных отзывов, в его словарном запасе было существенно меньше. Сам же я никак не мог взять в толк, почему этот рассказ понравился ему больше

предыдущего – они, честно говоря, мало чем принципиально отличались. Я даже задумался о том, так уж ли сильно его мнение выделяется на фоне мнений окружающих, и о том, не крылась ли причина его благосклонности всего лишь в том, что этот рассказ он сел читать в хорошем настроении.

Мы с ним даже говорили об этом потом по телефону. Я тогда напомнил ему о том, как в бытность мою еще ребенком он сам призывал меня в вопросах самооценки не отталкиваться от его мнения.

– Мне вот нравятся многие из тех рассказов, что ты забраковал, – сказал я. – Назвать этот лучшим лишь потому, что он тебе понравился, было бы лицемерием.

– Логично, – ответил отец. – Мое мнение не должно иметь никакого значения. Кому, в конце концов, вообще есть дело до моих мыслей?

Я начал учиться играть на гитаре, укулеле и фортепиано и даже писать собственные песни. Я с переменным успехом клал свои печали на музыку и брэнчал на укулеле, устроившись где-нибудь на кампусе, изливая свои песенные ламентации в уши небольших групп зрителей, состоявших, как правило, как раз из тех, кто служили причинами моих горестей. Я пел что-то в духе: «Одни чтят тайны, а мне интересно. Они любят занавес, а вовсе не пьесу». Окружающих мои песни, как правило, сместили, и они явно не понимали, что речь в песенках шла как раз о них. Возможно, все дело было в веселых и легких звуках укулеле, смягчавших жесткий текст. Даже когда я открыто начинал со вступления вроде: «А вот эта – про всех вас», они все равно смеялись, словно были убеждены, что я так шучу.

Однако теперь, помимо привычных способов, я мог утешаться музыкой, пением и написанием текстов. Доутешался до того, что как-то незаметно и случайно стал по ходу дела неплохим музыкантом.

Другая версия событий

Как-то раз, когда я был дома на летних каникулах, маме позвонили из моей школы – меня приглашали на неофициальную встречу выпускников из начальной школы. Я никогда раньше о таком не слышал. Встречу организовала у себя на заднем дворе моя бывшая одноклассница, которую я совершенно не помнил – как оказалось, вдобавок ко всем номерам, сохранившимся в ее собственном старом

ежедневнике, она обзвонила и те, что нашла в школьном списке учеников шестого класса того года. Было просто донельзя странно видеть смутно знакомые с детства повзрослевшие лица товарищей, словно нарисованные на воздушных шариках, которые потом надули посильней.

Роберта я узнал тут же – его большая голова и круглое, довольное жизнью лицо совершенно не изменились за прошедшие годы. Он сказал, что рад меня видеть, чем знатно удивил – я и не думал, что он меня вообще вспомнит. Более того, он сказал, что, узнав о встрече, надеялся, что увидит на нем именно меня. Как выяснилось, он хотел рассказать мне его версию событий, произошедших с нами много лет назад.

– Всегда рад послушать чужую версию событий! – ответил я. – Да только обычно никто со мной ею не делится.

Девятнадцатилетний Роберт с удовольствием поведал мне о том, каким странным я был в детстве. По его словам, я постоянно ныл по поводу их с ребятами игр и разговоров. Когда они начинали по очереди отпускать шуточки по поводу мам друг друга, я начинал плакать.

– Причем ты совершенно не смущался! – добавил Роберт. – Ты вел себя так, словно нам следовало преспокойно продолжать разговор, пока ты рыдаешь неподалеку! Мы не знали, что делать и обычно просто убегали!

– Да, вполне на меня похоже, – согласился я.

– А потом ты поднимал эту тему при следующей встрече и пытался нам объяснить, почему та или другая шутка задела твои чувства, и нам снова приходилось от тебя скрываться! – теперь Роберт уже мог над этим посмеяться. – Да, с тобой тяжело было дружить, – добавил он, – но мы честно пытались!

Я в ответ рассказал ему о том случае, когда он обвинил меня, что я ковыряюсь в носу – эту историю он не помнил. Когда речь с моей подачи зашла о мистере Гельмане и миссис Джонсон, стало ясно, что больше всего Роберт хотел поговорить со мной именно об этом.

Он объяснил мне, что они с друзьями жили далеко от школы и им приходилось добираться на занятия на автобусе, и что пока я спокойно выходил из дома в половине восьмого, им приходилось регулярно вставать в пять утра. Учителя невзлюбили их с первого взгляда, задолго до того, как я перевелся к ним в третий класс. Он рассказал

мне о неприятностях, которые им с Мануэлем тогда приходилось пережить дома, и как больно было им на этом фоне выслушивать обвинения в том, чего они не совершали.

– Помню, ты пытался нас защищать, – сказал Роберт. – Хоть ты и был с виду слезливым ботаником, но не боялся спорить с учителями на глазах у всего класса. Стоило им начать к нам прикапываться на людях, как ты тут же начинал рыдать и отчитывать их сквозь слезы. Это было нечто! Ты даже толком не был нам другом, но все равно защищал нас!

– Не совсем так, – вздохнул я, расстроенный необходимостью разочаровывать парня. – Если бы я узнал, что вы совершили что-то противозаконное, я бы вас сдал без раздумий.

Роберт нахмурился:

– Серьезно?

– Абсолютно. Я был предан не вам, а одной лишь истине.

Роберт покачал головой и отвернулся в смятении. Мы словно вновь вернулись в детство.

Все будет хорошо

Летом 2000-го года я вернулся домой на каникулы. То был первый мой вечер дома, а до четвертой поездки в семейный лагерь оставалась еще неделя. Я играл на пианино и вдруг услышал, как наверху громко хлопнула дверь. В нашей семье бывало всякое, но дверью не хлопал еще никто и никогда. Потом я слышал, как Мириам наорала на маму – больше никого дома не было. Через минуту на лестнице показалась мама.

– Что случилось? – спросил я.

– Э-э-э-э-э... Так, ладно, – начала мама. Я никогда еще не видел ее настолько сбитой с толку. Я интуитивно понял, что лучше присесть, и мы с мамой опустились на диван. Взяв небольшую паузу и собравшись с духом, она выпалила:

– Я ухожу от твоего отца. Мы разводимся.

– И хорошо, – сказал я без раздумий. – Вы никогда друг другу не подходили в плане мировоззрения.

Мама перевела на меня затуманенный взгляд.

– Что?

– Ты любишь людей, а папа – нет, – начал я. – Ты всегда надеешься на лучшее, хоть и тщетно, а папа заранее ждет худшего. Он любит ходить на концерты, а ты – нет. Он любит говорить об искусстве, политике и морали, а ты – о других людях. И еще тебе хочется нравиться окружающим, а папа наоборот – желает, чтобы его все оставили в покое.

Мама повесила голову, ее глаза словно опустели. Мне казалось, что я проявлял понимание и сочувствие, но ее мои слова, кажется, не особо утешили.

– Я что-то не то говорю? – спросил я. Мама покачала головой. – А как бы ты сама описала причины вашего развода?

Мама вздохнула и провела ладонью по подлокотнику.

– Я полюбила другого.

Несмотря на то, что я, строго говоря, был противником секретов, я в этот момент испытал даже некую извращенную гордость за маму – я был искренне впечатлен тем, что ей удалось завести отношения на

стороне и сохранить это в тайне. Мама крайне редко посещала какие-либо мероприятия, так что я спросил напрямую:

– А где вы с этим человеком встретились?

Мама снова замялась, вздохнула и сказала:

– В семейном лагере.

Я мог в тот момент подумать о чем угодно – о предстоявшем скандале, обо всем комизме ухода от мужа к кому-то из семейного лагеря, о чувствах, которые вроде как должны были переполнять меня в тот момент и о том, почему этого не происходило, и так далее. Но нет – вместо этого мой мозг выстроил в ряд всех мужчин из лагеря в попытке угадать, в кого из них влюбилась мама. Та, впрочем, прервала мои размышления, назвав его имя: «Джо». То, как она протянула «о», явно наслаждаясь этим звуком, однозначно выдавало ее чувства по отношению к этому человеку.

Я знал Джо, но ни разу не видел, чтобы они с мамой разговаривали. У Джо был высокий голос, но говорил он при этом медленно и путано, а его глаза казались огромными из-за очков с толстыми линзами. Образ этого едва знакомого мне человека в отношениях с мамой меня несколько насторожил.

Мама вновь глубоко вздохнула и сказала:

– У нас с твоим отцом были свободные отношения.

– Понимаю, – снова слишком быстро ответил я.

– Правда? – удивилась мама.

Несмотря на то, что у меня у самого никогда не было девушки, я, как мне казалось, действительно понимал, что такое свободные отношения, поскольку девушки, которые мне нравились, имели тенденцию спать с другими парнями.

И удивлялась мама совершенно напрасно – хоть это и был первый раз, когда она мне рассказывала про свободные отношения, я и так подозревал, что их отношения с отцом носят характер чего-то подобного – уж слишком плохо они умели хранить секреты. Они часто упоминали свободные отношения и моногамию, причем упоминали слишком уж обыденно. Мама говорила как-то, что некоторые из ее друзей и подруг по семейному лагерю состояли в свободных отношениях, а отец в бытность мою подростком периодически мне выдавал на-гора советы на тему того, как общаться с девушками, и советы эти существенно отличались от подхода, который он сам нашел

к маме в четырнадцать. Но я никогда не вдавался в расспросы, поскольку обыденность, с которой они обо всем этом говорили, заставляла такие вопросы казаться бессмысленными.

– Так жаль говорить тебе это все в отсутствие папы, – сказала мама. – Мы хотели подождать до лагеря, в котором нас поддерживали бы все остальные. А теперь уже все.

Она снова тяжело вздохнула. Я никогда прежде не видел ее такой потерянной и разбитой. Периодически она вытирала нос платком.

– Анника в лагере заподозрила, что между нами с Джо что-то есть, и разболтала все Джейн, а та пару минут назад позвонила Мириам.

– Вот это да. Как все неприятно сложилось, – посетовал я. Мне как-то не приходило в голову, что семейный лагерь способен дотянуться до нас и в обычной жизни.

– Ну вот, Мириам и спросила, правда ли это, – продолжила мама. – Я не смогла ей солгать.

Я редко проявлял свою привязанность физически, но тот момент казался весьма и весьма подходящим, чтобы обнять маму.

– Все будет хорошо, – глупо произнес я, копируя самые популярные в современной культуре слова утешения.

Мы обнялись; мама сжала меня так сильно, как не сжимала с самого детства. Тут из своей спальни прямо в пижаме выскочила Мириам, остановилась посередине лестницы и снова стала кричать на маму. Та вскочила и побежала к ней, но Мириам ее оттолкнула, убежала обратно в спальню и опять громко хлопнула дверью. Еще пару минут оттуда были слышны ее приглушенные крики. Мама пошла было следом, но остановилась на лестнице, пройдя пару ступенек. Она стояла там, я сидел на диване, и никто из нас не произнес ни слова.

Отец в это время навещал одного знакомого, который жил в Северной Калифорнии. Когда мама позвонила ему и сказала, что мы с Мириам узнали о разводе, он тут же собрался в шестичасовой обратный путь. Вскоре с какой-то поездки со своими товарищами домой вернулся Джош, и мы все вместе устроили в гостиной семейное собрание. Вокруг журнального столика, под который Джош обожал забираться в детстве и валяться на ковре, смотря в потолок сквозь

стеклянную столешницу, были расставлены стулья, а сбоку был придвинут диван. Теперь Джош был уже подростком, носил майку и осветлял волосы на концах. Первым его вопросом после рассказа родителей о разводе было: «Так, а мне где теперь жить? С тобой или с мамой?» Ему объяснили, что мама собиралась подыскать себе другое жилье, а Джош с Мириам вполне могли жить то у нее, то у отца.

– Не вопрос. Главное, чтобы и там, и там были видеоигры и кабельное, – ответил Джош.

– Джош, как ты относишься к нашему с папой расставанию? – тоном психолога спросила мама.

Тот пожал плечами.

– Это не мое дело. Не понимаю, из-за чего Мириам так злится.

– Вообще-то расстраиваться, когда твои родители разводятся – это абсолютно нормально! – сказала Мириам, сердито зыркнув на брата.

– Что ж, по крайней мере, хорошо, что мы все это обговорили прямо перед поездкой в лагерь, – вздохнув, произнес отец. – У всех будет возможность разобраться в своих чувствах как следует.

Мириам дернулась, как от удара током:

– Вы все еще собираетесь ехать в лагерь?

– А почему нет? – спросил отец.

– Да потому что все же знают, что мама уходит от тебя к кому-то из лагеря!

Мириам звучно хлопнула себя ладонью по лбу. Я никогда прежде не видел, чтобы кто-нибудь применял этот мультяшный жест в реальной жизни.

Отец безразлично пожал плечами.

– Не вижу причин скрывать произошедшее. Нам всем будет полезно проговорить все то, через что мы сейчас вынуждены проходить, и поделиться с остальными своей точкой зрения на ситуацию. Джо тоже будет там, так что послушаем и его мнение тоже.

Мириам, казалось, не верила своим ушам.

– И Джо будет?!

Мама вновь расплакалась.

– Он нужен мне. Мне нужна поддержка, мне сейчас очень тяжело.

– С ума сойти, – сказала Мириам. – Обалдеть просто.

Она даже не плакала – по ней было видно, что ее уже доконало безумие происходящего. Она повернулась ко мне, надеясь, очевидно,

что я выскажу некую более взрослую и здравую точку зрения.

Я лишь пожал плечами.

– На мой взгляд, вполне разумно^[50].

В лагерь мы ехали раздельно – нас с Джошем и Мириам вез по крутой горной дороге отец, а мама поехала вместе с Джо. Мириам почти всю дорогу плакала, а я всячески пытался ее успокоить.

– Люди расстаются, – говорил я ей. – Это абсолютно нормально, и в этом нет ничего страшного – нужно просто принять. В целом, когда пара расстается, это обычно к лучшему – гораздо хуже, когда они остаются вместе, если друг другу разонравились. Строго говоря, большинству супружеских пар по-хорошему следовало бы развестись.

Уже в лагере знакомые по очереди крепко меня обнимали, приносили свои соболезнования и заверяли меня в том, что они всегда помогут, буде мне захочется с кем-нибудь поговорить. Я всем отвечал, что я в норме, хоть и звучало это не особо убедительно, поскольку на двадцатый раз происходящее уже начало меня раздражать и в ответ я начинал рывкать. Это, естественно, ненормально – не говоря уже о том, что в глазах общественности при разводе родителей быть в норме тоже ненормально. Меня же воротило от этого стереотипа, согласно которому я просто обязан был пребывать в депрессии, и особенно печалило то, что таким предрассудкам оказались подвержены даже постояльцы семейного лагеря^[51].

Периодически мне на глаза попадалась Мириам, сидевшая где-нибудь неподалеку за одним из столов для пикника или на пенке и либо кричавшая на маму или папу, или даже на обоих сразу, либо обнимавшаяся с кем-нибудь из координаторов. Я рассудил, что лучше ее лишней раз не тревожить. Я, в общем, достаточно близко к сердцу принимал один из основных девизов лагеря: «Чувства других людей – не твое дело»^[52].

На пути из туалета обратно к столам меня подкараулил Джо.

– Привет, Майкл! – слишком радостно прогундосил он. – Как ты?

На толстых линзах его съехавших с переносицы очков скопилась грязь. Глянув на часы, словно под их стеклом была шпаргалка с заранее подготовленной речью, он спросил:

– Слушай, можно тебя на минутку?

Я знал, что мне предстоял не разговор, а сущий кошмар, но иногда меня настолько тянуло к катастрофе, что я был даже не против стать ее участником. Мы с Джо прогулялись до мостика у залива под мелодичный аккомпанемент шелеста листьев на ветру и журчания речки.

– Я просто хотел сказать, – начал Джо, – что искренне счастлив возможности стать частью твоей семьи.

– Окей, – нейтрально ответил я.

– Мне очень нравится твой отец, – продолжил Джо. – Он хороший человек. Но тебе, я думаю, лучше меня известно, насколько с ним иногда бывает сложно. Так что имей в виду, что ты всегда можешь поговорить со мной, хорошо? Я могу стать для тебя отцом.

Первым моим порывом было рассмеяться. Однако уже секунду спустя слова этого человека о том, что он хочет заменить мне отца, стали казаться уже не смешными, а жутковатыми.

– Джо, – сказал я, – ты же знаешь, что обычно, когда женщина уходит от мужа к другому, ее детям этот человек редко нравится?

– Знаю, – как-то рассеянно ответил он.

– Так что ты лучше заранее приготовься к тому, что в нашей семье тебе будут не рады, ладно?

– Ладно, – сказал он.

– Хорошо. Я, пожалуй, пойду, – подытожил я.

Я плохо понимал причины, по которым мама влюбилась в Джо – вероятно, ей нужно было отдохнуть от отцовской критичности и дотошности. Меня откровенно беспокоило то, что мама решила связать свою жизнь с кем-то настолько расслабленным, не умеющим внятно выражать свои мысли и не задающим «лишних» вопросов. Словом, с кем-то обладающим почти полным набором качеств, которые нравятся большинству людей.

На «замере температуры» мама вышла в центр амфитеатра.

– Тут некоторые обо мне сплетничали, – сказала она. – И в результате слухи дошли до моей дочери и осложнили жизнь всей нашей семье. Предлагаю всем присутствующим в следующий раз хорошенько подумать, прежде чем распускать слухи.

Тут та самая женщина, которая распустила эти слухи, встала со своего места и заявила:

– Это она обо мне. Я не стыжусь своего поступка, поскольку не вижу в нем ничего дурного. Никто из присутствующих не обязан хранить твои тайны.

Дальше пошли препирательства, переросшие в часовые дебаты на тему личного пространства и конфиденциальности, так ни к чему и не приведшие.

На «приеме» в тот день отец сказал:

– Странные дела творятся, конечно. Прошу вас всех только об одном: если хотите узнать, как я – подойдите и спросите. Я вам отвечу. И, раз уж отвечу, то, поверьте, не солгу. Никто не знает моих чувств лучше меня самого. У меня все.

Мамин «прием» оказался не в пример более эмоциональным.

– Я боюсь, что все меня теперь ненавидят! – сказала она. – И еще у меня такое чувство, будто все шепчутся обо мне у меня за спиной, а я даже не могу этого проверить.

На первое собрание мужской группы я шел с полной уверенностью в том, что значительная часть сеанса будет посвящена обсуждению папы и Джо. Заминать такую тему, чтобы не поставить кого-то в неловкое положение, здесь было не принято.

Я сидел на опушке и вместе со всеми остальными ждал начала сеанса. Одни ерзали в креслах, другие сидели напрягшись и выпрямившись, словно сделанные из дерева, кто-то отгонял комаров, а кто-то просто рассматривал землю под ногами. Мужские и женские собрания проходили одновременно – девушки комфортно располагались на живописной полянке для сеансов терапии, а мы в это время собирались на кишасей мухами и комарами опушке неподалеку от компостной кучи. Здесь было хорошо слышно хрюканье и кряканье домашних животных местного зрителя – у тех в это время словно проходило собственное собрание. Я сидел в раскладном кресле, окруженный роящейся вокруг мошкаррой.

Услышав какое-то шуршание в кустах позади, я обернулся, ожидая увидеть там какое-то дикое животное. Диким животным оказался Джо. Он стоял, втянув шею в поднятые плечи и нервно сцепив руки на животе. Остальные при виде этой картины закатили глаза.

Вскоре пришел отец, таща с собой несколько дополнительных кресел. Положив их на землю, он сел в круге напротив меня, не

выказывая ни тени волнения. Джо он то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил.

Собравшиеся стали выходить на «прием», но все заканчивали свои рассказы довольно быстро – ни один не перешел в «работу». В отличие от предыдущих лет, когда все словно спешили пролить свои слезы как можно скорее, в этот раз никто не плакал и даже не делал пауз на то, чтобы перевести дух и успокоиться. Мне подумалось, что, быть может, причиной тому было всеобщее желание поторопиться с собственными вопросами и оставить время для папы и Джо.

Когда пришла очередь отца, он сказал:

– Мужская группа всегда была моей любимой в этом лагере. На общих собраниях мне всегда приходится... очень тщательно выбирать слова. А здесь я всегда чувствовал, что могу по-настоящему дать волю своим мыслям и чувствам.

Комментарий отца на тему того, что ему приходилось выбирать слова, меня не на шутку встревожил. Я всегда полагал, что папа был склонен всегда выражать свои мысли абсолютно «в лоб». Мысли на этот счет не давали мне покоя и отвлекали от достаточно долгого «приема» папы.

– В прошлом году Джо пересказал моей жене все то, что я говорил здесь о ней. Не понимаю, чем это ее так задело, но факт есть факт – она бросила меня и ушла к Джо. Каждому понятно, что Джо в данном случае намеренно нарушил конфиденциальность этих собраний, чтобы подорвать мой брак и занять мое место, когда он распадется.

– Все было не так, – перебил Джо.

– Ты пересказывал ей наши разговоры на прошлогодних собраниях, так? – спросил папа.

– У нее было право знать, – ответил Джо. Собравшиеся недовольно зашумели, и Джо явно занервничал и спасовал. – Я не нарушал конфиденциальность! – сказал он. – Я никому ничего не рассказывал!

Окружающие в массе своей пришли в ярость, а я лишь рассмеялся – зрелище человека, неспособного от испуга отстоять свою версию событий, смешило меня донельзя.

– Ради бога, Джо, заткнись уже, а? – произнес кто-то.

Джо сложился пополам, словно его пырнули в живот чем-то острым, и взвизгнул:

– Я?! Сами вы заткнитесь!

Отец агрессивно подался вперед в своем кресле; его влажные от слез глаза налились кровью.

– Ты стоишь здесь, в единственном месте на всем гребаном белом свете, где каждый имеет право свободно высказывать свои мысли и чувства, и велишь мне заткнуться?! Ты, жалкий бесчестный забулдыга, велишь *мне* заткнуться?! Что ты мне сделаешь, пойдешь еще кому-нибудь наябедничаешь?!

Тут в перепалку влез другой мужчина.

– Как я могу говорить здесь свободно и от чистого сердца, зная, что кто-то потом может воспользоваться этим и украсть мою жену? – воскликнул он сквозь слезы.

Больше на том собрании мужской группы ничего примечательного не происходило.

На следующий день на общем собрании мама в ходе своей «работы» обвинила папу в том, что тот использовал мужскую группу, чтобы настроить меня и остальных мужчин в лагере против нее и Джо. Очевидно, Джо вновь пересказал ей все, что происходило на собрании мужской группы. В итоге она стала описывать все, что пошло не так в их с отцом браке.

– Он вечно вел себя так, словно мои чувства ничем не оправданы, как будто со мной можно вообще не считаться. И так все время. Он не уважал мои чувства, когда мы были еще подростками, не уважает и теперь. Я просила своих детей принять Джо в нашу семью, но меня не послушали. Я просила не говорить о нас в мужской группе, но меня не послушали. Какой мне еще прикажете сделать вывод, кроме как о том, что меня никто не берет в расчет?

На следующем собрании мужской группы обсуждали эту речь мамы. Ее слова по поводу их брака отец никак не комментировал; вместо этого он полностью сосредоточился на обвинениях Джо в том, что тот вновь нарушил конфиденциальность собраний.

Мне казалось тогда, что к следующему году страсти поутихнут. Я ошибался – родители и Джо все продолжали ссориться, а потому и в лагере разговоров только о том и было. Некоторые мужчины начали даже специально выходить на «приемы», чтобы сказать, как они

устали постоянно обсуждать Джо и моего отца. Впрочем, все разговоры неизменно касались почти что исключительно папы и Джо, поскольку новых тем ни у кого не находилось, как и самого желания их обсуждать – члены группы перестали друг другу доверять.

На следующий год все продолжилось в том же ключе. Уже пятнадцатилетняя Мириам проводила «работу» на общих собраниях на тему развода родителей. Женщины стали в шутку называть мужскую группу «группой импотентов». А я сидел и пытался взять в толк, каким образом семейство Левитонов ухитрилось сломать семейный лагерь.

Сделка с дьяволом

Летом 2001 года перед последним курсом в колледже я, вернувшись из лагеря, повстречал подругу девушки одного моего знакомого, и у той возникли вопросы по поводу моей одежды. У Ширы были огромные карие глаза; на окружающих она всегда смотрела тепло, а на меня неизменно с прищуром. Я завидовал ее грациозности, властности и безумной фотогеничности, причем все это получалось у нее как бы невзначай и не выглядело наиграно. Однако больше всего меня в ней, пожалуй, привлекала ее беспощадная прямота – из всех моих знакомых она одна была способна так спокойно и буднично оскорблять меня и насмехаться надо мной. Она никогда не стеснялась прямо выражать свой протест против моего общества, отказывалась от моих предложений ее подвезти, поскольку открыто не доверяла моим навыкам вождения. Как-то раз в боулинге она устроила целый спектакль в одном лице, картинно закрывая глаза перед моими бросками и утверждая, что она неспособна смотреть на мою неуклюжесть.

Конкретно на той вечеринке дело было так: мы все сидели в гостиной – друзья и знакомые, кто на диване, кто прямо на ковре. В какой-то момент я упомянул, что не нравлюсь девушкам, в ответ на что Шири тут же взорвалась:

– Да ты посмотри на себя! Кто же с тобой станет встречаться, если ты так одеваешься?

Мне стало интересно, я уцепился за эту ремарку.

– Думаешь, дело в одежде? – спросил я. – Нет, я, конечно, достаточно низкого мнения об окружающих, но даже я бы никогда не подумал, что люди могут оценивать других настолько поверхностно.

– При чем здесь поверхностность? – ответила Шири. – Тебе уже двадцать – пора бы занять хоть какое-то подобие собственного стиля. Ты одет как ребенок!

Я на тот момент все еще носил штаны цвета хаки или вельветовые брюки и мешковатые футболки. Правда, в какой-то момент все же добавил в свой гардероб пальто, которое, как мне казалось, вызывало ассоциации с нуарным кино^[53].

– Девушки, которых так сильно заботит моя одежда, не в моем вкусе.

Шира в ответ засмеялась.

– Можно подумать, у тебя богатый выбор. Тебя не смущает тот факт, что у тебя одного тут нет девушки? Что ты здесь единственный девственник?

– Есть немного, – честно ответил я. – Но мне, в принципе, и одному неплохо. Я фантазирую, музицирую, пишу рассказы.

Шира повернулась к остальным, очевидно, ища поддержки, но тем было слишком жаль меня.

– Ладно, допустим, – сказал я ей. – Допустим, что ты меня убедила и что я хочу одеваться так, чтобы нравиться девушкам. Н-да, печальная картина. Ну да ладно. Допустим, я хочу носить что-нибудь, что будет нравиться окружающим. Как мне в таком случае одеваться?

– Ну, посмотри на людей вокруг и поймешь. Скопируй с кого-нибудь те или иные элементы, – сказала она. – С актера из какого-нибудь фильма, не знаю, или хоть с члена какой-нибудь группы. Да как угодно – все лучше, чем то, как ты выглядишь сейчас.

– А давай вместе сходим по магазинам? – предложил я. – Я буду примерять, а ты будешь говорить, как лучше.

Мне подумалось, что это будет забавно, и хотелось узнать, к каким идиотским модным трендам она попытается меня склонить. Остальные одобрительно захмыкали – их, надо думать, тоже напрягал мой внешний вид, но говорить об этом вслух никто не решался. Все стали уговаривать Ширю сводить меня по магазинам, и та в конце концов сдалась.

Мы встретились в назначенное время у ее дома – она собиралась отвезти меня в магазин винтажной одежды. На моей машине она все еще отказывалась ездить. По дороге она стала мне объяснять, почему одежда не есть нечто поверхностное.

– Для всех важно, как они одеваются и как одеваются окружающие, – сказала она. – Как это может быть поверхностным, если это всех интересует?

– Шутишь? – изумился я. – Большинство людей ошибаются вообще практически во всем на свете.

– Да что ж ты выпендриваешься-то, а? – посетовала она. – Ты ведешь себя так, словно ты стоишь выше всех остальных, лучше всех

все знаешь и понимаешь, а на деле у тебя полно комплексов. Послушал бы моего совета, начал бы одеваться нормально – может, и окружающие стали бы к тебе лучше относиться.

– Но тогда стало бы ясно, что я им нравлюсь только потому, что хорошо, по их мнению, одеваюсь!

Шира в отчаянии хлопнула руками по рулю.

– Ты можешь просто радоваться тому, что кому-то нравишься? Хватит уже думать о том, чем именно!

В магазине Шира принялась копаться в рубашках, периодически выдавая мне подходящие варианты.

– Во-первых, одежда должна нормально сидеть и подходить тебе по размеру, для начала. Твои футболки на тебе развеваются, как парус. Ты что, L себе покупаешь?

– M, – ответил я.

– Ты же тощий – бери S. А то и XS.

Она вручила мне стопку узорчатых рубашек на пуговицах в стиле 60-х и 70-х, несколько пар джинсов, джинсовую куртку и еще одну рубашку из денима.

– А зачем столько джинсы? – поинтересовался я. – Хочешь, чтобы я был похож на ковбоя?

Шира засмеялась.

– Да ты вокруг-то посмотри – все же в джинсах.

Я удалился в примерочную. Все без исключения обновки казались мне слишком тесными. Натянув на себя джинсы, надев рубашку в клеточку и накинув сверху джинсовую куртку, я взглянул в зеркало и прыснул. Мне тяжело было представить, как остальных могло не воротить от того, что они одеваются так же, как и все вокруг. В этом позерском наряде я и вышел из примерочной, ожидая, что Шира меня засмеет, но вместо этого она лишь очень мило улыбнулась.

– Вау, – сказала она. – А знаешь, тебе идет, и даже больше, чем я предполагала. Ну вот, совсем другой человек!

Я перепробовал еще несколько комбинаций, и каждый раз, стоило мне выйти из примерочной в новой одежде, Шира ахала.

– Поверить не могу, – говорила она. – Я тебе жизнь спасаю, чтоб ты знал.

– Да вот чтоб я стал носить это на людях! – протестовал я. – Это же просто готовый костюм на Хэллоуин!

– Сегодня вечером будет туса, – сказала она вместо ответа, буквально сияя. – Покупай и двинем вместе – сам почувствуешь разницу.

Несмотря на всю смехотворность происходящего, я очень обрадовался ее приглашению, да и эксперимент обещал быть всяко интереснее сидения дома. Так что я купил ту рубашку, джинсы и куртку и отправился с Широю на вечеринку.

Там оказалось много знакомых мне людей – некоторых я смутно помнил еще со школьных времен, а других просто видел мельком на улице. Стоило мне войти, как ко мне тут же подбежала одна знакомая девушка с широкой улыбкой на лице.

– Майкл! Шикарно выглядишь! Никогда не видела тебя таким.

– Ты и не могла, – ответил я. – Я экспериментирую – это все выбирала Шири. Говорит, если стану одеваться по-другому, то начну нравиться людям.

– Это верно! – подтвердила девушка. Ей-то, конечно, казалась, что меня это приободрит.

В тот вечер буквально каждый, к кому я приближался, словно бы считал своим долгом сказать, что я классно выгляжу. Со мной с удовольствием знакомились друзья моих друзей. Знакомые, которые обыкновенно старались избегать меня на публике, с готовностью здоровались со мной. Даже когда я был один, со мной охотно встречались взглядом. Словом, разницу я и впрямь почувствовал – она была поистине колоссальна. Нет, я знал, конечно, что большинство людей легко одурачить, но происходящее окончательно и бесповоротно рушило жалкие остатки моей веры в человечество.

Все, с кем я заговаривал, советовали мне начать всегда так одеваться, и я решил попробовать. Я накупил футболок поменьше размером, новых штанов и джинсов и тех самых винтажных рубашек на пуговицах. Впервые узрев меня в узких джинсах, отец сказал:

– Ты выглядишь... как-то странно.

– Да знаю, – ответил я. – Меня одна девушка убедила попробовать так одеться и внезапно я всем стал больше нравиться. Такое ощущение, как будто я ношу какой-то театральный костюм. До сих пор поверить не могу, что это работает. Но, думаю, все же буду периодически так одеваться. Впервые я сделал что-то, что понравилось окружающим.

Папа задумчиво почесал бороду.

– Звучит как-то не очень правильно, – изрек, наконец, он. – А вдруг ты встретишь кого-то, способного оценить по достоинству тебя настоящего, а этот человек увидит эту одежду и спишет тебя со счетов, потому что сочтет, что ты гонишься за модой? Вот представь, что ты бы встретил самого себя, одетого так, как ты сейчас. Что бы ты подумал?

– Что я выгляжу как шут гороховый, – честно ответил я. – И что похож на ковбоя.

– Плохо, – прокомментировал отец.

– Но что, если только мы с тобой одни так думаем? – спросил я.

– А какая тебе разница? – ответил папа. – Кому же хочется общаться с поверхностными конъюнктурными идиотами?

Достойного ответа на это у меня не нашлось. Но одеваться по-новому я все-таки продолжил. Вернувшись в колледж осенью, я наблюдал тот же самый эффект – все наперебой стали говорить мне, насколько лучше я стал выглядеть.

– Раз столько людей так считают, значит, наверное, доля истины в этом есть, – ответил я одной высказавшейся на эту тему знакомой. – Не знаю. Странный, конечно, выбор стоит передо мной.

– В смысле, как одеваться? – уточнила она.

– В смысле, гнаться за одобрением дураков или обречь себя на одиночество.

В один из своих визитов в магазин винтажной одежды я решил купить вещи в стиле, который мне и правда нравился – насмотревшись нуарных фильмов и наслушавшись джаза, я решил попробовать носить костюм. Обойдя местные комиссионки неподалеку от колледжа, я все же разжился парой ветхих костюмных пар, неплохо сидевшим на мне пальто, а также парой белых рубашек и узких черных галстуков. Вписаться в окружение в таком наряде было сложно, но зато я снова чувствовал себя самим собой, что не могло не радовать.

Примерно так я и выглядел на вручении дипломов, в таком же виде съездил в тот год в семейный лагерь, а потом отправился в Нью-Йорк, куда собирался перебраться жить.

Я слышал, что в Нью-Йорке регулярно проходит много концертов и что там вполне можно устроиться в какое-нибудь издательство. Паратройка знакомых по колледжу либо тоже намеревались переехать в

город Большого Яблока, либо уже жили там, так что мне было, где перекантоваться, пока не найду работу и собственное жилье. Мне нравились старые дома и неповторимый хаотичный шарм этого города. В то время как Лос-Анджелес был общеизвестно гомогенным и невыразительным городом, Нью-Йорк славился своей прямоотой и эксцентричностью. Чего еще можно было желать?

И все же мои собственные перспективы меня не радовали. Обыкновенно с возрастом люди начинают лгать все больше и больше, причем по все менее и менее стоящим того поводам. Согласно моим наблюдениям, взрослая жизнь сулила потребность в компромиссах вместо прямых путей решения проблем, в телепатии вместо прямооты и в конформизме в ущерб собственной уникальности. Вне всяких сомнений, мои отличительные черты, так нравившиеся мне самому, с возрастом стали бы все больше отпугивать окружающих.

В отличие от большинства молодых людей, отправляющихся в Нью-Йорк в погоню за своей мечтой, я приехал в него готовый к ненависти и презрению других.

Часть вторая

Честный труд

Глава 5

Открытый микрофон

На второй день моего пребывания в Нью-Йорке сосед по комнате временно приютившего меня товарища предложил мне сходить на ночь открытого микрофона в Ист-Виллидж со своим укулеле. Надо сказать, я раньше никогда не бывал на открытых микрофонах. Я видел такие мероприятия только в фильмах, причем в основном они показывались в негативном свете, так что ожидания у меня были достаточно низкие.

Клуб оказался душной и тесной заплыванной забегаловкой с темными столами, с которых нещадно облезала краска, и висевшей над сценой дешевой неоновой вывеской с названием заведения. Пока я сидел и ждал начала открытого микрофона, я обратил внимание на обжимавшуюся в углу парочку. На девушке была черная юбка, белая рубашка на пуговицах и узкий черный галстук. Коричневый пиджак парня мне понравился гораздо больше. У него были потрясающе длинные рыжевато-белокурые кудри, а подбородок с аккуратной ямочкой был словно вылеплен рукой мастера эпохи Ренессанса. Рядом с парочкой стояли прислоненные к стене футляры с гитарами. Словом, Нью-Йорк как он есть. Мне отчаянно захотелось оказаться на месте этого парня, выглядеть, как он, и ловить такие же взгляды от этой девушки. Да, я давно уже смирился с тем, что все это не про мою честь, что это не более чем награды общества своим членам за лживость, однако наблюдать за такими вещами со стороны мне все же нравилось. В конце концов, можно ведь наслаждаться какой-нибудь, скажем, картиной, и вовсе не обязательно ее для этого покупать.

Открывал вечер угрюмый ботаник значительно постарше меня (страшно было даже подумать, что так однажды буду выглядеть я), сыгравший несколько композиций собственного сочинения. За последовавшие сорок пять минут на сцене успели мелькнуть почти все характерные типажи Ист-Виллиджа: едва умеющий играть подросток, неотесанный пожилой рокер, поэт под галлюциногенами, скверный рэпер и жадный до славы поп-дуэт, но даже самые низкопробные

выступления мне почему-то скорее нравились. А стоило заскучать, я принимался следить за той парочкой в углу.

Примерно через час после начала открытого микрофона на сцену вышел еврейского вида паренек моего возраста с растрепанными волосами и спел под гитару шикарным низким вибрато песню, которая понравилась мне настолько, что я не мог поверить, что нахожусь в одном помещении с ее автором. Перед уходом со сцены он упомянул, что через пару дней у него в этом самом клубе будет концерт. Я записал его имя на салфетке, чтобы потом разузнать про него побольше и снова прийти его послушать. Еще несколько бездарных выступлений спустя на сцену вышла женщина с завитушками, на которые у нее явно ушел не один час, села за фортепиано и сыграла собственную джазовую мелодию, звучащую ничуть не хуже бессмертной классики. Так и прошел этот открытый микрофон: некоторое количество фигни – что-то одно стоящее – снова фигня – опять нечто любопытное, и так далее. Я чувствовал себя так, словно попал на какую-то невиданную разновидность Вудстока^[54], только проходившую в непосредственной близости от меня в обшарпанном зале, в котором бездарности периодически перемежались гениями. Количество имен на моей несчастной салфетке росло.

В какой-то момент я заметил, что практически все понравившиеся мне исполнители кучковались в одну группу и что любой мог просто подойти к ним и подписаться на электронную рассылку, попросить флаер предстоящего концерта или даже купить демо-CD с их записями. Я представился всем, кто мне понравился, выразил свое восхищение и несколько раз даже особенно отмечал определенные строчки в словах или куски мелодий. Обычно люди стремились сбежать от моих комплиментов куда подальше, но этим музыкантам было, напротив, любопытно. В ответ на мое признание, что я только второй день в Нью-Йорке, они говорили что-то в духе «Ты попал в правильную тусовку!» или «Готовься, будет весело».

Около полуночи на сцену вышла та самая парочка из угла. Они играли и пели фолк какими-то совершенно неподходящими к их внешности голосами – парень гундосил, а девушка похрипывала. Причем она намеренно пела в самой высокой октаве, на которую была способна, чтобы голос ломался. Они настолько круто играли на своих

недостатках, что даже «большинство людей», по моему мнению, не могло не оценить.

Мой черед пришел ближе к трем утра, когда большая часть зрителей уже разошлась по домам. Я отыграл две свои песни; ведущему они понравились, и он даже пригласил меня как-нибудь провести у них концерт. Перед уходом я нашел всех людей со своей салфетки в расписании клуба и переписал даты их выступлений в карманный календарик. Никогда еще в нем не было отмечено столько событий.

Стандартные вопросы

Первые дни моего пребывания в Нью-Йорке в целом прошли под флагом высокой влажности и витания в облаках. Кондиционера в квартире моего товарища по колледжу не было. В один из этих дней я отправился на свое первое собеседование – на должность ассистента в агентстве эстрадных мероприятий. Я спустился по лестнице с четвертого этажа, некоторое время потолкался в метро, а потом прошел пешком несколько достаточно грязных и вонючих кварталов. По дороге я с дрожью думал о том, что будет, если я не смогу устроиться на работу – вполне могло оказаться, что меня вообще никто не станет нанимать. Я пытался всячески отвлечься от этих неприятных мыслей, сначала красотой Флэтайрона, а затем поездкой на лифте на умопомрачительную высоту. Однако мне было тошно от мерзкой уверенности в том, что здесь меня отвергнут точно так же, как всегда и везде в моей жизни, и вдобавок от осознания того, что я заметно вспотел.

Собеседование со мной проводила женщина из кадрового отдела с по-армейски коротко подстриженными светлыми, местами почти серебристыми, волосами. На вид ей было около сорока. Очки в круглой оправе подчеркивали округлое лицо и контрастировали с острыми вертикальными линиями на ее пиджаке. Улыбалась она, поднимая лишь левый уголок рта – этаким эквивалент приподнятой брови в мире улыбок. Фраза «human resources» произвела на меня эффект вылитого на голову ведра ледяной воды – эти люди открытым текстом признавались в том, что относятся к людям лишь как к шестеренкам в огромной капиталистической машине. Впрочем, сложно было представить, что конкретно эта элегантная женщина сама

воспринимает живых людей как сухой ресурс. Мне подумалось, что этому агентству стоило бы переименовать свой кадровый отдел и назвать его как-нибудь поизобретательнее.

– Итак, – произнесла она, откинувшись в кресле и, как мне показалось, преодолев желание закинуть ноги на стол. – Что у нас здесь?

Я плохо представлял себе профессиональный корпоративный этикет, но я явно чувствовал, что конкретно эта женщина по той или иной причине его не соблюдала, и мне это нравилось.

– Это мое первое настоящее собеседование, – признался я.

Ее лоб пошел складочками; она кривовато улыбнулась мне, видимо, пытаясь понять, прикидываюсь я или говорю серьезно.

– Ой, да не переживайте, – сказала она, беспечно помахав рукой, чем ловко сгладила ситуацию вне зависимости от того, шутил я или нет. Однако, несмотря на всю ее социальную грацию, я явственно видел, что мои слова о том, что это мое первое собеседование, ощутило сбили ее с толку.

Она начала задавать вопросы сухим и безжизненным голосом: почему я решил добиваться должности именно здесь, почему вообще выбрал эту сферу деятельности и так далее. В какой-то момент после череды вопросов, которые она явно задавала не раз и не два на дню и совершенно точно не любила задавать, она взяла небольшую паузу. Улучив момент, я произнес:

– Было бы гораздо лучше, если бы можно было самостоятельно выбирать вопросы.

Женщина тут же вскинулась.

– Держу пари, у нас вышел бы отличный и увлекательный разговор, если бы вы имели право сами выбирать, о чем меня спрашивать, – пояснил я. Она засмеялась, чем несколько меня приободрила. – Наверняка ведь большинство людей отвечает примерно одинаково? – поинтересовался я.

– Ага, – ответила она, посмеиваясь.

– Я бы на вашем месте точно не выдержал, – признался я. – Это же словно пытка капающей водой, только вместо воды у вас ответы на эти вопросы.

Ей, кажется, понравились мои слова.

– Иногда становится скучно, да, – ответила она, улыбнувшись и пожав плечами.

– А есть что-нибудь такое, о чем вы хотели бы спрашивать соискателей, но не спрашиваете? Что-то, что интересно было бы узнать лично вам?

Она снова ухмыльнулась и подперла лоб пальцем.

– Надо будет подумать, – сказала она со вздохом. Затем она опустила взгляд на стол, словно читая с невидимой бумажки. – Итак, как вы видите себя через десять лет?

С учетом того, как живо мы только что разговаривали, я подумал, что она шутит, и прыснул. Но она тут же явно рассердилась, решив, что я смеюсь над ней.

– Простите, – сказал я. – Я не ожидал, что вы так сразу вернетесь к вопросам, которые вас заставляют задавать.

Она выпрямилась в кресле.

– Никто меня не заставляет – это стандартные вопросы ^[55].

Она повторила свой вопрос, и я честно ответил, что не могу сказать, что со мной будет через десять лет, поскольку жизнь вообще плохо предсказуема. Ее этот ответ, кажется, удивил. Она перешла к следующему вопросу, а я страдал, наблюдая за тем, как она безрадостно выполняет свои служебные обязанности. И тут вдруг она задала мне один из моих любимых вопросов:

– В чем заключается ваш самый серьезный недостаток?

Лично мне всегда хотелось задать этот вопрос всем, кого я знаю, да и другим тоже. Он располагал к рефлексии и искренности и давал мне шанс показать свою честность.

Я вспомнил, как в детстве папа рассказывал мне о своем подходе к найму сотрудников. На собеседованиях отец всегда просил соискателя написать небольшое эссе с обязательным использованием десяти определенных слов. Подвох заключался в том, что три из них были вымышленными и не имели никакого значения. Тем, кто честно признавался, что не знает этих слов, он отдавал предпочтение перед теми, кто пытался использовать их в тексте.

– Имеются в виду мои недостатки по мнению окружающих или по моему собственному? – уточнил я. – Просто дело в том, что, если вы попросите кого-нибудь другого перечислить мои недостатки, в этот список попадут качества, которыми я больше всего горжусь.

Женщина из отдела кадров снова выпрямилась, явно заинтересовавшись.

– Большая часть людей сказала бы вам, что я имею свойство осуждать абсолютно нормальное, общепринятое поведение, что я слишком много думаю, что я конфликтую с людьми без всякого повода и постоянно устраиваю сцены...

В уголках ее глаз появились морщинки, которые я интерпретировал как признак одобрения моей искренности и продолжил.

– Что до меня, то я считаю своим самым серьезным недостатком нетерпимость к трусости, аморальности и слабости окружающих. В конце концов, – добавил я, – все мы являемся продуктом своего воспитания и наследственности, так что моя ненависть к людям, вызванная унаследованными ими качествами, абсолютно иррациональна.

Женщина из отдела кадров помотала головой, пытаясь не рассмеяться.

– Прошу прощения, – произнесла она. – Я просто... – она опустила ладони на стол и перевела дух. – Мне не хочется заставлять вас продолжать. Когда человека спрашивают о самом серьезном его недостатке, от него редко ждут полного списка его дурных качеств. Я сначала решила, что вы шутите.

– Это распространенное заблуждение, – ответил я. – Я редко шучу.

Она взглянула на меня с явной жалостью.

– Вам стоило бы сказать о себе что-то хорошее, что только кажется недостатком, например, что вы трудоголик, или еще что-то в этом роде.

– Но зачем тогда спрашивать, если единственный приемлемый ответ является ложью?

Мне правда был интересен ее метод, но это «зачем» из моих уст хлестнуло, словно плеть, способная пустить бегом целый табун лошадей или усмирить стаю львов.

– Ну, вот такой вот предполагается ответ, – сказала она.

Вытащив из кармана платок и протерев очки, я продолжил:

– Но что вы пытаетесь выяснить при помощи таких вопросов? Мою способность убедительно говорить общепринятые вещи?^[56]

Женщина смягчилась, явно испытывая ко мне жалость.

– Не важно, что вы отвечаете, – сказала она. – Я пытаюсь вам помочь, правда. Точно такие же вопросы задает большинство

кадровиков. Будете отвечать так, как сейчас – никто не возьмет вас на работу.

Тут мне пришло в голову, что именно этот разговор, вполне возможно, был проверкой, признанной определить мою уверенность в себе и способность стоять на своем^[57].

– Я верю, что некоторые работодатели все же ценят искренность своих потенциальных сотрудников, – сказал я. – Впрочем, вполне возможно, вы правы, и меня действительно никуда не возьмут. В таком случае мне придется подыскать себе другой способ зарабатывать на жизнь, который подойдет мне лучше.

Женщина из отдела кадров заметно погрузтела.

– Что ж, ладно, – сдалась она. Поднявшись со своего места, она вымученно широко улыбнулась, и протянула мне руку. – Через пару дней мы дадим вам знать о нашем решении, – произнесла она, уже прекрасно зная это самое решение. – Приятно было познакомиться, – добавила она на прощание, испытывая явное облегчение от того, что больше никогда меня не увидит.

Ненастоящий рог настоящего единорога

Все мои собеседования кончались одинаково: я честно отвечал на вопросы кадровиков, а те расценивали мои ответы как шутку, грубость или же просто глупость, а то и вовсе как бред сумасшедшего. Агентства по временному трудоустройству считали меня полоумным, когда я открыто признавал, что не обладаю ни одним из навыков из их списков.

В период активного поиска работы я проводил большую часть вечеров в том клубе. Я успел подружиться с большей частью понравившихся мне музыкантов и старался проводить с ними побольше времени, часто целые ночи напролет. Им не нужно было рано вставать, поскольку большинство из них либо жили у родителей, либо перебивались по койкам у знакомых и работали в кафе, книжных или магазинах одежды; один даже трудился грузчиком в службе транспортировки объектов искусства, а другой занимался проектированием окон в магазинах. Все мои знакомые по колледжу разбрелись по офисам. На мои печальные рассказы о бесплодном поиске работы они отвечали: «Ты что, правда собирался устроиться чьим-то ассистентом? Звучит так себе».

Спустя несколько месяцев после переезда в Нью-Йорк меня пригласили на очередное собеседование – на сей раз на должность помощника литературного агента. Чарли казался ровесником моего отца, носил пошитый на заказ костюм и очки в черепаховой оправе и говорил мелодично в стиле «Крысиной стаи»^[58] и с использованием уже вышедшего из обихода сленга. Он мне сразу понравился своей нахальной улыбкой и общей расслабленностью. Чарли имел привычку горячо жестикулировать, размахивая руками и периодически промакивая лоб и лысую макушку платком. Собеседование проходило в его пижонском кабинете, обставленном в стиле пятидесятых. Вопросы он задавал исключительно те, на которые сам желал знать ответ. Я показал ему литературный журнал, который выпускал в колледже. Изучив его, он справился о подробностях моего общения с писателями и о том, чем я руководствовался, выбирая обложку. Потом он спросил, как долго я уже живу в Нью-Йорке, и попросил описать свои впечатления от города. Я рассказал ему об открытом микрофоне и

о том, что здесь меня впервые начали признавать люди, которые мне нравятся. Мой рассказ о случайных встречах с талантливыми исполнителями напомнили ему историю его собственного становления агентом. Несколько десятилетий тому Чарли посоветовал одному своему знакомому поэту, писавшему тогда исключительно «в стол», послать стихи в пару-тройку издательств. В итоге этот его знакомый стал самым популярным в наше время поэтом в США. Я, впрочем, сразу честно признался, что не слышал о таком поэте, и Чарли рассмеялся. Он сказал мне, что по-настоящему хорошим профессионалом агента делает способность подмечать истинную красоту и талант. Я в ответ сказал, что удивлен тем, что такое огромное количество людей попадают под влияние других и перенимают их точку зрения, боясь доверять собственным наблюдениям. Я даже привел в пример мой любимый отрывок из уже экранизированной на тот момент детской книжки под названием «Последний единорог».

– Для большинства людей рог единорога невидим, – сказал я, – лишь те, кто предрасположен к магии, способны отличить единорога от обычной лошади. Однажды ведьма увидела единорога, поймала его и заперла в клетке в переездном зоопарке. Но посетители не владели магией и видели в единороге лишь лошадь. Тогда ведьма прицепила единорогу ненастоящий рог рядом с его собственным, и все люди были в восторге и дивились рогу, который можно было без труда надеть и на обычную лошадь. Ненастоящий рог привлек больше внимания, чем сам единорог.

После этого краткого пересказа Чарли сказал, что услышал достаточно, и заявил, что я принят на работу.

Первый же мой рабочий день начался с того, что, не успев я устроиться за рабочим столом неподалеку от кабинета Чарли, тот подбежал ко мне и сказал, что у нас появилась проблема. Чарли представлял интересы одного автора-призрака, писавшего от имени другого известного автора триллеры, стабильно становившиеся бестселлерами, и вот этот человек собрался издать одну книгу под собственным именем, да только рукопись оказалась слабовата.

– Он не желает меня слушать и внимать моим советам, – сказал Чарли. – У него эгоистичная истерика. Грозится разорвать со мной контракт, если не сдам в печать рукопись ровно в том виде, в котором он ее мне предоставил.

Он попросил меня прочитать текст и поделиться своим мнением.

Рукопись и впрямь оказалась слабовата, и я даже предполагал, что знаю, почему именно. События очередного триллера этого автора-призрака разворачивались в 1970-х годах в его родном городе. В результате те куски, в которых описывался сам город и жившие в нем подростки, выглядели гораздо более продуманными и тщательно написанными, чем те, которые, собственно, двигали сюжет. Все это я высказал Чарли, стоя в дверях его кабинета.

– Думаю, он боится, что вы начнете критиковать те места, в которых он описывает нечто дорогое для него самого.

Чарли слушал меня с явным скепсисом, но и с долей любопытства.

– Он – автор-призрак, он никогда не имел возможности писать о чем-то личном, говорить о чем-то от своего лица. Ему хочется написать о своей юности, но он боится, что ему не позволят этого сделать. Слабо тут написаны только те части, которые ему самому явно не интересны. Он писал их просто для галочки. Если отредактировать только эти куски, а остальное не трогать, а наоборот похвалить, он наверняка обрадуется. Его наверняка тронет, что мы ценим его личность и переживания.

Чарли осклабился так, словно я предложил ему какое-то дикое пари, и произнес:

– А давай ты сам с ним поговоришь? – он ловко вспрыгнул на ноги, подобно играющему коту. – Я скажу ему, что буквально вчера нанял помощника – просто какого-то неизвестного мне парнишку с улицы – что ему понравилась рукопись и что он хотел бы с ним поговорить. Скажу, что понятия не имею, о чем именно, что он волен в любой момент бросить трубку или вовсе отказаться от разговора. Думаю, любопытство его перевесит, и он все же согласится. А если твои слова ему не понравятся, меня он винить не сможет и не станет.

Чарли оценивающе посмотрел на меня. – Ты-то сам согласен ему позвонить?

– Конечно, – сказал я. – С какой стати я могу быть не согласен?^[59]

Чарли подавил смешок, улыбнулся и кивнул мне.

Мой стол стоял прямо напротив стеклянной перегородки, отделяющей кабинет Чарли, так что мы могли видеть друг друга, но не слышать. Я наблюдал, как Чарли говорил с автором-призраком, покручиваясь туда-сюда на своем кресле. В какой-то момент он

показал мне большой палец, перебросил звонок на мою линию и стал с ухмылкой наблюдать уже за мной.

Я сказал автору-призраку, что прочитал рукопись и что мне она показалась гораздо более самобытной и вдохновенной, чем все то, что он писал за последние пять лет. Сказал также, что явственно почувствовал в ходе чтения, что автор явно не привык к самовыражению в своих текстах, и предложил урезать и отредактировать все куски текста, которые он, судя по всему, на самом деле не особенно хотел писать.

Я начал зачитывать один из таких отрывков, на ходу предлагая правки и объясняя их причины; мой собеседник на том конце провода молчал, не подавая никаких признаков согласия или несогласия. Сидевший в своем кабинете Чарли буквально не отводил от меня взгляда. Когда я закончил, автор-призрак поблагодарил меня и попросил переключить звонок обратно на Чарли.

Чарли поднял трубку и практически тут же в уголках его глаз стали появляться веселые складочки. А затем он замер с отвисшей челюстью. Повесив трубку, он только что не бегом понесся к моему столу.

– Даже не представляю, что ты наговорил этому типу, – произнес он, сдерживая смех, – но он согласен принять все твои правки. Говорит: «Не знаю, где ты откопал этого парня, но он лучший редактор из всех, с кем мне когда-либо доводилось работать».

Чарли отправился обратно в свой кабинет, чтобы просмотреть мои правки рукописи.

– Поверить не могу, что говорю это, но – весьма неплохо! – сказал он, вернувшись и заинтересованно на меня посмотрев. – Я только не могу не спросить – откуда ты знал, что он к тебе прислушается?

– Я не знал, – ответил я. – Я просто стараюсь давать людям шанс быть искренними и надеюсь, что им это пригодится.

После этого я ушел на обед, окрыленный своим странным успехом, а, вернувшись, нарвался на поздравления практически от всех остальных агентов.

– Чарли рассказал о твоём достижении. А ты неплох! Второй день на работе – и на тебе!

Каждый шёл своим долгом остановиться у моего стола и поздравить. К сожалению, этот день оказался пиком моей карьеры.

За последовавшие пару недель всем, включая меня самого, стало ясно, что ассистент из меня никудышный. Мне постоянно требовались пояснения любой мелочи, да к тому же я постоянно делал опечатки. В конце концов Чарли вызывал меня к себе на ковер и сообщил, что я делаю слишком много ошибок, что он не может вычитывать за мной каждый текст и что ему необходимо было знать, что он может на меня положиться. Я ответил что-то вроде:

– Я и так уже стараюсь изо всех сил. Кажется, я просто плохо подхожу для такой работы.

Вначале Чарли даже хохотнул над тем, что я, по сути, только что попытался сам себя уволить, но тут же собрался и помрачнел.

– Н-да, ничего не получится, – произнес он. – Ты не ассистент. Да и в агенты ты, собственно, тоже не годишься. Ты вообще не создан для продаж. Ты творец – писатель или редактор. Я не забыл твой второй день в должности. Ты талантлив. Вот что: если тебе удастся пробиться на собеседование на какую-нибудь креативную работу, ссылайся смело на меня – я расскажу твою историю и уговорю их тебя нанять. Но только не ассистентом. Говорить буду как есть – только правду.

– Я люблю правду, – ответил я.

Отказы и отвержения были для меня привычным делом, но все же конкретно это увольнение стало для меня ударом. Во-первых, я жалел, что не смогу больше проводить время с Чарли. Во-вторых, я был глубоко не уверен в том, что смогу устроиться куда-либо еще. Я и эту должность получил чудом и исключительно благодаря доброй воле необычного начальника, которого я к тому же любил и уважал, но вот даже он осознал, что не хочет держать меня в штате.

Я рассказал одной знакомой по колледжу о том, что меня уволили после всего лишь трех месяцев работы. Она не удивилась – сказала, что еще давным-давно подозревала, что с работой мне придется туго, и посоветовала не болтать об этом увольнении.

– Ты должен производить впечатление человека компетентного, – сказала она, – даже если вовсе таковым не являешься.

Она порекомендовала мне при поиске работы в будущем опускать этот опыт в своем резюме и делать вид, будто этого случая просто не было. Я в ответ рассказал ей о том, что Чарли обещал за меня поручиться и помочь мне стать писателем.

– И ты поверил? – округлила глаза она. – Да он же просто пытался максимально мирно тебя сплавить! Ни в коем случае не указывай в резюме контакты человека, который тебя уволил, даже не думай! Это же сумасшествие!

Мысль о том, что, вполне возможно, даже Чарли мне солгал, окончательно меня добила.

Уволили меня аккуратно в понедельник, так что тем же вечером я притащился в клуб, надеясь немного развеяться на открытом микрофоне.

Клуб располагался в грязном и людном уголке Ист-Виллиджа; перед входом всегда происходило что-нибудь любопытное. Как-то раз ко мне подошел немолодой битник, представившийся «сертифицированным гомосексуалистом». Он утверждал, что «обрел мудрость» благодаря «интервьюированию собственного мозга», и предложил мне прогуляться с ним в парк «как в старые добрые 60-е». В другой раз я наблюдал молодую, опрятно одетую девушку, сидевшую в магазинной тележке перед престарелым бомжом. Тот стоял, склонившись над тележкой, а она делала ему макияж. Я смотрел, как она осторожно орудовала подводкой, стараясь не делать лишних движений, чтобы тележка не поехала и не испортила бродяге «кошачий глаз». Словом, я обожал этот тупичок.

В день увольнения я обнаружил компанию знакомых музыкантов, куривших у входа. Первой меня заметила понравившаяся мне больше всех привлекательная девушка в камуфляжной футболке.

– Привет, Майкл! – окликнула она. – Как оно ничего?

Я исправно краснел от благодарности каждый раз, стоило ей обратиться ко мне^[60].

– Ну как, – ответил я. – Меня уволили утром.

Все собравшиеся тут же заплодировали.

– Поздравляю! – сказала та девушка.

– Случается с лучшими... – прокомментировал кто-то еще. – С худшими, впрочем, тоже.

Все засмеялись.

– Чувак, – произнес паренек, державший самопальную студию звукозаписи в подвале родительского дома в Гарлеме. – Это же круто! Я музыкой занялся только потому, что у меня появилась куча свободного времени, как раз когда меня уволили.

– А меня вообще увольняли отовсюду, – сказал другой, пожалуй, самый гениальный человек из всех, кого я знал. – Я вот работал как-то частным сыщиком – мне жутко нравилось. Так вот, надо было следить за одним человеком – а я задумался и потерял его из виду.

Еще некоторое время мы стояли на том углу и рассказывали друг другу о своих неудачах. А потом мы пошли внутрь, где я смотрел, как они пели свои песни со словами, полными чувств, в которых многие никогда не посмели бы признаться.

Перебрав все возможные связи, я стал откликаться на все подряд объявления о хоть как-то связанной с писательством работе, в которых не фигурировали слова «ассистент» или «помощник». Я послал по почте в разные места несколько десятков резюме, в которых в качестве моего опыта работы в офисе значились лишь те три месяца. Ответили мне лишь из конторы, занимавшейся ликбезом – им требовался писатель или редактор. Собеседование со мной проводила девушка в костюме, которая произвела на меня впечатление хорошо шифрующегося и прикидывающегося профессионалом любителя. На протяжении всего собеседования она охотно и приятно смеялась. В ответ на мой вопрос о том, в чем конкретно заключалась суть работы, она сказала, что мне предстояло работать над школьными учебниками и книжками для отстающих в развитии детей. Тексты должны были быть понятными и написанными максимально простым языком, а темы при этом должны были быть интересны детям от десяти лет и до подросткового возраста. Меня такая перспектива весьма воодушевила, и я принялся задавать вопросы на тему организации и методов обучения, применявшихся в программе. Все ее ответы меня весьма впечатлили. Она, в свою очередь, отметила, что я оказался самым любопытным и полным энтузиазма соискателем из всех, с кем она общалась.

В какой-то момент она сказала, что обратила внимание на короткие три рабочих месяца в предыдущей должности и на то, что я всего пару недель назад оттуда ушел.

– На самом деле, вышла очень забавная история, – ответил я и охотно рассказал ей о том, как мне хронически не везло на собеседованиях, о том, как Чарли меня все же нанял по доброте душевной, и о том, как я оказался паршивым ассистентом. – Чарли

сказал, что готов порекомендовать меня на любую креативную должность, кроме должности ассистента.

К моему облегчению моя собеседница снова рассмеялась.

– Обязательно ему позвоню, – пообещала она.

В итоге меня взяли. В первый же мой рабочий день эта девушка рассказала мне о телефонном разговоре с Чарли.

– Его версия оказалась еще забавнее вашей! Сказал, что вы – тот еще крендель, но не нанять вас было бы глупостью.

– Справедливо, – ответил я.

Глава 6

Это ненормально

В тот первый вечер в клубе я записал имя девушки в костюме – Ева. Я не пропускал ни одного ее выступления. Она выходила на сцену в черной толстовке с капюшоном, рваных серых джинсах и черных ковбойских сапогах. Я посчитал, что это ее обычный облик, а в первый вечер она надела костюм только из солидарности со своим партнером. Его, кстати, нигде не было видно – возможно, они расстались. Мне казалось, что, будь у нее парень, он тоже приходил бы на каждое выступление своей гениальной девушки.

Она играла на неизвестном мне маленьком деревянном инструменте с тремя струнами, похожем на узкие гусли, который она вешала на перевязь. Причем играла она на нем как на гитаре. В этом мы были явно похожи – оба играли на чем-то небольшом. На сцене Ева всегда была собранной и весьма серьезной. Она всегда смотрела куда-то вверх зрителей и никогда ни о чем не говорила между песнями.

Однако, несмотря на то, что я стал постоянным гостем на ее выступлениях, она упорно меня не замечала. Обычно я сам подходил познакомиться со всеми, кто мне нравился, но в случае с Евой я почему-то ужасно нервничал и надеялся лишь на то, что рано или поздно нас представит друг другу кто-нибудь из общих знакомых.

За первые полгода пребывания в Нью-Йорке я уже успел несколько раз сам выступить в клубе, а пара-тройка новых знакомых даже приглашали меня выступить с ними где-то еще. Вскоре я уже играл вместе со своими любимыми музыкантами по несколько раз в месяц. Но с Евой я все еще так и не познакомился.

Однажды я заметил ее среди зрителей, когда выступал сам – вероятно, она пришла послушать одного нашего общего друга, у которого я в тот вечер был на разогреве. В результате у меня никак не получалось сосредоточиться на собственных песнях – я не мог перестать думать о Еве. Я постоянно забывал слова и брал не те аккорды, поскольку меня отвлекало осознание того, что я вспотел

под софитами, и мысли о том, как отталкивающе я, должно быть, выглядел.

Стоило мне только сойти со сцены и сесть за один из столиков, как ко мне сразу подседа Ева, едва не заставив меня тут же разрыдаться.

– Эй, классные песни, – сказала она. – Я Ева.

– Я знаю, – ответил я. – Мне твои тоже очень нравятся. Не пропускаю ни одного твоего выступления.

Она нахмурилась, видимо, подумав, что я над ней издеваюсь.

– Нет, я серьезно, честно, – добавил я. – Многим кажется, что я шучу, когда говорю на полном серьезе.

Ева оценивающе смотрела на меня, пытаюсь понять, как ей воспринимать эту информацию.

– Я правда прихожу на все твои выступления, – сказал я. – Просто все как-то не выходило познакомиться.

Казалось, она мне поверила, но комментировать мои слова никак не стала. Вместо этого она быстро предложила сыграть как-нибудь вместе, оставила номер телефона, сказала, что рада знакомству, и вернулась за свой столик к друзьям, с которыми пришла в клуб.

На следующий день я позвонил ей и оставил на автоответчике короткое сообщение со своим именем и номером. Остаток дня я провел, гадая, вспомнит ли она меня по имени, и кусая локти из-за того, что не напомнил в сообщении детали нашей встречи. Вечером, когда я играл в своей квартире в гордом одиночестве, она перезвонила мне и позвала пропустить по стаканчику чего-нибудь в одном баре в Бруклине через полчаса.

– Так мы же хотели поиграть вместе, разве нет? – спросил я и тут же пожалел о своих словах. Не дав ей ответить, я добавил: – Забей. С удовольствием подъеду!

Выбранный ею бар отличался решетками на окнах и железными прутами, украшавшими почти все детали интерьера; сидя в нем я ощущал себя запертой в клетке птичкой. Вероятно, мы забавно смотрелись за одним столиком: Ева была в рваных джинсах и черном худи с поднятым капюшоном, а рядом с ней сидел я в ветхом сером костюмчике из комиссионки и в темных очках в широкой оправе.

Ева начала задавать мне стандартные вопросы: откуда я родом, как давно живу в Нью-Йорке, сколько у меня братьев и сестер и так далее. В какой-то момент она спросила о том, какие у меня родители, что

меня несколько удивило – странный вопрос для первой встречи в баре. Впрочем, это не помешало мне на него ответить.

– Родители у меня очень честные, – сказал я ей. – Да и вообще вся моя семья. Отец умеет видеть все и вся насквозь, он сразу замечает любые ошибки, подмены понятий и лицемерие.

– Хм-м.

Еву такой странный ответ явно сбил с толку, но и заинтересовал.

– Они все еще вместе, твои родители?

– Ой, там, на самом деле, очень смешно вышло! – я с готовностью принялся рассказывать ей о разводе мамы с папой, поскольку сам считал эту историю интересной и забавной. – Мы с семьей каждое лето ездим в одно место – я его называю семейный лагерь...

Ева внимательно слушала мой рассказ, сосредоточенно нахмутив брови. Когда я сказал, что мама ушла от отца к кому-то из лагеря, она скривила рот в явном отвращении.

– Но мы все равно продолжили ездить в лагерь все вместе: с папой, мамой с и ее парнем!

– Стоп, – сказала Ева, живо заинтересовавшись. – То есть твои родители продолжают общаться и проводить вместе время даже после развода?

– Ну да, – ответил я.

Ева залезла своими маленькими цепкими руками в карман толстовки и выудила оттуда шариковую ручку. Придвинув к себе салфетку, она склонилась над столом и начала рисовать, явно пытаясь таким образом скрыть от меня свое лицо надвинутым на голову капюшоном.

– У моих предков все не так, – сказала она. – Они даже имена друг друга слышать не желают.

– Потому, что все еще любят друг друга, или потому, что ненавидят? – уточнил я.

– Первое, – ответила Ева. – Во всяком случае, хочется так думать.

За то время, которое ушло у нас на обмен этой парой фраз, на салфетке Евы уже проступили очертания штрихового портрета молодой девушки ангельского вида с милыми пухлыми щеками. Я начал выражать свое искренне восхищение ее рисунком, говорить о том, как неожиданно и здорово было видеть, как из-под ее руки совершенно обыденно вышло нечто столь прекрасное, а я ведь даже не знал, что она рисует. Пока я говорил все это, Ева пририсовала

мультияшного кривоzubого монстра с щупальцами, растущего подобно паразиту прямо из головы девушки. Рядом со ртом монстра она нарисовала рамочку для речи, но ничего в ней не написала.

Ева выглядела сбитой с толку и смущенной моей похвалой.

– Ты из тех, кому становится неудобно, когда окружающие восхищаются их творениями? – спросил я и тут же продолжил, не дав ей ответить. – Обычно, когда я говорю о том, что люди ненавидят честность, всем кажется, что я говорю о негативных вещах, о критике, но по моим собственным наблюдениям людям еще меньше нравится позитивная честность – комплименты, слова поддержки и любви.

Ева рассмеялась, отчасти обескураженная, отчасти очарованная моими словами.

– Ты и правда очень честный, – сказала она.

– Ну да, так и есть, – ответил я, – правда мне мало кто верит, когда я об этом заявляю.

– Еще бы! – снова засмеялась Ева. – Это же дико подозрительно звучит!

Я тоже рассмеялся, одновременно наслаждаясь остротой этой идеально жесткой и резкой истины.

– Когда кто-то начинает описывать самого себя, это всегда вызывает подозрения, – продолжила она. – Те, кто из кожи вон лезут, чтобы показать себя лапочками, начинают походить на психов. Это все равно что взять и сказать ни к селу ни к городу: «Я бы никогда никого не убил. Я вовсе не из тех, кто способен на убийство».

До этого момента Ева казалась мне абсолютно серьезной, но эта шутка оказалась донельзя удачной и своевременной.

– А ты честная? – полюбопытствовал я.

Она вновь рассмеялась.

– Ты что, так ничего и не понял? – мы снова посмеялись, но вскоре она опять опустила глаза к своему рисунку. – Я пытаюсь быть честной, но это сложно.

– А что именно тебе кажется в этом сложным?

– Не знаю, – ответила она.

– Это как? – сперва удивился я, а затем понял. – А, ты имеешь в виду, что не хочешь об этом говорить.

Ева снова хихикнула, но так и не ответила. В рамочку для речи пиявкообразного монстра она вписала слова «Наверное, я лгун».

После того вечера я и помыслить не смел, что понравился ей как мужчина, а поцеловать ее мне даже в голову не приходило. Но адрес я у нее узнал, чтобы иметь возможность писать ей.

Я послал ей написанное от руки письмо без единой помарки и без вычеркиваний, честно в нем же признавшись, что добился этого исключительно благодаря куче черновиков. Мы оба жили на Гранд-стрит, хоть и в миле друг от друга, так что закончил я словами «У нас с тобой словно есть телефон из двух консервных банок, а Гранд-стрит – это провод».

В ответном письме Ева рассказала о том, как учителя в школе вечно наказывали ее за рисование на уроках, и о том, что она отправила целый альбом со своими каракулями в несколько издательств комиксов. Меня позабавило то, что она называла собственные рисунки «каракулями». Я в альбомах Пикассо видал рисунки ощутимо похуже того, что Ева в тот вечер выдала на салфетке, но он почему-то никогда свои творения «каракулями» не называл. Я задумался о том, опубликуют ли какие-нибудь из ее каракулей. Надо сказать, в красоту рисунков Евы я верил больше, чем в мудрость издателей.

Письмо Евы кончалось непонятно к чему относящейся надписью у нижнего края листа, гласившей: «Это ненормально». Если и были на свете слова, способные заставить Майкла Левитона разомлеть, то именно эти.

Когда я впервые пришел к Еве домой, она показала мне толстую тетрадь в линейку, изрисованную ее «каракулями». Неловкие, худосочные, словно изможденные персонажи с беспокойными взглядами ухмылялись мне со страниц своими кривыми зубами или кусали губы, а с их лбов слетали капельки пота. В рамочки рядом с персонажами были вписаны их слова или мысли, причем иногда этих рамок было столько, что самих персонажей было уж не очень хорошо видно под наезжающими друг на друга потоками их собственных мыслей и чувств. На многих страницах была и сама Ева, печально смотревшая своими глазами-точечками поверх темных мешков на читателя даже посреди всеобщего веселья персонажей.

В реальности глаза у Евы были зеленые и большие и ничем не напоминали точки. Никаких особо заметных мешков под глазами у нее тоже не было, но в лице ее читались мудрость и опыт; было видно, что она многое чувствует и о многом думает, а для меня такие черты вполне ассоциировались с мешками под глазами. Впрочем, автопортреты весьма точно отражали ее белоснежно-бледную кожу и чернильно-черные волосы.

Я не мог не заметить, что каракули Евы явно указывали на ее обеспокоенность ложью и нечестностью этого мира, причем нарисованы они были задолго до встречи со мной. Некоторые из персонажей в тетради прямым текстом признавались, что они лгуны, или что они, наоборот, всегда говорят только правду. Другие периодически «переводили» слова своих соседей или даже свои собственные: «Под „заткнись“ я имею в виду „ты лучший на свете“». На моей любимой картинке была изображена сама Ева, уютно угнездившаяся на руках у кривоzubого парня, заявлявшего: «Мы знаем такое, о чем никто тебе не скажет».

Рисунки тронули меня буквально до слез. На всякий случай я пояснил Еве, что плакал всегда, когда меня обуревали те или иные эмоции. Она ответила, что ее тоже всегда было очень легко пробить на слезу, и рассказала об одной поездке с семьей к Гранд-Каньону. Ей тогда было восемь; она стояла на скале рядом с мамой и всхлипывала. Мама спросила о причине ее горя, на что восьмилетняя Ева ответила:

– Я плачу потому, что лучшее, что есть в Гранд-Каньоне – это быть здесь вместе с тобой.

Рассказывая мне эту историю, Ева сама расчувствовалась, чем заставила и меня разрыдаться по новой. Так что плакали вместе мы с самого начала.

Потом мы пили вино. Ева поставила музыку и пригласила меня на танец. Мы танцевали, и в какой-то момент она приблизила свой рот к моему, но я отстранился.

– Я правда хотел бы тебя поцеловать, – произнес я. – Но ничего не выйдет. Ты не станешь моей девушкой. Я с радостью останусь твоим другом и буду благодарен за твое присутствие в моей жизни.

Ева не обратила на мои слова ровным счетом никакого внимания и снова потянулась ко мне, и на сей раз я все же ответил на поцелуй.

Ту ночь я провел в ее постели. Она быстро заснула, а я лежал рядом и старался ценить каждое проведенное с ней мгновение, ведь ночь была коротка и вряд ли ей суждено было повториться.

Утром я поставил ее в известность о том, что был эмоционально вполне готов к окончанию наших отношений в любой момент и не хотел, чтобы она чувствовала себя виноватой, когда рано или поздно решит меня бросить. Я лишь попросил о том, чтобы она сделала это напрямую, вместо того чтобы пытаться защитить мои чувства. Ева обернула все в шутку, рассмеялась и вновь поцеловала меня. В то же утро я рассказал ей о своем фетише, о том, как впервые упомянул о нем в одной из «Говорильных записей Майкла», и о совете отца поговорить о нем с раввином. Ева нашла эти подробности уморительными, но при этом, к моему удивлению, они ее явно тронули.

– Это одновременно странно и так прекрасно – иметь фетиш, – сказала она. – И еще очень здорово, что тебя не приучали стыдиться таких вещей.

На протяжении следующих нескольких недель я периодически прямо спрашивал Еву о том, что она обо мне думала. Она обычно уходила от вопроса, и тогда я принимался озвучивать свои собственные мысли на ее счет. Впрочем, она прерывала меня еще на середине первого предложения.

– Мы познакомились всего месяц назад, – говорила она. – Ты же меня еще совсем не знаешь.

В конце концов, я перестал спрашивать.

Мы постоянно зависали в клубе, ходили на концерты и в кино, играли вместе, слушали музыку и ездили на выходных по утрам в Бруклин, где гуляли по комиссионным магазинам, подыскивая винтажную одежду и мебель. Собственно, практически все мое имущество было приобретено в таких комиссионках, в частности, обитый бирюзовым вельветом псевдовикторианский диванный уголок, стоявший в моей квартире на самом видном месте.

Три месяца спустя Ева позвонила мне на работу и пригласила поужинать с ней. Она сказала, куда и когда подъехать, но ее самой там не оказалось. Прождав двадцать минут, я позвонил ей, но она не сняла трубку, и я решил, что она застряла где-то в метро. Прошло еще полчаса, но она так и не появилась. Ресторан потихоньку наполнялся

посетителями, и официанты начинали ощутимо нервничать, явно досадуя, что усадили меня за столик одного. В какой-то момент я поднялся из-за стола и вышел наружу, намереваясь еще подождать у входа. Я снова позвонил Еве, но она опять не ответила. Когда с назначенного времени встречи прошло уже больше часа, а она все еще не отвечала на мои звонки, я начал серьезно волноваться.

Я направился к ней домой, намереваясь расспросить ее соседку по комнате. Домофон не работал, так что пришлось ждать у подъезда, пока кто-нибудь откроет дверь. Я постучал в квартиру, и навстречу мне вышла Ева собственной персоной, причем ноздри ее раздувались и снова сужались, словно она почуяла что-то гнилое.

– Что ты тут делаешь? – спросила она.

– Ну так ты не пришла и трубку не снимала.

– И ты пришел ко мне *домой*? – округлила глаза она.

– Я волновался, – ответил я. Ева явно была не особо рада меня видеть и все еще не пригласила меня внутрь.

– Все хорошо? – спросил я.

Она вздохнула и жестом пригласила меня войти.

– Я вообще-то не планировала этим вечером с тобой встречаться, – сказала она.

– Ты пригласила меня на ужин, – напомнил я.

Она резко отпрянула:

– Нет. Мы так и не договорились в итоге.

– Ты назначила точное время и место встречи.

Ева постепенно, шаг за шагом, отходила от меня все дальше вглубь комнаты.

– Если так, то почему ты здесь? Зачем тебе вообще продолжать водиться со мной, если я так тебя подставила? По твоей логике тебе бы следовало никогда больше со мной не разговаривать.

Страшное слово – «никогда». Оно направило мои мысли в воображаемое будущее, новую эпоху, имя которой было это самое «никогда». И начаться эта эпоха должна была с концом этого разговора и моим уходом из ее квартиры, и длиться ей было до конца моих дней.

– Даже не знаю, что такого ты должна сделать, чтобы я принял решение никогда больше с тобой не разговаривать, – сказал я. По моему собственному мнению, это было самое романтичное из всего,

что я когда-либо говорил в своей жизни, но Ева, казалось, никакой романтики в моих словах не уловила вовсе.

Она села на край кровати, нервно сцепляя и расцепляя пальцы.

– Я не хотела ужинать с тобой. Ты меня эмоционально принудил.

– Зачем ты лжешь мне? – спросил я.

– Да отвяжись ты от меня, – сказала она вместо ответа и внезапно расплакалась. – Оставь меня в покое.

Без малейших раздумий я сел рядом с ней, обнял и сказал:

– Тебе не нужно мне лгать.

– Нужно, – возразила она, всхлипывая.

Тут у меня включился режим куратора семейного лагеря.

– Чего ты боишься? Что произойдет страшного, если ты скажешь мне правду?

Она подняла на меня сумасшедше-заплаканные глаза.

– Ты поймешь, насколько я ужасный человек.

– И что же такого ужасного ты сделала?

– Не скажу, – всхлипнула она.

– Ну же, расскажи мне.

Ева сделала глубокий вдох и попыталась взять себя в руки.

– Мне было одиноко, я подумала, что после встречи с тобой мне полегчает. А потом я передумала и решила, что не хочу тебя видеть, ни сегодня, ни вообще когда-либо.

Я все еще обнимал ее и мне пришла в голову мысль о том, что это могло быть последнее наше прикосновение друг к другу. Я сосредоточился на своих ощущениях от объятия, пытаюсь покрепче запомнить это чувство. Ева тем временем продолжала:

– А потом ты взял и приперся сюда, словно шпионишь за мной, – она рассмеялась и вытерла слезы. – Ты вообще не понял намека на то, что я тебя бросаю, да?

В моей голове словно щелкнул некий выключатель, прочно укладывая в мое сознание мысль о том, что Ева не будет моей девушкой, и переключая все ресурсы на надежду остаться ей просто другом.

– Нет ничего плохого в том, что тебе захотелось со мной расстаться, – сказал я ей.

– Я ведь выставила тебя идиотом! – воскликнула она, снова разрыдавшись. – Я чудовище! Почему ты все еще здесь?!

– Потому что люблю тебя, – ответил я.

Ева упала спиной на единственную на своей двуспальной кровати подушку. Я улегся рядом с ней; наши лица разделяла всего пара дюймов. Ее печальный взгляд перескакивал с одного моего глаза на другой и обратно; мне нравилось наблюдать за этим. Она рассмеялась и снова вытерла слезы. Я поцеловал ее, и она ответила на мой поцелуй. Расставание отменялось.

После этого случая мы стали видеться почти каждый день. Я играл в ее группе, а она – в моей. Я стал проводить значительно больше времени в компании ее друзей и сестры-близняшки. А через пару месяцев Ева все же согласилась зваться моей девушкой.

Как-то на выходных, когда мы с ней сидели у меня дома, ей кто-то позвонил с неизвестного номера. Сняв трубку, она уже через несколько секунд обомлела, побелев от неожиданности.

– О боже, – вымолвила она. – Ух ты. Спасибо вам. Ого.

Еще с минуту она послушала собеседника, потом вновь поблагодарила его и повесила трубку.

– Кто-то пожелал напечатать мои каракули, – сказала она. – Причем весь альбом целиком, как есть.

Она пояснила, что на протяжении всех месяцев нашего знакомства получала письма с отказами, но ни разу о них не упоминала. Ей ответили отказом все издательства, в которые она послала копии альбома, все, кроме ее любимого – из него не написали вовсе. Зато из него позвонили теперь, через восемь месяцев после ее письма, и сказали прямо, что хотят напечатать ее альбом. Я в жизни так не радовался.

– Обожаю это чувство, когда окружающий мир внезапно превосходит твои ожидания, – сказал я ей тогда.

В январе 2004 года меня в Нью-Йорке решила навестить Мириам – она тогда уже заканчивала школу. Ее каштановые волосы все еще кудрявились пышными завитушками, ничуть не изменившись с

детства. Правда, носила она теперь в основном джинсы, футболки и фланелевые рубашки.

Ева тоже начала часто менять свой имидж; в то время она носила клетчатую красно-синюю зимнюю куртку и очки в тонкой оправе.

Мириам с подружкой, которую она прихватила с собой, заявили в мою квартиру прямиком из аэропорта. Открыв дверь, я стал наблюдать за тем, как Мириам с интересом осматривала мою загроможденную всяким красивым старьем однушку. Сидевшая на псевдовикторианском диване Ева вскочила и подбежала к моей сестре.

– Привет! – поздоровалась она нехарактерно высоким голосом. – Я Ева, очень рада наконец-то познакомиться!

Мириам перевела удивленный взгляд с Евы на меня – она явно ожидала, что найдет меня в большом городе в гораздо более плачевном состоянии. Она обняла Еву, недоверчиво глянув на меня поверх ее плеча, будто подозревая, что я специально нанял актрису, чтобы та играла мою девушку. Подруга Мириам отреагировала абсолютно нормально – очевидно, для нее наличие девушки у старшего брата не являлось чем-то хоть сколько-нибудь примечательным или удивительным. Членов же моей семьи такое не могло не насторожить.

Я планировал предоставить Мириам с подружкой самим себе на то время, пока я буду на работе, но Ева внезапно вызвалась показать им Нью-Йорк, а в последующие дни проводила с ними буквально каждый день, что показалось мне совершенно диким и необъяснимым.

– Ты ведь знаешь, что не обязана это делать – сказал я ей.

– Знаю, но мне хочется, – стояла она на своем.

Семнадцатый день рождения Мириам мы отмечали у меня в квартире, позвав всех друзей. Я собрал подборку ду-вопа^[61] и соула пятидесятых и шестидесятых, поставил кровать на попа к стене и освободил свою тесную спальню для танцев. В тот вечер Мириам сняла на одноразовую «мыльницу» Еву, танцевавшую со мной, положив голову мне на грудь.

В последний день пребывания Мириам в Нью-Йорке мы отправились пообедать с ней вдвоем.

– Ева просто потрясающая! – сказала мне Мириам. – Красивая, милая, смешная, стильная, талантливая – словом, крутая. Я прямо отлипнуть от нее не могу. Приеду домой – займею себе такую же куртку, как у нее. Поверить не могу, что вы встречаетесь!

– Я тоже, – признался я.

– Как думаешь, у вас с ней все это надолго? – поинтересовалась Мириам, грызя чипсы.

– Вряд ли, – ответил я, – тем ценнее каждый момент, который я провожу с ней.

На этих моих словах Мириам явно расслабилась.

– Я просто хотела убедиться, что ты не питаешь на этот счет никаких иллюзий.

Высокие потолки

Руководители программы по ликбезу, в которой я работал, нанимали фрилансеров строго на полтора года. На момент истечения срока моего контракта мы с Евой встречались уже год. Я почти сразу подыскал себе халтуру в литературном бизнесе, на которой мог перебиваться с горем пополам некоторое время, однако жить на эти деньги в Нью-Йорке в одиночку сколько-нибудь долгое время было невозможно. Мне нужна была полноценная работа, вот только я сильно сомневался, что смогу ее найти. Семейный лагерь научил меня открыто просить того, о чем я хочу, даже если я знаю, что мне ответят «нет», так что я сказал Еве, что вынужден переехать, и предложил ей жить вместе. Как я и ожидал, она отказалась. Она вообще побаивалась каких-либо обязательств (у нее полгода ушло только на то, чтобы признать меня своим парнем) и была по натуре крайне независимой – проводила много времени в одиночестве и бдительно охраняла свое личное пространство. Надо сказать, мысль о том, чтобы делить с кем-то жилье, мне самому была не особо по душе, но вместе с тем я парадоксальным образом ничего более не желал так сильно, как жить с Евой. Я знал, что она этих моих чувств не разделяла; я вообще к тому моменту уже давно смирился с тем, что любил ее сильнее, чем она меня. Так что я стал подыскивать себе новую квартиру, а параллельно – и соседа по комнате из числа друзей и знакомых.

Ситуация с недвижимостью в Уильямсбурге – одном из районов Бруклина – сильно изменилась с 2002 года. Первое жилье в Нью-Йорке мне помог подыскать очаровательный пожилой риелтор, работавший в своем обшарпанном кабинете уже явно не один десяток лет. Но он к 2004 году уже ушел на пенсию, и теперь все риелторы принимали своих клиентов в напоминающих аквариум кристально чистых офисах со стеклянными витринами, полных гладко выбритых белых молодых людей с ухоженными волосами и в дорогих костюмах, мастерски владеющих искусством вешать людям лапшу на уши.

Каждому из этих риелторов я сразу ставил одно категорическое условие: при своем росте я отказывался жить в квартире с низким потолком. И каждый раз меня исправно приводили именно в такую

квартиру. В ответ на мое напоминание о высоте потолка они отвечали: «Так это высокий».

В первый раз я рассмеялся.

– Да ладно! – воскликнул я сквозь смех. – Хотите сказать, у меня галлюцинации? Считаете, я должен верить вам больше, чем собственным глазам? Серьезно кто-то на это попадается?

Риелтор посмотрел на меня так, будто не он мне, а я ему нахамил.

Когда ситуация повторилась с другим риелтором, мне было уже не так смешно, и я решил продавить свою линию.

– Видите ли, я рассматриваю только квартиры с потолком выше, чем здесь, – заявил я.

Риелтор продолжил настаивать на своем.

– С вашим бюджетом вы таких квартир просто не найдете.

Тут я все же расхохотался и сделал то, что больше всего ненавидят лжецы – я повелся на его ложь.

– Ну да, разумеется, – произнес я. – Что ж, если это все, что вы можете мне предложить, то, думаю, не имеет смысла вас задерживать и просить показывать мне другие квартиры.

Тут риелтор ожидаемо дал задний ход:

– Слушайте, а ведь я знаю одно такое место – там потолок значительно выше.

– Извините, – ответил я ему. – Не в моих принципах работать с людьми, которые лгут мне в лицо.

Спустя еще несколько таких попыток я осознал, что лгать мне в лицо будут все риелторы без исключения, что все они практикуют эту совершенно мерзкую стратегию, заключающуюся в том, чтобы показывать своим клиентам сначала самые худшие квартиры и заставляя их думать, что вариантов получше просто нет. В результате я сразу стал им говорить:

– Кстати, я хорошо знаю вашу типичную уловку с показыванием мне сначала самых дрянных квартир. Давайте сразу пропустим этот этап, хорошо?

Они в ответ обычно неискренне смеялись и хвалили меня за смекалку, а потом все равно показывали мне самые плохие квартиры и упорно называли низкие потолки высокими.

Пару недель спустя один риелтор настолько меня этим взбесил, что я решил подождать с изобличением лжи и попросил показать мне

следующую квартиру. Естественно, потолки в ней оказались выше, хоть он и утверждал, что мне такое не по карману.

– Какие высокие потолки! – воскликнул я. – Ну разве не странно? Вы вроде бы говорили, что потолков выше мне не найти, но гляньте-ка! Удивительно, не правда ли? Можно даже подумать, что вы мне солгали!

Явно разъяренный, но тщательно пытавшийся это скрыть риелтор упорно избегал моего взгляда.

– Они просто выглядят выше, это оптический обман, – вяло и неубедительно пробормотал он^[62].

Примерно в тот же момент Ева позвонила и попросила меня встретиться с ней через полчаса в кафе неподалеку, о котором я никогда даже не слышал. Это показалось мне крайне подозрительным – мы с ней всегда пили кофе в нескольких определенных местах, и вдобавок крайне редко делали это столь спонтанно. Это не говоря уже о том, что накануне она ночевала у меня, и мы виделись с утра. Все это подозрительно совпадало с несколькими неделями бесплодных поисков жилья и ее отказом жить со мной. Короче говоря, я был практически уверен в том, что она пригласила меня, чтобы со мной расстаться. Никаких ссор не было, но я знал, что такое решение она бы, скорее всего, приняла тихо, тайно и без разговоров. В принципе, причин на то, причем веских, у нее было предостаточно даже по моему собственному мнению.

Добравшись до кафе, я обнаружил Еву курящей у входа вместе с одетой в деловой костюм незнакомой мне женщиной постарше. Ева улыбнулась, поцеловала меня и сказала, что хочет мне кое-что показать. Незнакомка в костюме открыла располагавшуюся рядом со входом в кафе дверь, провела нас вверх по двум лестничным пролетам и открыл дверь одной из квартир. Мы с Евой вошли и оказались вдвоем в залитой солнцем кухне. Ева обняла меня, улыбнулась и спросила: – Майкл, хочешь жить здесь со мной?

Мы оба расплакались, и я согласился, даже не осмотрев квартиру и не примерившись к потолкам.

Когда первые впечатления утихли, я вдруг осознал, что, для того чтобы устроить мне этот сюрприз, Ева должна была сама тайно заниматься поисками жилья параллельно со мной. Она слушала мои печальные жалобы и даже не пыталась остановить меня, чтобы я

не тратил время попусту. Она заставила меня поверить, что не хочет жить со мной, что не любит меня. Вместо того, чтобы просто порадоваться сюрпризу, я умудрился с отвращением найти обман и ложь в самом романтическом моменте в своей жизни.

Мы с Евой быстро перевезли в эту халупу всю найденную нами на барахолках мебель. В гостиной рядом с моим выцветшим псевдовикторианским диваном расположилось ветхое фортепиано из какого-то подпольного бара, доставшееся мне задаром на очередной интернет-барахолке. Роль прикроватных тумбочек у нас играли гитарные усилители, на которые мы водрузили по вазе с цветами, а журнальным столиком служила стопка винтажных чемоданчиков. В располагавшейся по центру спальне хватило место только на кровать, так что художественную студию Ева обустроила на кухне – там в углу стояли ее рабочий стол и мольберт, а позади него приютились картины, рисунки и инструменты. Вся квартира была перманентно покрыта слоем постоянно скапливающейся сразу после уборки пыли, на которую мы оба быстро махнули рукой. Наши карандаши Ева как-то сложила в коробочку, на которой красивым шрифтом с завитушками написала «карандаши». Она вообще умела украсить что угодно, просто расписав или разрисовав. Меня потрясли даже самые обычные стикеры-напоминалки, которые она клеила на экран своего компьютера. Иногда в ее отсутствие я просто любовался ее рабочим уголком, словно одним цельным произведением искусства.

Нам часто досаждал постоянный шум улицы за окном (разговоры прохожих, музыка из магнитол проезжавших мимо машин и рев могучих двигателей фур), но этот шум иногда мог даже добавлять нашей жизни романтики. Периодически какая-то из живших по соседству девочек звала под окнами кого-то по имени Ева. «Е» она тянула, как тянут гласные в именах любимых людей – «Е-е-е-ва-а-а-а-а-а! Е-е-е-ва-а-а-а-а-а!». Мы, впрочем, так ни разу и не увидели эту девочку. Но каждый раз при звуке этого имени мне казалось, что кричащая девочка была словно манифестацией моих собственных чувств, слово это не она звала Еву, а я.

Мы с Евой оба привыкли проводить большую часть своего времени в одиночестве и удивительным образом умудрялись следовать своим привычкам, даже живя вместе. Пока я играл на укулеле или писал песни в гостиной, Ева рисовала, писала или играла на кухне. Мы по очереди молчали, давая друг другу сочинять и оттачивать музыкальные навыки, периодически прерываясь на совместные приемы пищи. Вечерами мы чаще всего репетировали или ходили на концерты общих друзей и знакомых.

Через пару месяцев после переезда мы обнаружили необычный видеомагазин прямо за углом. Никакой систематизацией товара в нем и не пахло: на полках просто валялись тысячи DVD-дисков и видеокассет с самым разным содержанием. Большую часть этого разнообразия составляли криво снятые низкобюджетные и любительские фильмы – чаще всего никакие. Мы с Евой иногда задерживались там по часу и даже больше, показывая друг другу совершенно сумасбродные обложки и иногда беря напрокат те, что казались наиболее смешными. Ева называла такие фильмы «трильерами» за постоянные ошибки и опечатки в описаниях; на одной из обложек так и было написано – «трильер». Иногда она мило улыбалась и предлагала: «Давай возьмем какой-нибудь трильер на вечер». В результате мы проводили такие вечера за просмотром очередного дурацкого фильма про монстров с состряпанными на коленке спецэффектами, комментируя сквозь смех все его огрехи. Время от времени в том или ином трильере попадались даже вполне трогательные сцены; как-то раз мы смотрели одно кино, в котором резиновая детская игрушка играла роль огромного монстра-аллигатора – так один из персонажей выдал на-гора настолько сентиментальный монолог, что Ева воскликнула:

– Как так – я смотрю «Убийца Крок 3» и рыдаю! Как мы дошли до жизни такой?

Иногда нам все же хотелось посмотреть что-нибудь действительно стоящее – такие фильмы Ева называла «слезовыжималками» – и тогда мы отправлялись в обычный видеомагазин. Впрочем, что бы мы в итоге ни брали, лично я смотрел кино скорее ради комментариев Евы. Иногда просмотр одной картины занимал у нас несколько часов – настолько часто мы жали на паузу, чтобы обсудить происходившее на экране. Подчас такие разговоры увлекали нас настолько, что мы даже

не досматривали сам фильм. Словом, чесать языками мы оба умели отменно.

Иногда мы просто ради смеха записывали каверы на наши любимые песни или даже целые альбомы. Периодически мы делились друг с другом новой музыкой, которую где-то недавно услышали. Вскоре уже не одна сотня песен стала прочно ассоциироваться с нашими отношениями; мы еще смеялись над большинством парочек, у которых каким-то образом оказывалась лишь одна «их песня». Как-то раз, когда мы были в аптеке, я приобнял Еву и сказал:

– Слышишь? На радио наша песня!

Речь шла про тот хит 80-х Майкла Сембелло, в котором он всю песню повторяет, что его знакомая – маньяк. Так у нас появилась новая инсайдерская шутка – предлагать друг другу максимально изощренные и непотребные кандидатуры на звание «нашей песни». Как-то вечером мы сидели и слушали музыку, и Ева предложила новый вариант – «Shut Up» группы The Monks.

Мы часто и подолгу проводили время с близняшкой Евы, Лилой, с которой сама Ева созванивалась, наверное, каждые пару часов. Меня поистине поражала степень их близости. Как-то раз в отсутствие Лилы я спросил Еву, не был ли причиной тот факт, что близнецы часто знают друг о друге буквально все.

– Ведь почти вся твоя жизнь проходила на ее глазах, – сказал я. – Люди крайне редко становятся свидетелями даже десятой части событий из жизни окружающих. Даже если бы в обществе было принято открыто делиться всеми моментами своей жизни, мы все равно бы не узнали друг друга настолько хорошо, как знают близнецы.

– Ну, я даже представить себе не могу, каково это – не иметь сестры-близняшки, – ответила Ева. – Мне кажется, без нее я бы тут же сошла с ума. Вот как ты умудряешься жить без второго себя, без человека, рожденного во всем тебя понимать – это вопрос.

– Я просто еще в детстве смирился с тем, что меня вообще никто не поймет по-настоящему, – ответил я.

– Я тебя понимаю, – возразила Ева, глядя на меня с теплотой и гордостью за то, что она единственная способна меня понять.

– А я, мне кажется, понимаю тебя, – ответил я. – По крайней мере, хоть в чем-то. Но хочу понимать еще лучше.

Ева улыбнулась, но я явственно почувствовал, что она колеблется.

– Ведь мы уже год как вместе, а ты мне еще столько всего не рассказала о своем прошлом. Например, я ничего не знаю о твоих бывших...

Ева рассмеялась и зарделась.

– Ой, поверь, тебе не нужно ничего об этом знать. Нет там ничего интересного – скукота одна, – сказала она.

– Вовсе не скукота! – возразил я. – Я бы с большим интересом поглядел хоть на что-то скучное из связанного с тобой.

Ева уже не смеялась.

– Это правда скучно, – упорно повторяла она, пока я наконец не отстал.

Однажды вечером мы смотрели фильм, в котором Натали Вуд разносила в пух и прах Роберта Редфорда и говорила о том, как она его ненавидит. А потом он заткнул ей рот поцелуем, и она самозабвенно упала в его объятия.

– Если бы меня попыталась поцеловать девушка, которой я только что говорил о ненависти, я был бы в ужасе, – проворчал я, ставя фильм на паузу. – Вот если бы мне девушка сказала, что ненавидит меня, я бы даже и думать не стал о том, чтобы поцеловать ее! Я бы просто ушел! Это же просто неуважение, он, по сути, счел, что она лжет. И я бы не связал свой жизнь с человеком, который говорит вещи, не являющиеся правдой, просто из раздражения.

Ева вздохнула:

– Да ладно тебе, она же совершенно явно его любит. Просто он точно знает, чего ей хочется – ему не надо ее об этом спрашивать.

– Как по мне, так в этом нет абсолютно ничего романтического.

– Я знаю, – ответила Ева. – Ты тоже романтик, но по-своему, – она ласково взъерошила мои волосы. – Таких романтиков, как ты, в кино не бывает.

В космосе никто не услышит твоей лжи

Однажды позвонил мой друг Сидни и сделал мне одно сумасшедшее предложение. Надо сказать, что Сидни был одним из немногих по-настоящему ценивших меня знакомых по колледжу. Он играл в футбольной команде, был высок, широкоплеч и хорош собой и мог, в

принципе, при желании сойти за нормального человека. У него это настолько хорошо получалось, что он даже умудрился пробиться на работу в одну студию в Лос-Анджелесе – он занимался ремейками старых фильмов из архивов студии. По его словам, это означало, что он имел право нанять меня, чтобы я переписал сценарий одного хоррора 1930-х годов. Это был мой золотой билет.

Вскоре после того, как я начал работу над сценарием, он сообщил, что его сняли с проекта, и что ему на смену пришел более опытный продюсер из Нью-Йорка, и что мне стоило с ним встретиться. Погуглив имя этого человека, я выяснил, что смотрел несколько фильмов, над которыми он работал. Причем мне эти фильмы не нравились, но зато они нравились всем остальным. Войдя в кабинет, на который мне указали в приемной его офиса, я ошутимо удивился: передо мной оказался весьма молодо выглядевший для своих сорока лет атлетично сложенный мужчина с торчащими светлыми волосами, больше всего смахивавший на серфера. Он долго хвастался своими карьерными достижениями и тем, как бросил школу и ушел работать на киностудию. Он называл себя «вундеркиндом». Я все никак не мог взять в толк, зачем ему так сильно понадобилось произвести на меня впечатление, но предполагал, что он вел себя так по причине чувства неловкости за то, что занял место моего друга. А может, мой возраст (мне было тогда двадцать четыре) заставил его почувствовать себя старым, вследствие чего он захотел показать мне, что добился успеха, когда был еще младше меня. Или же он просто вел себя так со всеми, и вот этот вариант расстраивал меня больше прочих. Как это, должно быть, бесконечно мучительно и больно – стремиться произвести впечатление на всех окружающих без исключения!

Он рассказал мне о его первой неделе в Голливуде и о совещании маркетологов по поводу фильма «Чужой».

– И вот сижу я, не окончивший школу, в зале для совещаний на бульваре Сансет и слушаю идеи собравшихся на тему подходящей надписи для постера. Все предлагают всякую банальщину на тему криков и космоса, и тут кто-то решил совместить и сказал что-то про крики в космосе. Тут нас услышала жена продюсера и давай над нами измываться, дескать, в космосе невозможно закричать, идиоты – там нет воздуха, а значит, и звука нет, – сидевший напротив меня продюсер-серфер взял драматическую паузу, явно наслаждаясь собой,

а затем предсказуемо пояснил, что вот так он, подросток, в первую же неделю на работе написал слоган для «Чужого» – «В космосе никто не услышит твоего крика!»

– Погодите, – сказал я. – А откуда там взялась жена продюсера? Как она могла подслушать происходившее в конференц-зале? Там дверь была распахнута, что ли? Она что, стояла под дверью и слушала, выжидая удобного момента, чтобы вломиться и всех устыдить? А до этого момент, получается, никто даже не задумался о том, что в открытом космосе нет звука? Сколько вообще было человек в этом зале?

Продюсер ошарашенно покачался на своем кресле. В принципе, удивляться было нечему – Голливуд был известен своими лжецами. Но я честно пытался мыслить позитивно и думал о том, что, быть может, ложь помогла этому человеку выжить в жестоких реалиях киноиндустрии и выбиться в люди. Так что я быстро сменил тему на более приятную.

– А знаете, я ведь погуглил вас перед этой встречей, – поведал я. – Оказалось, что многим моим друзьям и знакомым очень нравятся ваши фильмы.

– Правда? – ответил он. – Отрадно слышать.

– Лично мне они не очень понравились, – добавил я, – но я все равно верю, что мы отлично сработаемся.

Продюсер сгладил ситуацию, насколько мог, и поблагодарил меня, словно я ничуть его не задел.

Вскоре после этого разговора у нашего проекта появился и режиссер – отличный специалист, многие работы которого нравились уже лично мне. Правда, я и представить себе не мог, как так вышло, что такому маститому профи поручили снять фильм по еще даже не написанному сценарию какого-то никому не известного паренька.

В какой-то момент и продюсер, и режиссер, и Сидни оказались одновременно в Нью-Йорке и решили устроить встречу, на которую пригласили и меня. Перед тем, как войти в конференц-зал, в котором нас ждал режиссер, я пошутил:

– Представьте, если бы я сейчас вошел туда и тут же превратился в типичное существо из Голливуда и начал сыпать клише вроде: «Поли, детка! Обожаю твои работы, большой фанат! Пообедаем как-нибудь? Мой менеджер позвонит твоему!» Вот была бы потеха.

Продюсер на шутку никак не отреагировал. Сидни улыбнулся через силу и сказал:

– Вообще-то никакой потехи бы не было, Майкл – это все абсолютно нормально.

Я рассмеялся.

– Тогда потехой будет то, что я скажу на самом деле!

Сидни поддержал мое веселье, продюсер же просто пожал плечами. А затем мы вошли внутрь.

Я долго слушал, как продюсер-серфер на пару с режиссером расхваливали еще не существующий фильм, как они сравнивали его с шедеврами кинематографа, заранее поздравляли друг друга с предполагаемым колоссальным успехом картины. Они говорили так, будто эти фантазии были осязаемой реальностью. Я пытался вмешаться, но мои осторожные напоминания о том, что у фильма еще даже нет сценария и что стоит пока померить восторги, как ни странно, несколько не смутили их и не охладили их энтузиазма.

Похороны рыбки

Ева обожала животных и решила завести себе питомца. У меня в детстве не было никаких животных, у нас дома было слишком тесно, чтобы заводить собаку, а на кошек у меня вообще была аллергия. Так что однажды Ева купила синюю бойцовую рыбку и посадила ее в маленький круглый аквариум, который поставила рядом со входной дверью. Она назвала ее «Джош»; не в честь моего брата, конечно – это было лишь совпадение. Ей нравилось кормить Джоша и смотреть, как он плавает.

Однажды она заметила, что Джош слегка распух с одного бока и стал неровно плавать. Поиск симптомов в интернете показал, что Джош был тяжело болен и его было уже практически не спасти. Она заказала по сети лекарство и высыпала порошок в аквариум, но лучше от этого Джошу не стало – он продолжил распухать, становясь похожим на готовый в любой момент лопнуть воздушный шарик, и все так же плавал странными зигзагами. Еве это испытание далось крайне тяжело. В какой-то момент я предложил усыпить Джоша, поскольку ему явно было плохо. Ева продолжала настаивать на том, что лекарство ему поможет.

На выходных Ева отправилась к семье в Бостон, а я обнаружил Джоша мертвым на дне аквариума. Я знал, что для Евы это будет жесточайшим ударом. Я смыл Джоша в унитаз, отыскал среди вещей черную наволочку, набросил ее на аквариум и стал ждать возвращения Евы. Первым, что она увидела, открыв дверь, был завешенный черным аквариум.

– Он умер сразу после твоего ухода, – сказал я. – Словно из последних сил держался в ожидании этого момента, зная, как сильно ты его любишь.

Пустой аквариум вгонял в глухую тоску нас обоих, так что вскоре мы решили завести еще одну рыбку. Я даже сказал:

– Джош бы наверняка так хотел.

Я, в общем-то, говорил совершенно серьезно, но Ева прыснула, возвращая меня к реальности, и я засмеялся вместе с ней.

На сей раз мы купили маленькую золотую рыбку. Ева назвала ее Бананом, при этом очень смешно произнося это имя как «Банань».

Банань крайне неохотно плавал и предпочитал затаиваться в ветвях стоявшего в аквариуме маленького зеленого искусственного дерева. Я смотрел на него и диву давался, думая о том, насколько разные характеры бывают даже у рыб. На самом деле, для меня любовь некоторых людей к аквариумным рыбкам так и осталась загадкой. Теперь я понимаю: в животных все же есть нечто уникальное – они принимают себя самих такими, как есть, настолько, насколько на это не способен, пожалуй, ни один человек на свете. Животные не лгут, не стремятся защитить чьи-то чувства, не делают вид, что любят кого-то – им можно доверять целиком и полностью. Возможно, для многих они являются олицетворением фантазий о полной искренности, о возможности открыто проявлять радость, печаль или боль, любить без раздумий и стыдливости.

И вновь мы с Евой наблюдали за рыбкой в аквариуме и плакали от счастья. Через некоторое время дерево Бананя заросло водорослями, и Ева решила вынуть его, чтобы почистить. Выглядело оно все равно довольно мерзко даже после чистки, так что мы его выкинули и решили при случае купить новое. На следующий день, сидя в гостиной за какой-то очередной писаниной, я услышал с кухни истошный вопль Евы. Метнувшись через две комнаты, я обнаружил ее сидящей на коленях на полу рядом с Бананем.

– Он выбросился из аквариума! – сказала Ева сквозь слезы, глядя на меня снизу вверх, – потому что я забрала его дерево!

Банань не шевелился. Банань был мертв.

– Дерево было единственным, что держало его в этой жизни!^[63]

– Ты всего лишь хотела помочь, – возразил я, – ты не могла знать. Знала бы – купила бы новое дерево заранее, прежде чем выкидывать старое. Это не твоя вина. Ты просто хотела сделать ему приятно!

– Я всегда хотела, чтобы Банань был счастлив, – подтвердила она, все еще всхлипывая.

– Я тоже, – сказал я. – Я тоже.

Добро пожаловать в реальный мир

Сестра Евы, Лила, тоже увлекалась музыкой. Как-то раз на выходных мы решили сыграть все вместе на моей репетиционной базе. Мы снимали ту студию вскладчину с еще десятком музыкантов, так

что пришлось установить четкое расписание репетиций. Сверившись с ним, я сообщил сестрам, что на той неделе свободен был только поздний вечер субботы, и мы стали всю готовиться. В ту субботу мы сидели с Лилой на вельветовом диване, и тут к нам подошла Ева и заявила:

– Что-то мне не хочется сегодня играть. Давайте завтра?

– Завтра все часы уже забиты, – напомнил я. – На этой неделе получится только этим вечером.

– Ничего страшного, – ответила Ева. – Давайте завтра.

Я покосился на Лилу, но та вела себя так, будто не услышала этого странного ответа.

– Я чего-то не понимаю? – осторожно спросил я. – Я ведь только что тебе сказал, что получится только сегодня.

Ева глянула на меня волком и повторила:

– Сегодня мне не хочется. Сыграем *завтра*.

– Да что происходит? – не унимался я. – Ты нарочно делаешь вид, что не понимаешь моих слов, что ли?

– Давай лучше сходим куда-нибудь, выпьем, – предложила Ева. – А завтра поиграем.

В итоге я все же сдался, но этот разговор мне весь вечер не давал покоя. Оставшись, наконец, наедине с Евой, я стал снова спрашивать о том, что это такое было. Она начала заметно раздражаться.

– Лиля не хотела сегодня играть, – ответила она. – Не понимаю, чего ты так взвинтился.

– Так ты все повторяла, что мы сыграем завтра.

– Мне хотелось дать Лиле понять, что мы сыграем с ней в другой раз.

– Так что ж ты не сказала прямо? Почему не сказала хотя бы что-нибудь осмысленное? И почему вообще об этом говорила ты, а не Лиля, раз это она не хотела играть?

– Слушай, да в чем проблема-то? – удивилась Ева. – Что тебе с того?

– То, что у тебя не может не быть веской причины для того, чтобы так странно и глупо лгать! Кажется, проблема здесь не у меня, а как раз-таки у тебя.

В итоге завязалась ссора. Ева вела себя так, словно защищала Лилу от какого-то внезапно вселившегося в меня злого духа. Я же просто не

мог разобраться в ситуации. В конечном счете перепалка сошла на нет, так и не получив конструктивного разрешения.

Вскоре после этого случая Ева пригласила меня на Рождество к своей маме в Бостон. Отец ее жил неподалеку, так что по дороге планировалось заскочить и к нему. С учетом того, насколько сильно она любила родителей, я понимал, что просто обязан очаровать их, чтобы избежать расставания с Евой. Никогда прежде я не ставил перед собой задачи понравиться определенным людям, никогда не потакал другим и просто-напросто не знал, как это вообще делается.

– Боюсь, что я не понравлюсь твоим родителям, – поделился я своими переживаниями с Евой. – Я не умею нравиться людям.

– Ну, мне-то ты сумел понравиться, – заметила она.

– Вообще нет! – возразил я. – Я просто был самим собой, а тебе это почему-то подошло. Обычно бывает иначе.

Ева засмеялась – она явно недостаточно серьезно воспринимала назревавшую проблему.

Ее мама ласково улыбнулась мне с порога, ожидая, что я ей понравлюсь. Я-то как раз ожидал, что мне придется доказывать ей, что я неплохой человек, чтобы заслужить хоть толику ее благосклонности. Ее дом был уже основательно украшен к Рождеству: елка, гирлянды – все на месте. Я рассказал, как непривычно мне было праздновать Рождество и о том, что даже не знаю, что и думать насчет вручения или получения подарков. Я поведал маме и сестре Евы о том моменте истины с Сантой в детстве и как бабушка отказывалась от подарков. Мама Евы смеялась над этими историями, но я явственно чувствовал, что под маской доброжелательности она уже всю занималась сбором информации обо мне, про себя корректируя свое отношение ко мне исходя из моих рассказов о неблагополучной семье и нелестных отзывов о бабушке.

К подаркам в их семье относились с большой серьезностью и даже некой церемониальностью, которую члены семьи соблюдали уже не один десяток лет^[64]. Вместо того, чтобы просто, так сказать, плыть по течению, я постоянно задавал вопросы о тех или иных деталях торжества, лишней раз напоминая собравшимся, что я был среди них чужаком.

– У нас в семье нет таких традиций, – рассказывал я, – да и в принципе мы никогда не горели желанием заниматься чем-либо, что

делает большинство людей.

Мама Евы и ее сестра со своим парнем обменивались подарками так, словно давно и хорошо друг друга знали, словно они тщательно обдумывали подарок и долго готовили этот сюрприз. У Евы не было денег на подарки, поэтому она просто нарисовала для всех рисунки и комиксы, и каждому – нечто особое и уникальное. Я разрыдался еще в самом начале вручения подарков. Я пытался объяснить им, чем эта сцена меня так тронула, но, так или иначе, в итоге я все равно притягивал к себе все внимание. В целом, с учетом обстоятельств, все прошло не так плохо, как я боялся.

Утром мы отправились к отцу Евы – большому поклоннику типичной отцовской традиции благодушно угрожать ухажеру своей дочери. Особой внешней мужественностью я не отличался и явно плохо вписывался в его образ идеального парня для его девочки, так что оказался для него лакомым кусочком. Его шутку насчет того, что каждый мужчина должен хоть в какой-то мере владеть плотницким ремеслом, я воспринял буквально.

– Вы никогда не замечали, что, если человек говорит о вещах, которые, по его мнению, должны уметь все, речь почему-то всегда идет о том навыке, которым владеет он сам? Удивительное совпадение!

Ева с отцом юмора не оценили, и я попытался выразиться яснее:

– Что, если бы я сказал, что *настоящий* мужчина должен уметь играть на фортепиано? Или писать рассказы? Или плакать по требованию, когда это нужно? Кто определяет, что именно все должны уметь?

Какого бы ответа папа Евы ни ожидал на свой безобидный, в сущности, подкол, такого он точно не предвидел – я буквально видел, как он тщился понять, смеяться ему, оскорбиться или начать спорить. В итоге он решил остановиться на вежливом смешке.

Ева сменила тему и начала жаловаться на типичные проблемы в жизни 24-летнего фрилансера, в ответ на что ее отец сказал:

– Добро пожаловать в реальный мир.

Я тут же пустился в новый виток философствования.

– Почему люди всегда говорят о «реальном мире» в плохом ключе? Пожалуй, стоит начать говорить так о чем-то хорошем. Скажем, когда кто-нибудь выигрывает в лотерею, я скажу ему: «Добро пожаловать в

реальный мир!» Или, допустим: «О, ты влюбился? Добро пожаловать в реальный мир!»

Очевидно, эта моя мысль понравилась отцу Евы больше предыдущей, но он также явно был растерян и сбит с толку непредсказуемостью нашего обмена репликами.

Когда мы возвращались к машине, Ева взяла меня за руку и сказала:
– Он тебя полюбит. Просто дай ему время.

Только тогда до меня наконец дошло, что я и в самом деле только что принял участие в общепринятой практике попыток понравиться родителям девушки. Надо сказать, что попытки понравиться в принципе кому бы то ни было всегда казались мне настолько гиблым делом, что я никогда даже не смотрел на них с позиции самооценки. А чувствовать гордость за то, что я кому-то нравлюсь, но при этом не испытывать стыда за обратное всегда казалось мне лицемерием. Такая передача власти над своими чувствами другому человеку мне не особо улыбалась. Все эти мысли я изложил Еве в машине по дороге обратно к дому ее матери. Не отрывая взгляда от лобового стекла, она спокойно ответила:

– Ну, обычно люди к этому склонны, обычно им не все равно.

– Не думаю, что стоит базировать свою самооценку на мнении окружающих, – сказал я.

Ева пожала плечами; настроение у нее явно испортилось.

– Мне нравится, когда тебе не все равно.

Вернувшись, мы все вместе сели за кухонный стол выбирать фильм для совместного просмотра. Обычно я достаточно четко представлял себе, чего именно мне хочется, но в тот раз я решил, что, дабы понравиться маме Евы, лучше будет дать выбрать фильм остальным. Та, проглядев колонку с афишами в газете, сказала:

– Майклу не нравятся драмы, так что давайте выберем какую-нибудь комедию.

Это заявление меня, мягко говоря, озадачило.

– Я люблю драмы, – возразил я. – Но отдаю выбор вам.

Ева жестко посмотрела на меня, словно я только что допустил большую ошибку, хоть я решительно не мог понять, в чем именно она заключалась.

– Нет-нет, все в порядке, – сказала ее мама. – Посмотрим комедию. Мы знаем, что ты любишь комедии.

– А с чего вы взяли, что мне не нравятся драмы? – поинтересовался я.

– Отлично, пускай будет комедия, – произнесла Ева, сжав под столом мою руку и взглядом приказав мне заткнуться. Видимо, я должен был согласиться с ее мамой и признать, что не люблю драмы, но я просто физически не мог себя к этому принудить. В итоге я решил держать свое мнение при себе и дать им все же выбрать фильм самим. В конце концов мама Евы сделала выбор.

– Как тебе, Майкл? – спросила она.

– Я готов посмотреть с вами все, что пожелаете, – честно ответил я. Ева нахмурилась, и я вновь не понял, из-за чего именно.

– Ну хорошо, – ответила ее мать так, словно я отверг ее кандидатуру, а затем предложила другой фильм.

– Выбирайте, что вам хочется, – повторил я. Ева выглядела уже откровенно разъяренной, и меня это наконец добило. – Прошу прощения, – сказал я. – Я правда пытаюсь играть по правилам этого разговора, но никак не могу их понять! Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит? Вы утверждаете, что я не люблю драмы, потому что сами хотите посмотреть комедию? Когда я сказал, что готов посмотреть любой фильм, который вы выберете, вы отреагировали так, словно я отказался от вашего варианта. Когда я сказал, что мое мнение вовсе не стоит учитывать при выборе фильма, я говорил совершенно серьезно. Я пытаюсь произвести хорошее впечатление, но Ева смотрит на меня как на хама, а я не могу понять, что нужно говорить!

Я уже начал посмеиваться к концу этого монолога, а вот мама и сестра Евы опустили глаза и словно застыли в каком-то непонятном мне ужасе. Стоило мне закончить, как через пару секунд они все бросились меня утешать.

– Все хорошо, идти в кино вовсе не обязательно! Можем развлечься чем-нибудь дома!

Ева поднялась и попыталась вывести меня за собой из комнаты под предлогом чего-то вроде «Слушай, Майкл, я вспомнила, что хотела тебе кое-что показать». Приведя меня в отведенную нам спальню, она сказала:

– Не переживай. Побудь здесь пару минут – я обо всем позабочусь. Да, и еще: когда вернешься, сделай вид, что ничего не было, ладно?

– Они хотят, чтобы я извинился? – спросил я. Люди всегда хотели, чтобы я извинился.

– Вести себя так, будто ничего не произошло, будет вполне достаточно в качестве извинений, – ответила Ева.

Когда я вернулся, фильм был уже выбран и все вновь пребывали в приподнятом настроении.

Позднее, оставшись в гостевой спальне наедине с Евой, я спросил ее о случившемся. Она задумалась, а затем прошептала так, словно разглашала мне военную тайну:

– Мама всегда пытается вести себя так, чтобы всем было комфортно. Вся моя семья пытается вести себя так.

– И как это объясняет ее пассаж на тему того, что мне якобы не нравятся драмы? – спросил я.

Было видно, что Ева никогда и никому прежде не пыталась объяснить, как устроено общение и взаимодействие в ее семье. Меня это несказанно удивляло, поскольку я занимался этим в отношении собственной семьи с завидной регулярностью.

– Если тебе чего-то хочется, нельзя просто так взять и заявить об этом, – сказала Ева.

Я перебил ее возмущенной тирадой.

– Все постоянно только и твердят об этом. О том, что нельзя просить того, чего тебе хочется, или о том, что нельзя раскрывать окружающим свои чувства. Откуда вообще взялось это «нельзя»? Почему нельзя?! Просто возьми да открой рот и пошевели языком и связками!

– Да не в буквальном же смысле не можешь! – фыркнула Ева. – Имеется в виду, что это невежливо.

– Ну хорошо, и как же они, в таком случае, добиваются того, чего хотят от окружающих? – осведомился я.

Ева говорила быстро и уже без пауз, но все еще шепотом.

– Обычно они делают намеки, а ты должен их уловить и уважить их, сказав, что тебе самому хочется того же самого.

Тут Ева все же прервалась, сама, кажется, удивляясь тому, как легко ей далось это объяснение механики общепринятой модели социального поведения.

– Когда мама сказала, что ты не любишь драмы, она, по сути, намекнула, что она сама не хочет смотреть драму. А, спрашивая твоего мнения на тему определенного фильма, она подразумевала, что она

хочет на него сходить. Ты должен был активно поддержать любой ее выбор. А твой ответ в духе «смотрите, что хотите» она восприняла как уже твой намек на то, что ты конкретно этот фильм смотреть не хочешь.

– В жизни никогда не слышал ничего более сложного и запутанного, – признался я ей.

Ева засмеялась, забралась в постель и обняла меня.

– Это для тебя сложно, – сказала она. – Для нас это все естественно, как для тебя – поведение твоей семьи.

Несмотря на то, что Ева явно уже смягчилась, я все еще был крайне раздражен.

– Но кому от этого лучше? Кому удобно не иметь возможности открыто выражать свои желания? Знать, что окружающие лишь притворяются, утверждая, что хотят того же, чего и ты? Это ведь жутко!

– С какой стати это жутко? Все просто соблюдают правила приличия! – возразила Ева. – Нет, иногда случаются, конечно, недопонимания, но оно того стоит.

– В каком смысле? – поинтересовался я.

Об этом она тоже явно прежде не думала^[65]. Подумав пару секунд, она ответила:

– Потому что так мы постоянно выказываем окружающим свою заботу и даем им возможность ответить нам тем же.

– А иначе заботу никак не проявить, да? – проворчал я. – Нельзя просто сказать «я тебя люблю», или что-нибудь еще в том же роде?

– Нет! – рассмеялась Ева. – Гораздо приятнее, когда заботу проявляют постоянно, раз за разом.

– Заевшая пластинка любви, – метафорично подытожил я с горечью, а потом вдруг проникся сам. – Мне бы хотелось постоянно выказывать тебе свою заботу, – заявил я. – Мне непонятны все эти сложные способы делать это не напрямую, но...

– Я знаю, – вздохнула Ева.

– Ты шикарный переводчик с моего языка на человеческий, – сообщил я. После этих слов у меня словно случилась какая-то внутренняя истерика. Раньше я всегда лишь закатывал глаза при виде людей, старавшихся понравиться окружающим и надевающим для каждого случая подходящую маску, и гордился тем, что сам никаких

масок не ношу. Однако далеко не все имели физическую возможность жить так, как я. Для большинства людей такая ротация личностей была вовсе не прихотью, а жизненной необходимостью. Это не говоря уже о том, что мне ведь и впрямь требовался переводчик на человеческий язык. Кто знает, сколько раз за мою жизнь другие, выманив меня из компании под тем или иным предлогом, заглаживали в мое отсутствие негативное впечатление, которое я произвел? Я лежал и смотрел, как Ева обдумывает свежее определенную должность не только моей девушки, но и моего личного переводчика.

После моего знакомства с родителями Евы, она стала периодически спрашивать, когда она сможет познакомиться с моими. Моя семья никогда не приезжала и вряд ли собиралась приезжать в Нью-Йорк; мне в голову приходило лишь одно действительно вероятное место встречи.

– Можешь поехать с нами в семейный лагерь! – пошутил я.

– Можно? – обрадовалась Ева. – Я бы с удовольствием!

За наши первые полтора года знакомства Ева уже достаточно наслушалась от меня об этом месте. Многие фильмы из тех, что мы смотрели, почему-то напоминали мне о лагере, и я часто ставил видеомэгафон на паузу, чтобы рассказать историю оттуда.

– Ты правда хочешь поехать? – удивился я. – Почему?

– Ну, тебе ведь там нравится, – ответила она. – Вдруг и мне понравится? Заодно познакомишь меня со своей семьей. Да и вообще было бы здорово съездить с тобой на природу.

Меня это пояснение вполне удовлетворило. В конце концов, Ева в принципе производила впечатление «семейного» человека, и многим действительно нравится время от времени выезжать на природу. Это не говоря уже о том, что пребывание в лагере с комментариями Евы обещало быть вдвойне интереснее. Так что дальнейших вопросов у меня не возникло. Мне тогда как-то не пришло в голову, что брать свою девушку в семейный лагерь – не самая лучшая идея.

Быть вежливым весело

Неделю перед лагерем в том году мы решили провести у мамы дома в Лос-Анджелесе. Стоило мне заговорить с ней об этом по телефону, она несказанно обрадовалась:

– Не терпится с ней познакомиться! – и таким же воодушевленным тоном добавила: – Главное, чтобы я ей понравилась, а остальное неважно.

Прямо с порога мама заключила Еву в свои типичные объятия, напоминавшие скорее удушающий прием.

– Я так рада знакомству! – воскликнула она. – Надеюсь, я вам понравлюсь!

К моему вящему удивлению, Еву это нисколько не смутило. Все еще не пытаясь высвободиться из маминых объятий, она рассмеялась и ответила:

– Я тоже надеюсь, что понравлюсь вам!

Вещи мы оставили в мамином кабинете, выполнявшем по совместительству роль гостевой спальни. Оглядывая комнату, Ева обратила внимание на мотивационные стикеры, висевшие на зеркалах и стенах, гласившие: «Ты будешь казаться уверенной в себе и производить профессиональное впечатление по телефону», «Ты заслуживаешь внимания», «Тебя будут ценить такой, какая ты есть» и так далее. Я стоял рядом с Евой и наблюдал, как она читает эти надписи, как менялось выражение ее лица – дискомфорт, смущение, потом веселье, потом грусть, и так по кругу. Помню, как она достаточно долго стояла с печальной улыбкой напротив стикера с надписью «Ты хороший человек». Стикеры, как и их содержание, она никак не прокомментировала, зато высказалась по поводу освещения – мама пользовалась энергосберегающими флюоресцентными лампочками, причем без абажуров.

– Такое откровенное и ничего не скрадывающее освещение еще поискать надо! – заявила она.

– Хм-м-м, – задумался я, – так вот почему я себе всегда таким уродливым казался.

Пока Ева разговаривала с сестрой по телефону в соседней комнате, я рассказал маме о наблюдениях относительно освещения.

– Вот как? – хмыкнула мама. – Забавно. Что ж, в таком случае, хорошо, наверное, что мы имеем возможность видеть себя такими, как есть.

– Но при таком свете мы выглядим хуже, чем под каким-либо другим, – возразил я. Однако маму этот довод не убедил и лампочки она так и не поменяла.

Мама готовила завтрак, собираясь познакомить Еву со своей семьей и с Джо. Для нее появление у меня девушки было весьма значимым событием.

Едва войдя в дом, Джо тут же кинулся к Еве.

– Ой, ты, должно быть, Ева? Безумно рад знакомству! – обняв ее, он добавил: – Мы знали, что Майклу тяжело будет найти свою вторую половинку, но всегда верили в то, что хоть кто-то сможет по-настоящему его понять!

Глаза у Евы были размером с блюдца.

– Надо же, – бессмысленно сказала она, пытаюсь хоть как-то заполнить неловкую паузу. – Это... Очень здорово.

Про бабушку с дедушкой я предупредил Еву отдельно, но она не выказывала ни малейшего признака раздражения или злости в адрес этих малоприятных людей. Было совершенно дико наблюдать за тем, как Ева улыбалась и смеялась над скучными и практически полностью повторяемыми друг друга рассказами Грэмми о разных гадких людях, которые ей встречались на каждом шагу (то есть, об официантах, врачах и даже случайных прохожих на улице). Почуввав внимание Евы, Грэмми разошлась не на шутку.

В какой-то момент мама не выдержала и воскликнула:

– Мам, ты правда до сих пор переживаешь о том случае? Ты ведь рассказывала мне эту историю, когда я была еще в школе!

– Но ведь утомительно же! – горячо возразила Ева. Мы с мамой переглянулись с немой надеждой на то, что Ева просто притворится.

Ева сидела и стоически выслушивала комментарии по поводу ее внешности и сальные шуточки деда. Я всячески пытался вмешаться и спасти ее от этой незавидной участи, но она лишь отмахивалась, не желая ставить маминых родителей в неловкое положение. В итоге у них все же кончились темы для беседы и разговор свелся к периодическим репликам на тему того, какая Ева «милая».

Оказавшись вечером наедине с Евой, я с нетерпением принялся расспрашивать об ее истинном мнении, но ответ оказался совершенно не таким, какого я ожидал.

– У тебя совсем не такие плохие бабушка с дедушкой, как ты говорил! – настаивала она. – Тебя послушать, так они сущие чудовища!

– Я был уверен, что ты притворялась! – забормотал я. – Как тебе вообще могло понравиться с ними общаться?!

– Они же твои родственники! – ответила Ева. – Конечно, собеседники из них и правда так себе, но мне приятно быть вежливой с твоей семьей.

– Что приятного в этой вежливости?! – ужаснулся я. – Быть вежливым – мучительно, а не приятно!

Ева уже начала посмеиваться над моей истерикой, так что я попытался успокоиться.

– Что ж, ладно, – сказал я, взяв себя в руки. – Может, тебя это обрадует, но я в жизни не видел, чтобы кто-то им настолько нравился. Может, все дело в том, что ты оказалась единственным неродственником, готовым их выслушивать.

Ева вздохнула:

– А ты сам не стал бы таким же неприятным, если бы тебя никто никогда не слушал? – спросила она, явно переоценивая количество тех, кто был готов меня слушать, и недооценивая мою неприятность.

Когда я сказал Сидни, что я в Лос-Анджелесе, он стал настаивать на том, чтобы я работал над моим пока еще не существовавшим хоррором с режиссером лично, пока была такая возможность^[66]. Я даже начал побаиваться, что в случае отказа меня просто-напросто уволят.

Ева в мое положение не вошла.

– Ты серьезно собираешься оставить меня одну со своей мамой?

– Я буду уезжать всего на полдня, – ответил я. – Ключи от машины оставляю тебе, вдруг захочешь куда-нибудь съездить, пока меня не будет. Вернусь к обеду.

Вернувшись, я застал Еву в еще более расстроенных чувствах, чем утром.

– Ты рассказал своей маме о том, что я раскритиковала лампочки! – воскликнула она. – Вот зачем ты это сделал, а?

– Ну, я подумал, что мысль-то хорошая. Себе не присваивал, честно, – ответил я.

– Ужас! Я пыталась сказать ей, что я этого всего не говорила, но она мне не поверила!

– Никогда не пытайся лгать моей маме, – посоветовал я.

Я в жизни не видел Еву столь разгневанной.

– Пока тебя не было, она часами со мной разговаривала и пыталась вытащить по магазинам, она вообще не понимает, что ее иногда становится слишком много! Да что там – я ей говорю «нет», а она не понимает даже этого!

Очевидно, под «говорю „нет“» Ева подразумевала череду неуловимых намеков, которые никто из нас не способен был воспринимать.

– А ты не пробовала просто прямым текстом сказать ей, что хочешь заняться чем-то другим? – поинтересовался я.

– Конечно нет! Я же не могу просто так взять и сказать такое! – воскликнула Ева. – Я ведь хочу ей понравиться!

– В нашей семье устанавливать четкие личные границы абсолютно нормально, – сказал я. – Она не обидится, поверь. А пускай даже и обиделась бы – всяко не страшно.

– Еще как страшно! – возразила Ева.

По утрам я работал над сценарием, а потом возвращался домой к Еве, которой хотелось не гулять и веселиться, а ссориться. Было видно, что она хочет со мной расстаться, но не понимает, как это сделать в сложившейся ситуации – мы гостили у моей мамы, откуда, собственно, и собирались вскоре ехать в семейный лагерь. Я решил, что такие вещи не стоит замалчивать.

– Я вижу, что ты хочешь со мной расстаться, – сказал я ей прямо. – И не хочу, чтобы тебе пришлось целую неделю торчать в лагере и делать вид, что все в порядке, отказываясь признавать, что хочешь расстаться со мной. Давай просто поговорим, хорошо? Ты не хочешь с нами ехать? Или, может, нам все закончить сразу и поехать туда просто друзьями? Не знаю. Как думаешь?

Ева смотрела на меня широченными глазами.

– Ты что, бросаешь меня?

– Нет, наоборот! – ответил я. – Я люблю тебя. Я просто хочу, чтобы тебе легче было бросить меня. Если ты хочешь расстаться, то я не желаю, чтобы ты чувствовала себя виноватой.

Ева покачала головой.

– Поверь, если бы я хотела с тобой расстаться – ты бы сразу понял.

– Хорошо, – ответил я и расплакался. – Прошу, только не притворяйся, что я нравлюсь тебе больше, чем есть на самом деле, и не делай вид, что ты счастлива, если это не так. Если я это пойму, мне будет очень грустно. А если не пойму и буду думать, что ты все еще меня любишь, станет еще хуже.

Явно тронутая этими словами Ева обняла меня.

– Я бы никогда так не поступила, – сказала она. – Обещаю быть с тобой абсолютно честной.

Я ей не поверил.

А на следующий день мы отправились в романтическое путешествие в семейный лагерь.

Болея за травму

В тот раз я особенно переживал из-за извилистой дороги к лагерю – в какой-то момент, когда мы смотрели кино, Ева поведала мне о том, что у нее «тошнофобия». Раньше я и подумать не мог, что в фильмах, причем самых разных – в комедиях, драмах, хоррорах и так далее – присутствует столько блевотины. Каждый раз, когда очередного персонажа тошнило, Ева закрывала лицо руками и принималась причитать: «Почему всех и везде постоянно тошнит? Кому нравится это видеть? Кто вообще пишет такие сценарии?»

Мы потихоньку ползли на машине вверх по крутой горной дороге, слушая тематический «лагерный» CD, на который я записал песни, в которых было слово «сумасшедший» или «сумасшедше». В какой-то момент Ева отстегнулась, встала на колени на своем сиденье, высунулась в окно и ее стошнило. Я остановил машину.

– Когда рвет меня саму, это особенно мерзко, – комментировала она в перерывах между позывами. – В результате саму себя ненавижу.

Когда ее перестало рвать, она снова уселась место и сказала мне:

– Забудь все, что только что произошло.

Я и представить себе не мог, что зрелище того, как кого-то рядом рвет, могло меня настолько умилить и очаровать.

Некоторое время мы просто слушали музыку. Когда Boswell Sisters заиграли свою «Crazy People», я предложил:

– Может, эту песню сделать «нашей»?

Ева быстро сменила тему.

– Над чем планируешь «работать» в этот раз на сеансах? – любопытствовала она.

– А я не «работаю», – ответил я. – Я просто наблюдаю.

– Просто *наблюдаешь*?

– Ну, это же все по желанию, – пояснил я. – Если не хочешь участвовать, можно просто сидеть и наблюдать за остальными.

Ева скривила рот в предельном отвращении.

– То есть ты хочешь сказать, что ты каждый год едешь в семейный лагерь для терапии и не ходишь там на терапию?

– А мне надо? – совершенно искренне поинтересовался я, но Ева восприняла мои слова несколько иначе.

– Ах, ну да, конечно, – фыркнула она. – Как я могла забыть – у тебя же нет никаких проблем.

– У меня проблемы касательно взаимодействия с другими людьми и окружающим миром, а не с собственными чувствами.

Я на секунду оторвал глаза от дороги, рискуя свалиться в пропасть, чтобы глянуть на выражение лица Евы. Та хмуро глядела вперед. Выровняв машину, я продолжил:

– Кроме того, на мне все равно все эти приемы не сработают – я уже слишком хорошо с ними знаком. У меня что-то типа иммунитета.

– Меня все еще раздражает твоя уверенность в том, что у тебя нет никаких проблем, – ответила Ева.

– Я такого не говорил, и ты прекрасно это знаешь.

– Да, но именно это ты имел в виду.

– Слушай, терапия сама по себе все равно бесполезна, – сказал я. – Люди не меняются, пока в их жизни не происходит что-то по-настоящему дикое и способное их перепрограммировать. Эбенайзер Скрудж вот изменился только после того, как к нему явились привидения. Элли понимает, что лучше, чем дома, не бывает нигде только после того, как смерч уносит ее за радугой. Нельзя просто так взять, пойти на сеанс психотерапии и изменить свой взгляд на мир. Тут нужна серьезная психологическая травма.

Я снова глянул на Еву. Выражение на ее лице совершенно четко отражало ее мнение на этот счет – единственная женщина во всем мире, которая меня по-настоящему любила, желала мне заработать психологическую травму в скорейшем времени.

Добравшись до лагеря, я остановил машину посреди дороги; вокруг нас тут же скопилась толпа детей, прыгавших и кричавших: «Семейный лагерь! Семейный лагерь!»

– Как это мило! – восхитилась Ева.

Протолкавшись кое-как сквозь толпу встречающих, я увидел сидевшего в кресле у обочины дороги и читавшего что-то отца. Одевался он до сих пор так же, как и на протяжении всего моего детства – старая, покрашенная вручную футболка и шорты. Заметив нас, он захлопнул книгу, вскочил и ринулся к нам.

Растолкав смеявшихся детей, отец добрался до моей двери и помахал Еве.

– Привет!

– Очень рада знакомству! – произнесла Ева необычайно высоким голосом и с улыбкой на лице. Меня раздражала эта ее привычка скрывать свое отвратительное настроение и надевать маску теплоты и радости.

Кажется, отец тоже заметил подвох, а потому обратил свое внимание на меня. – Майкл, ты отрастил бороду? Выглядит неплохо. На меня стараешься походить?

Я хотел сказать «нет», но Ева меня опередила.

– Это я ему посоветовала отращивать, – сказала она. – Мне кажется, она ему идет.

Отец приподнял бровь и ухмыльнулся.

– С ним только глаз да глаз – Майкл постоянно меня копирует.

Ева смотрела на меня так, словно я должен был что-то сказать на эту тему, но тут отец дал задний ход:

– Впрочем, я его тоже. У нас это взаимно.

Ева смотрела теперь уже на отца, будто ожидая чего-то, возможно, какой-то типичной отцовской шутки, но ее не последовало.

– Идите, ставьте палатку, – сказал папа.

– Мы будем спать в палатке? – удивилась Ева. – Я думала, тут будет что-то типа хижин.

– Нет, у нас тут полное единение с природой, – сказал отец. – Ну, по крайней мере, у некоторых – Майкл все равно даже тут упрямо носит свои гребаные костюмы, – он хохотнул. – Надеюсь, у вас с легкостью все тут встанет^[67].

Меня этот пассаж несколько сбил с толку – я самолично ставил себе палатку в лагере каждый раз на протяжении вот уже девяти лет, а подшучивать на тему чего-то, что не являлось правдой, было совсем не похоже на отца.

– Ты хочешь сказать, что я не умею ставить палатку? – уточнил я.

Папа фыркнул.

– А ты, стало быть, хочешь сказать, что умеешь?

Тут вмешалась Ева:

– Уверена, Майкл справится с палаткой.

Я повел машину вглубь лагеря, размышляя вслух над словами отца:

– Может, его просто все девять лет не было рядом, когда я ставил палатку, и он просто предположил, что я не умею это делать? Кто же тогда, по его разумению, мне ее ставит? Мама? Джош?

Ева молчала – у нее снова испортилось настроение. Припарковав машину, мы направились в лес.

– Ладно, увидишь, как я ставлю палатку, и скажешь потом папе, что лично была тому свидетелем.

Ева схватила меня за плечи и встряхнула.

– Да знает он, что ты умеешь ставить палатку! Он просто шутит!

– Да нет, – ответил я, – отец всегда говорит серьезно.

Ева отвернулась. Я собирался добавить что-то еще, но тут она снова сменила тему:

– Какой красивый лес!

Я лишь пожал плечами.

– Я не большой фанат пейзажей.

Ева смешно стиснула зубы в гротескном раздражении и добавила:

– Особенно красивый, когда в нем *тихо*.

В лагере мама обычно проводила большую часть времени с Джо, с которым никто из нас не горел желанием общаться, так что на первом лагерном ужине Евы мамы не было. Мы с папой, Джошем и Мириам сидели за одним столом и разглядывали депрессивные карандашные наброски моей девушки. За те два года, что мы с ней встречались, я так и не привык к волшебству ее рисунков. Каждый их персонаж вызывал у нас смешки или восхищенные вздохи.

– Ты такая крутая! – сказал отец, а потом нарочно громким шепотом добавил: – Как так получилось, что ты встречаешься с *Майклом*?

Кончик шариковой ручки Евы замер на листке бумаги. Я безошибочно уловил исходивший от нее гнев. Обычно он был направлен на меня, но в это раз под ударом явно был отец.

– Да шучу я, – сказал тот. Напряжение, впрочем, из-за стола никуда не делось. Отец округлил глаза. – Прошу прощения, – сказал он, – я все шучу и напрягаю Майкла. Кажется, иногда я перегибаю палку, – обернувшись ко мне, он добавил: – Майкл, прости – я вел себя как придурок. Надеюсь, что ты сможешь меня извинить.

Я сидел и не мог поверить, что кто-то мог посчитать, будто меня действительно оскорбит эта шутка, которая, кстати, была вообще-то чистой правдой.

– Да я сам так иногда шучу, – сказал я. – Сам не могу понять, с чего вдруг она решила со мной встречаться.

Я ожидал смеха, но его не последовало. Выкручиваться из неловких ситуаций из всех присутствовавших умела только Ева. Обернувшись к Мириам, она поинтересовалась:

– Как у тебя дела?

Мириам безразлично пожала плечами:

– Терпеть не могу этот лагерь.

– Не обращай внимания на Мириам, – произнес отец. – Ей просто нравится жаловаться. Никто ее не заставляет сюда приезжать, она делает это по собственной воле.

Мириам странно переглянулась с Евой и вернулась к своей тарелке, поднимая и хмуря брови и явно внутренне клопоча от ярости.

– Может, ей не нравится сам лагерь, а приезжает она для того, чтобы провести время с семьей? – предположила Ева.

– Если так, то пускай так и скажет, – ответил папа.

– Я *так* и говорю, – буркнула Мириам.

Но отец пропустил ее слова мимо ушей.

– Каждый год она *по собственному желанию* приезжает сюда, а затем принимается жаловаться на тему ею же принятого решения.

Ева поглядела на нас с Мириам так, словно папа сказал нечто крайне жестокое, но быстро поняла по выражениям наших лиц, что для нас такой стиль общения был абсолютно нормальным.

После ужина мы с Евой вернулись в нашу палатку, чтобы одеться потеплее и захватить фонарики. В сумерках окружавший нас лес казался серым и неприглядным.

– Неприятно вышло, – прокомментировала Ева.

– Что? А, ты про папину шутку на тему того, что ты слишком крута, чтобы быть моей девушкой? – уточнил я.

– Это тоже, да, – ответила она. – Но я вообще не про это, а про то, как твой отец разговаривает с Мириам. Она ведь каждый год тратит время и силы на то, чтобы приехать сюда и провести с вами время, хоть явно до сих пор зла на ваших родителей, а твой папа встречает ее насмешками.

– Он всего лишь отметил, что она всегда приезжает по своей воле, а потом жалуется, – возразил я. – Все ведь так и есть.

– Но ей это неприятно! – сказала Ева.

– У каждого есть право чувствовать и говорить то, что ему хочется, – ответил я. – И точно так же у всех окружающих есть право на ответные эмоции и на то, чтобы сказать в ответ все, что им вздумается.

Ева явно начала уставать от узости моего восприятия.

– Да, но при этом никто почему-то не пытается хоть как-то поддержать и утешить Мириам!

– Если бы на месте моей семьи была бы твоя, Мириам делала бы вид, что ей здесь нравится, чтобы не расстраивать родителей. Мы бы все делали вид, что нам нравится Джо, чтобы порадовать маму. В итоге все бы, по сути, врал друг другу. Такое тебе бы больше понравилось?

Ева даже не смотрела на меня.

– Да не в правде или вранье дело! Дело в том, что надо показывать членам своей семьи, что любишь их! – она явно пыталась подобрать правильные слова, чтобы объяснить свою позицию. – Если все твои родственники такие честные, почему они совсем не говорят о том, как счастливы быть рядом друг с другом? Или как их печалит то, что Мириам настолько тяжело? Или о том, как рады, что их сын нашел себе девушку?

Я не мог ей ничего ответить. Обезоружив меня, Ева чуть успокоилась.

– Быть честным вовсе не значит не выказывать окружающим своей заботы.

– Еще как значит! – возразил я, воспрянув духом. – Правда задевает чувства людей. Если я буду заботиться о чувствах окружающих, я просто не смогу говорить им правду.

У Евы аж челюсть отвисла от неожиданности, но я продолжил:

– А если я стану переживать о том, что окружающие думают обо мне, мне будет больно, когда они скажут мне правду. Нельзя заботиться о чужих чувствах, если хочешь быть честным.

Обычно бледное лицо Евы начало наливаться краской.

– Майкл, – произнесла она медленно. – Тебя должно беспокоить то, как твои родные общаются друг с другом.

– По-твоему, я способен беспокоиться волевым усилием, когда захочется? Что я способен искренне поверить в то, во что ты хочешь,

чтобы я поверил? – я разрыдался и добавил: – Ты говоришь вещи, которые говорят все нормальные люди! Но от твоего мнения я не могу просто так отмахнуться, потому что люблю тебя!

Ева тоже расплакалась и обняла меня.

– Ты защищаешь свою семью. Ты так любишь их, что защищаешь, даже когда они делают друг другу больно. Может, ты именно так и показываешь свою заботу.

– Я защищаю их потому, что они все делают правильно, а не потому, что забочусь о них.

Все еще обнимавшая меня Ева проигнорировала это мое замечание. Некоторое время мы стояли так, обнявшись и плача посреди леса, олицетворяя типичное представление о паре, приехавшей в семейный лагерь для психотерапии.

Тем же вечером мы с Евой тусовались у костра с Джошем, Мириам и еще десятком подростков из лагеря. Единственным взрослым здесь был отец, сидевший в одиночестве по другую сторону костра.

У Евы часто мерзли руки и ноги, так что я сидел и грел ее пальцы в своих ладонях. Я рассказывал ей о том случае, когда маленький папа пожаловался Баббе на холод, а та ответила: «Неправда. Это никакой не холод».

– Ужасно, – вздохнула Ева.

– Думаю, это одна из тех причин, по которым мы ненавидим, когда кто-то требует от нас таких же чувств, какие испытывает он сам.

Уже договорив, я осознал, что в условиях нашей недавней ссоры мои слова прозвучали особенно неприятно. Ева отвернулась к огню, сделав вид, что пропустила эту фразу мимо ушей.

– Ну что, Джош, как тебе колледж? – поинтересовался какой-то парень за двадцать.

– Нормально, – ответил Джош. – Теперь, правда, придется еще дополнительно попотеть, чтобы получить диплом в области молекулярной биологии и химии.

– Молекулярной биологии и химии?! – удивился я. Джош всегда ненавидел школу, и я и подумать не мог, что он мог вдруг

заинтересоваться наукой. Образ Джоша в лаборатории с пробиркой в руках вызывал у меня неверие пополам со смехом.

– Ну, я ходил в интернах у судмедэксперта, – пояснил Джош. – Он мне и говорит, дескать, диплома о высшем в области уголовной юстиции недостаточно, что нужно будет еще отучиться на диплом по молекулярной биологии и химии.

Мы с Джошем редко общались лично, да и в разговорах с родителями речь о нем заходила нечасто, так что я и понятия не имел до того момента, что он решил строить свою карьеру в криминалистике.

Тут к нам с другой стороны костра подсел отец.

– Как ты, Мириам? – спросил он.

– Шел бы ты спать, – посоветовала Мириам. – Вместо своих вечных попыток тусить с молодежью.

– Слушай, почему ты постоянно наезжаешь на папу? – спросил Джош.

– Спасибо, Джош, – вмешался отец. – Она просто честно говорит то, что думает, – повернувшись к Мириам, он добавил: – Мне жаль, что тебе не по нраву мое общество.

– Вот он вечно так извиняется, – прокомментировала Мириам, обращаясь к Еве. Затем она вдруг повеселела, словно подумала о чем-то приятном. – А хочешь ужастик? – спросила она у Евы. – Когда мне было десять, папа сводил меня на Бродвей – там шел «Чикаго». Я потом сказала ему, что хочу выступать на Бродвее, когда вырасту, а он ответил: «Да ладно тебе, Мириам. Как ты планируешь туда прорваться? Ты же никогда нигде не играла и не умеешь ни петь, ни танцевать!» Я разревелась, а он просто закатил глаза и повел меня обратно в гостиницу.

Плечи отца опустились, сделав его похожим на провинившегося школьника за партой:

– Мириам, прости, если тебя это задело.

Мириам кивнула Еве, вновь показывая, насколько плохо у отца получалось извиняться.

Огонь костра неровно освещал папино уставшее и поникшее лицо.

– Что ты хочешь от меня услышать?

Мириам не сводила глаз с огня.

– Это немного не так работает, – ответила она. – Не существует никакой тайной волшебной фразы, которую я сейчас от тебя жду. С какой вообще стати я должна за тебя придумывать извинения самой себе?

Отец начал тихонько всхлипывать под треск костра. Затем он встал, пожелал всем спокойной ночи и ушел куда-то в темноту.

– Догони его! – сказал Джош, обращаясь к Мириам.

Но Мириам была тверда в своей позиции:

– Я не подписывалась его утешать.

– Какая же ты все же мерзкая, – покачал головой Джош.

– Нет ничего мерзкого в том, чтобы обличать чужие мерзости, – спокойно ответила Мириам.

– Но ведь это было давным-давно! Пора бы уже забыть о том случае, нет?

Мириам подкинула еще пару веток в костер.

– Единственное, что хоть как-то помогает мне поддерживать отношения с отцом, это возможность говорить ему о том, насколько он невыносим.

На первом же сеансе, на который мы пришли с Евой, делавший «работу» мужчина попросил ее сыграть роль его матери. Она, как выяснилось, проколола цервикальный колпачок, чтобы забеременеть и женить на себе своего любовника. Но едва она забеременела, он ее бросил. Отчаяние сподвигло ее выйти за другого, чтобы тот помог ей растить ребенка. Мужчина, который рассказывал обо всем этом, ненавидел своего отчима всей душой и злился на мать за ее неспособность защитить от него своего сына. Отчим, оказывается, был немцем и симпатизировал нацистам. В результате тот мужчина все время кричал на Еву:

– Из-за тебя меня усыновил нацист! Из-за твоего страха перед одиночеством у меня нацист вместо отца!

Ева стояла на виду у всех в клетчатой куртке и джинсах, нервно сцепив руки перед собой и глядя широкими глазами на орущего на нее человека.

По окончании сеанса всех участников освободили от их ролей, и в какой-то момент координатор спросил у Евы ее мнения о ее роли.

– Я чувствовала себя так, словно всю жизнь провела с отвратительным человеком ради того, чтобы помочь своему сыну, что я все это делала ради него. И что все это не помогло, что я потратила эту жизнь впустую.

Ева плакала, но уже от своего лица.

– Это ведь так просто, – всхлипывала она, – Просто подумать о том, чтобы сделать кого-то счастливым. И о том, что ты всегда мог сделать счастливее всех вокруг, делая счастливее самого себя!

Со всех сторон от меня раздавались звуки вытаскиваемых из упаковок бумажных носовых платков.

На третий день нашего пребывания в лагере, пока я был на собрании до сих пор поглощенной конфликтом отца и Джо мужской группы, Ева отправилась в женскую. После собрания мы с папой отправились к «столовой», и я поднял тему образования Джоша:

– Поверить не могу, что Джош собирается получить аж два диплома. Он же всегда ненавидел школу! Да и вообще, это, должно быть, дико сложно – получить хотя бы два диплома!

– Ну да, – отстраненно ответил отец, – у Джоша отличная зрительно-моторная координация.

Я сначала хохотнул, решив, что отец так смеется над самим собой и над тем, как всегда говорил, когда мы с братом были маленькими: «Майкл у нас писатель, а у Джоша отличная зрительно-моторная координация». А потом я понял, что отец говорил абсолютно серьезно.

– погоди, ты не шутишь? – уточнил я.

Папа все еще выглядел отстраненным, словно размышлял о чем-то другом.

– Я сказал что-то, похожее на шутку?

– Ну, в ответ на мои слова о том, как я удивлен тому, что Джош собирается получать второй диплом, ты сказал, что у него отличная зрительно-моторная координация.

Отец лишь пожал плечами.

– Да ладно тебе, ты сам прекрасно знаешь, что я имел в виду.

– Нет, не знаю, – возразил я. – Какое отношение зрительно-моторная координация имеет ко второму диплому?

Отец помахал руками, изображая нечто вроде жонглирования.

– Ну, знаешь, работа в лаборатории, все такое – пригодится.

– То есть, ты считаешь, что Джошу удастся получить второй диплом в области науки по той причине, что он хорошо умеет жонглировать пробирками?

– Я просто сказал, что у него отличная зрительно-моторная координация, – ответил отец. – Я не говорил, что это необходимое качество для получения научного диплома – это уже твоя собственная интерпретация моих слов.

– Я только что спросил, какое отношения зрительно-моторная координация имеет к химии, и ты ответил, что она может пригодиться для работы в лаборатории и изобразил жонглирование пробирками! Почему ты просто не можешь этого признать?

– Прости, но я не знаю, что тебе ответить, – сказал папа. – Ты несешь какую-то ерунду. Я вообще не понимаю, какую мелочь ты пытаешься мне доказать. Только зря время тратим.

Я посмотрел вверх на кроны деревьев и заметил один-единственный дрожащий листик – все остальные вокруг него были абсолютно неподвижны. Очевидно, в него подул крохотный, но мощный порыв ветра. Я хотел было обратить на это внимание отца, но тут листик все же оторвало от ветки и унесло прочь.

– Так что, как Еве лагерь? – поинтересовался отец как ни в чем не бывало.

– Думаю, все еще пытается привыкнуть, – ответил я.

– Я смотрю, у вас прямо все серьезно, – отметил он.

«Серьезно» – безрадостное слово, и оно совершенно не подходило для описания нас с Евой. И в то же время «серьезно» – это было еще мягко сказано: я и представить себе не мог отношений более серьезных, чем наши с ней. Я выпалил что-то вроде:

– Да, мы любим друг друга.

– Ну-ну, – ответил папа. – А ты не думал, что тебе рановато обзаводиться собственной семьей?^[68]

– Мне двадцать пять лет. Начиная с какого возраста, по-твоему, обзаводиться серьезными отношениями – нормально? – спросил я.

– Мне просто кажется, что ты еще слишком юн, – ответил отец.

Мне сразу вспомнились все наши с ним разговоры по дороге в синагогу и обратно.

– Мнение о том, что тот или иной человек слишком юн, чтобы обзаводиться семьей, необходимо подкрепить определением надлежащего возраста, – рассудил я. Мы проговорили в таком ключе еще пару минут, но никакого точного возраста отец так и не назвал.

Потом я отправился на поиски Евы и в конце концов нашел ее рисующей за одним из столов для пикника.

Едва завидев меня, она спала с лица.

– Ты в порядке? – обеспокоенно спросила она. – Что случилось?

Видимо, выглядел я так себе.

– Да ничего, – ответил я, – просто говорил с папой.

Я пересказал ей разговор о зрительно-моторной координации Джоша, и она рассмеялась.

– Все родители так делают, – заявила она. – Моя мама вот до сих пор упорно называет Лилу писательницей, хоть та лет с десяти уже ничего не пишет».

– Ага, – отстраненно согласился я.

Ева закусила губу.

– Что-то еще случилось, да?

Я пожал плечами.

– Еще он сказал, что я, по его мнению, слишком юн, чтобы вступать в серьезные отношения.

Ева напряглась и отложила ручку в сторону.

– Что-что он сказал?

Дальше мы начали вместе строить предположения об истинном значении этих слов. Я сказал, что первая их интерпретация, что пришла мне в голову – насчет того, что ему просто не понравилась Ева – вряд ли была верной: слишком уж Ева была крутой и милой, да и вообще это было слишком не похоже на моего отца – о таком он бы просто заявил прямо. Ева выдвинула гипотезу о том, что он боится того, что она, Ева, начнет влиять на меня больше него самого. После каждого такого предположения она спрашивала, в порядке ли я.

– Мне кажется, ты чего-то недоговариваешь. О чем-то думаешь?

– Нет, – ответил я. – Я почему-то сейчас вообще ни о чем не способен думать.

По дороге обратно из лагеря Ева на протяжении всего спуска по горной дороге жаловалась на отца.

– Он вообще не имеет ни малейшего понятия о том, что такое такт! Считает, что он лучше других, раз делает то, что хочет, совершенно не считаясь с остальными!

– Ну, лично мне бы не хотелось, чтобы со мной считались, – сказал я. – Пусть каждый будет самым собой и делает то, что ему хочется.

Ева закатила глаза.

– Ты совсем рехнулся? С тобой все вокруг постоянно считаются! Ты просто этого не замечаешь.

Меня эти слова ошарашили.

– Все – это кто, например?

– *Все*, – ответила Ева. – Все вокруг тебя на цыпочках ходят, чтобы только не сказать случайно что-нибудь, с чем ты не согласишься. Ты правда не замечаешь, что, о чем бы ты ни заговорил, все и всегда стараются поддержать разговор?

Я отчаянно не хотел верить ей.

– То есть ты хочешь мне сказать, что все вокруг мне лгут? Но почему?

– Потому что ты не оставляешь им выбора! Потому что они боятся, что перестанут тебе нравиться, если начнут делать что-то, чего ты не одобряешь, – ответила Ева.

– Но это ведь ужасно, – сокрушенно сказал я. – То, что ты говоришь.

– Послушай, – горько произнесла она, – я знаю, что не в твоих правилах идти на компромиссы, чтобы меня порадовать. Я могу с этим жить. Но меня печалит то, что ты не замечаешь компромиссов, на которые иду ради тебя я.

– Например? – спросил я, доказывая, собственно, ее слова.

– Например, – сказала она, – я прямо сейчас дико мерзну из-за того, что ты любишь включать кондиционер на максимум.

– Да это же бред какой-то! – воскликнул я, выключая кондиционер. – Почему?

– Потому что забочусь о тебе.

– В том, чтобы скрывать ради моего блага свой дискомфорт, нет решительно ничего романтического, – заявил я. – И что, еще примеры есть?

– Миллиард-другой найдется.

– Я ничего подобного не делаю, никогда.

– Да я знаю! – сказала она.

– Расскажи обо всем, что ты делаешь без моего ведома ради моего блага.

Ева стала рассказывать мне о том, как она заранее старается сделать так, чтобы там, куда мы отправимся, всегда был кондиционер, чтобы там не было слишком громко илюдно, чтобы музыка играла та, которая мне нравится, чтобы там не было никого, с кем я мог бы вступить в конфронтацию. Что она даже своих родственников подключала к таким приготовлениям, поручая тем звонить в рестораны и спрашивать о том, есть ли у них кондиционер, и о том, какую музыку они ставят. Что она убирается в квартире в мое отсутствие, сметая пыль, которая, как мне казалось раньше, не волновала нас обоих.

– Не надо убираться украдкой – я готов помогать! – заявил я.

– Но я не хочу тебя утруждать! – возразила она.

– Наверное, это самая странная ссора на свете, – произнес я. – Я злюсь на тебя за то, что ты тайком мне помогаешь, а ты злишься на меня за то, что я этого не ценю.

– Так и есть! – ответила Ева.

Затем она начала перечислять все случаи, когда она делала вид, что согласна со мной, хотя это было вовсе не так, или ситуации, когда я рассказывал ей о чем-то, а она притворялась, что ей понравилось, хотя на самом деле мои слова ее удручали.

– Так почему же ты ничего не говорила? – изумился я.

– Потому что это бы расстроило тебя, и нам потом пришлось бы обсуждать эту тему еще какое-то время, а это расстроило бы уже меня.

Я был настолько сбит с толку, что едва подавил порыв остановить машину посреди однополосного горного серпантина.

– Ты ведь обещала, что будешь со мной честна.

– Знаю, – ответила Ева. – Но ты сам подумай, как может кто-то сдержать такое обещание?

– Я могу, – произнес я.

– Но если бы я каждый раз говорила тебе, что меня что-то злит или расстраивает, ты бы меня возненавидел.

– Какие такие твои чувства, по-твоему, способны заставить меня тебя ненавидеть? – спросил я.

Ева задумалась, не нашла подходящего ответа и тихонько рассмеялась про себя.

– Что-нибудь обязательно найдется.

Глава 7

Знать ее – значит любить ее

Следующий год после нашего с Евой визита в семейный лагерь не ознаменовался ничем сколько-нибудь примечательным. Мой теоретический хоррор оказался скучным и ожидаемо не выстрелил, сборник с каракулями Евы издали, причем вполне успешно, я выпустил диск с песнями под укулеле – тот разошелся не очень успешно, но лучше, чем я предполагал. Мы с Евой гастролировали со своими песнями по всей стране. Ей перепали все новые и новые контракты на иллюстрирование, а я периодически работал в качестве автора-призрака над детскими книжками с картинками. Некоторое время я помогал Еве записывать новый семейный альбом – ее мама играла на скрипке, а сестра пела. Кстати, ее родственники более-менее ко мне привыкли и даже стали временами находить мою честность милой. Ева даже сказала как-то, что чувствует мое плодотворное влияние на них – дескать, они чаще стали открыто показывать свои чувства и говорить о своих проблемах. Сама Ева потихоньку писала короткие рассказы с иллюстрациями для своего будущего сборника комиксов – в них содержались послания дорогим ей людям о том, о чем она сама не могла сказать. Сборник был посвящен мне.

Наши общие друзья почти забросили старый клуб, и нам стало не хватать открытых микрофонов, так что мы решили устраивать собственные аналоги – раз в месяц закатывали в нашей тесной квартирке вечеринку и приглашали всех знакомых музыкантов на песню-другую. Самым удивительным было то, что мы с Евой любили друг друга все сильнее. Я раньше и подумать не мог о том, что у меня однажды появятся настоящие друзья и истинная любовь; уже к двадцати шести годам я добился вещей, о которых раньше и мечтать не смел.

Побывав в семейном лагере и проведя некоторое время с моей семьей, Ева многое поняла об истоках и причинах многих из моих недостатков. Мы часто разговаривали о моих родственниках, и Ева комментировала все истории из детства и юности, которые я ей

рассказывал. Послушать ее, так я словно постоянно пребывал под действием какого-то проклятья, которое она надеялась со временем свести на нет. Ее безумно раздражало, когда я пользовался в споре типичными аргументами отца или отказывался признавать то, что он в чем-то был неправ. Ева даже говорила, что во время таких споров ей самой иногда казалось, что она спорит с ним, а вовсе не со мной.

Сколько я ни упрашивал Еву перестать пытаться тайком сделать мне приятно, я постоянно ее на этом ловил. В какой-то момент я начал догадываться, что, возможно, она так проявляла привязанность и что это нужно было ей самой, а мне следовало все же пойти на компромисс и просто стараться замечать и ценить такие вещи. Надо сказать, замечать что-либо, о чем мы с ней не разговаривали, мне удавалось из рук вон плохо.

Каждый раз, когда Ева признавалась, что чувствует себя огорченной или злой, я благодарил ее, поскольку знал, насколько тяжело ей давались такие признания. Я изо всех сил старался верить в то, что она стала честно выражать свои чувства.

Мы все так же регулярно смотрели кино, периодически ставя его на паузу и пускаясь в долгие дискуссии. Ева все больше и больше рассказывала мне о своем прошлом. Думаю, в итоге большую часть информации друг о друге мы получили именно за суммарное время этих пауз.

Мы вместе пересмотрели кучу мультиков, рассказывая друг другу по ходу просмотра о наших первых, детских реакциях на те или иные сцены. Когда мы смотрели «Фантазию», Ева поведала мне, что танец сатиров был когда-то для нее квинтэссенцией ее понимания любви и романтики: у каждого из сатиров имелся практически идентичный двойник, с которым они словно рождены были быть вместе. Я рассказал ей, что мне всегда нравилось «Маппет-шоу», «Эдвард Руки-ножницы» и «Кто подставил кролика Роджера», в которых как раз у влюбленных не было ровным счетом ничего общего, а их отношения были абсолютно непредсказуемыми и необъяснимыми. Как-то раз Ева поставила на паузу «Оклахому», чтобы рассказать мне, как ей нравилась в детстве песня «I'm Just a Girl Who Can't Say No» и то, как беззастенчиво героиня Глории Грэм пела о своей тяге к мальчикам.

Мы шутили, что вечно выбирали фильмы исключительно исходя из сексуальности актеров и определенных сцен, и надо сказать, что

правды в этой шутке было больше, чем, собственно, шутки. Ева всегда норовила взять напрокат любой фильм, в котором были Роберт Редфорд, Вайнона Райдер, Пол Ньюман или Сэм Рокуэлл, и так продолжалось ровно до тех пор, пока мы просто-напросто не исчерпали их фильмографии. Эти полные романтики и флирта фильмы все же «разговорили» Еву на тему ее бывших парней – она рассказывала мне о том, что сексуального они делали и говорили, причем все это казалось мне чем-то киношным и уж точно невыносимым лично для меня. В какой-то момент я спросил, не осталось ли у нее фотографий кого-нибудь из этих парней. Вначале она мялась, но потом все же решила, что я как-нибудь переживу, и, порывшись в своих памятных коробочках, вытащила несколько фотографий своих бывших. Надо сказать, все они были значительно красивее меня. Когда Ева спросила, почему я не ревную, я не сразу нашелся с ответом.

– Я не понимаю, что такое ревность, – сказал наконец я. – С какой стати мне испытывать что-то, кроме радости за тебя, узнав, что у тебя были отношения с такими красавцами? Вот если бы ты узнала, что я до тебя встречался с очень сексуальными и крутыми девушками, ты бы разве не порадовалась за меня?

– Порадовалась бы, – совершенно неискренне ответила Ева.

Однажды вечером она поставила на паузу «Кошку на раскаленной крыше» и рассказала мне об одном из ее бывших, который вел себя точно так же, как герой Пола Ньюмана – так же сводил с ума своей пренебрежительностью и заставлял ее за собой бегать. В какой-то момент она узнала от кого-то из общих знакомых, что за год до этого его невеста разбила насмерть на мотоцикле. Когда Ева подняла эту тему в разговоре с ним, он ушел в отказ, сказал, что она спятила, и стал обвинять ее в каких-то совершенно посторонних проступках. После всего этого он все же сломался и признал, что так все и было. В итоге он пропал и перестал отвечать на ее звонки.

– Он боялся открыться тебе, – заметил я.

– Да знаю! – ответила она так, словно я сказал нечто абсолютно очевидное. Впрочем, может, так и было.

– Подумать только. Вот представь, – продолжил я, – что твоя девушка умерла и ты не хочешь, чтобы кто-то об этом узнал. И

пытаешься скрыть от глаз окружающих самый яркий опыт в твоей жизни!

Зеленые глаза Евы глядели на меня со смесью печали и злости.

– Мне не нужно этого себе представлять – я так и живу. А ты этого даже не замечаешь.

Вскоре после этого разговора мы с ней сидели дома и слушали состряпанную мною подборку моего любимого ду-вопа и медляка, и в какой-то момент заиграла «To Know Him Is to Love Him» группы The Teddy Bears. Говорившая что-то Ева прервалась на полуслове, вслушиваясь в слова песни. К концу записи мы оба уже рыдали навзрыд. Мы понимали истинное значение этой песни для нас: не смотря ни на что, Ева все еще хотела, чтобы я узнал ее по-настоящему. Когда отзвучали последние ноты песни, я неуклюже и бестолково нарушил установившуюся волшебную тишину очередной очевидной банальщиной:

– Мы нашли «нашу» песню!

Ненужные уроки безнадежности

Вскоре у нас обоих стали возникать проблемы с работой – фриланса на жизнь стало не хватать. Ева уговаривала меня устроиться куда-нибудь, на что я столь же упорно отвечал, что не умею проходить собеседования, а даже и получив работу, не смог бы долго оставаться в штате, поскольку плохо лажу с людьми.

– Уверена, у тебя получится найти нормальную работу, если ты попытаешься хорошо себя вести, – сказала она. – Ты ведь умеешь быть абсолютным очаровашкой.

– Потенциальным работодателям обычно так не кажется, – ответил я.

В конце концов ей все это надоело, и она сказала мне:

– Да разберись ты хоть как-нибудь уже с этой проблемой наконец! Придумай что-нибудь!

И вот, впервые с тех пор, как я только переехал в Нью-Йорк четыре года назад, я стал искать постоянную работу.

У меня на тот момент уже имелся некоторый опыт работы с детьми, иногда я даже ходил на занятия младшекласников со своей укулеле и сочинял вместе с ними песенки. Плюс у меня в портфолио имелось некоторое количество книг для детей и подростков, написанных мною в рамках программы по ликбезу, работы «литературным призраком» и прочих подработок. Пара друзей сумели свести меня с людьми, которые занимались музыкой в школах.

Один из моих знакомых пригласил меня для проверки поработать пару дней его ассистентом в детском саду. Надо сказать, мне безумно нравилось наблюдать за социальными взаимодействиями этих трех-четырёхлетних ребятишек. Как-то раз тот мой знакомый разнял двух дерущихся мальчишек и задал им простой вопрос: «Что здесь происходит?» Ни тот, ни другой так и не смогли толком ответить. Впрочем, на такой вопрос редко могли вразумительно ответить даже взрослые люди. Дети, к слову, быстро успокаивались, если их выслушать; они достаточно охотно рассказывали о своих чувствах и им нравилось, когда их кто-то слушает, даже если сказать было особо нечего. С музыкой, однако, все вышло куда печальнее. Детям выдавали барабаны, ксилофоны и игрушечные фортепиано, а те принимались

немелодично брэнчать на них и стучать, и ни один из них не был способен связать хоть две подходящие ноты вместе. Учитель музыки фальшиво пел, перекрикивая всю эту жуткую какофонию. Словом, музыкой это было назвать сложно.

Проработав там несколько дней, я пришел на собеседование с завучами и рассказал им обо всех своих наблюдениях и о своих соображениях на тему занятий музыкой.

– Всего-то нужно выдавать детям подходящие друг другу инструменты, настроенные в одной тональности, – посоветовал я, – И тогда у них сразу станет получаться что-то хоть отдаленно похожее на музыку. Если все хорошо рассчитать, то будет даже вполне приятно для слуха.

– Интересно, – ответили мне. Обычно это слово в таких ситуациях используется людьми для обозначения полного отсутствия у них интереса к происходящему.

– Правда, сделайте так, как я посоветовал, – сказал я женщине, которая проводила собеседование. – Вне зависимости от того, возьмете вы меня на работу или нет.

– Мы подумаем, – ответила она, подразумевая, что она и не подумает подумать, и вообще, дескать, «проехали».

Но вместо того, чтобы забыть обо всем этом, я упорно пытался понять, чем ей не понравилось мое предложение.

– Дело в стоимости новых инструментов? Наверняка вы сможете подыскать что-нибудь недорогое.

– Нет, уверяю вас, с финансированием у нас все в порядке, – ответила она.

– Значит, это принципиальная позиция? – сделал вывод я^[69]. Она взглянула на меня так, словно я ей нахамил.

– Дело так-то не во мне, – добавил я. – Просто нужно, чтобы у детей остались приятные впечатления от первых занятий музыкой. На данный момент у них откладывается в памяти только какофония – это вряд простимулирует их заниматься музыкой в будущем. Вы даете им ненужные уроки безнадежности.

Короче говоря, меня не взяли.

Во втором детском саду, куда я подал заявление, меня на собеседовании встретила веселая розовощекая и седовласая женщина в костюме. В каждой из комнат вокруг пели или ставили

импровизированные спектакли хорошо одетые дети. Молодые и заинтересованные учителя читали вслух ахающим и смеющимся ребятам. Стены были украшены милыми детскими рисунками и комиксами. Единственной моей претензией к этому чудесному заведению было то, что предназначалось оно исключительно для детей с весьма обеспеченными родителями.

– Вот бы все детские сады были такими, – сказал я той женщине.

– Спасибо, – поблагодарила она, не поняв моего намека.

– В смысле, вот бы государственные детские сады были такими, – пояснил я. – Не только частные.

– Спасибо, – повторила она, все так же не понимая истинного смысла моих слов.

Изначально я подавал заявления лишь потому, что мне требовалась постоянная работа, чтобы успокоить Еву, но идея проводить занятия музыкой с детьми меня не на шутку заинтересовала. Я действительно хотел получить эту должность.

Я проследовал за той женщиной в тускло освещенный лампой дневного света конференц-зал, где за вычурным массивным деревянным столом сидели, ожидая меня, трое человек в дорогих костюмах. Увидев меня, они тут же уставились на мой футляр с укулеле.

– Я принес укулеле, чтобы сыграть вам пару песен, которые написал вместе с детьми в других детских садах, – пояснил я.

Сидевшие за столом нервно переглянулись.

– Эм-м, – произнес один из них, – вообще-то мы не собирались слушать, как вы играете.

Поставив футляр на деревянный пол, я сел по другую сторону стола от них, изо всех сил борясь с желанием поинтересоваться, исходя из чего они собираются нанять учителя музыки, если не собираются слушать его игру.

– Ладно, хорошо, – сказал я. Мои собеседники явно уловили в моем голосе осуждение. – Просто я много песен написал с детьми, и многие из них вышли очень забавными и действительно красивыми. Я думал, что, сыграв парочку, смогу убедить вас, что подхожу для этой работы.

Сидевшие по другую сторону стола напряглись – ни один из них явно не горел желанием быть тем, кому придется мне как-то отвечать.

Я, в общем-то, уже понимал, что собеседование не имело дальнейшего смысла. Я встал и подобрал футляр с укулеле.

– Ну, нет так нет, – сказал я.

Женщина, которая привела меня в этот зал, скривилась.

– Что вы имеете в виду?

– Да перестаньте, – ответил я. – Всего два предложения – и все уже пошло не так. Не вижу никакого смысла сидеть тут и скрывать свои чувства, пока вы будете проводить собеседование ради чистой формальности, следуя протоколу.

– Н-да. Ну хорошо, – сказал один из сидевших за столом.

– Вы уверены? – спросила другая. Этот вопрос показался мне в особенности странным и бессмысленным. Она что, ожидала, что я после такого сяду обратно и вернусь к собеседованию?

– Совет на будущее, – сказал я. – Все же давайте соискателям на должность учителя музыки играть перед вами. Хотя бы сами немного порадуетесь. Может, вам даже понравится. Но это только если вы любите музыку, что не факт. Любили бы – просили бы, наверное, соискателей вам сыграть.

Сидевшие за столом выглядели так, словно я только что прямым текстом послал их куда подальше. Я же в своем предложении послушать детские песенки не видел никакого «пошли вы».

Когда я рассказывал обо всем этом Еве, та поочередно то смеялась, то соглашалась с моими доводами, то злилась на меня.

В конце концов я сдался и окончательно уверился в том, что ни одному работодателю я не нравлюсь. У меня родилась другая идея – давать частные уроки игры на укулеле прямо из дома. Ева разработала для меня дизайн листовок, а я сам сделал рассылку с рекламой уроков по адресам всех фанатов моего альбома. Несколько учеников нашлось сразу же. Потом один популярный бруклинский блогер написал о моих уроках, что привело еще с десятков человек. Я начал ежедневно получать электронные письма от новых потенциальных учеников. Выяснилось, что с некоторых пор по запросам «уроки укулеле нью-йорк» и «уроки укулеле Бруклин» поисковик в первую очередь выдавал тот самый пост о моих уроках. Вскоре я проводил занятия аж с двадцатью учениками в неделю, что, естественно, оказалось куда выгоднее любого из моих прежних трудоустройств. Моим ученикам требовалось понимать, над чем им работать и как именно

совершенствовать свои навыки; хоть раз в жизни моя честность сыграла мне на руку.

Лучшее, что есть в расставании

В 2006 году Ева снова поехала с нами в семейный лагерь и еще больше привязалась к моей семье. Все мои родственники, в свою очередь, так сильно ее полюбили, что ее имя стало мелькать практически в каждой их фразе, обращенной ко мне. Отец даже представлял ее другим как будущую мать его внуков. Как-то раз он прямо спросил у нее, не смущают ли ее его обильные похвалы.

Постепенно узнавая нас все лучше и лучше, Ева начала утомлять меня постоянными интерпретациями наших слов и поисками скрытого в них смысла. После того второго года она стала единственным человеком, достаточно близким, чтобы хорошо нас понимать, но при этом достаточно далеким от нас, чтобы иметь возможность трезво оценивать нас со стороны; словом, настоящим экспертом в области наших семейных взаимоотношений.

Однако теперь каждый раз, когда я чем-то злил ее, она принималась честно говорить мне о своих мыслях и чувствах, но уже с привлечением семейных проблем и психологии, подобно настоящему психологу, только со злостью.

– Твой отец не признавал твоих чувств, когда ты был ребенком, и не давал тебе нормально злиться. И в результате теперь ты ведешь себя так, словно считаешь чувства окружающих дурацкими и ненужными. А это вовсе не так!

– Ты не можешь играть роль моего психолога, когда злишься! – отвечал я. – Это прямо противоречит смыслу сеансов психотерапии!

Когда ей не удавалось меня переубедить^[70], я просто говорил, что мне жаль, что у нас возникли разногласия.

– Ты просто феноменально отвратительно извиняешься, – отвечала она на это.

– Не соглашаться друг с другом – это нормально! Нам вовсе не обязательно соглашаться по любому поводу, – говорил я ей. – Это все равно что тебе обижаться на мою нелюбовь к кокосам!

Да, с течением времени я выработал собственную вариацию «шоколадной защиты».

– Если я должен извиняться за те или иные свои убеждения, которых ты не разделяешь, то почему это не работает в обратную сторону,

скажи мне?

В тех случаях, когда ее аргументы все же доходили до меня, я говорил:

– Ладно, я понял. Ты права. Ты заставила меня передумать. Спасибо, что потратила столько времени и сил на то, чтобы все мне объяснить. И прости, что тебе пришлось всем этим заниматься. Больше не повторится.

Но моими извинениями такие споры и ссоры никогда не заканчивались.

– Твои извинения звучат еще хуже, когда они искренни, – говорила она. – Как будто фактологическую ошибку в тексте исправляешь!

Мы ссорились все чаще и чаще. Я стал называть это «несовместимостью мировоззрений».

– Ты считаешь, будто имеешь право требовать, чтобы я изменился и стал таким, как тебе нравится, – сказал я ей как-то. – Значит ли это, что я имею право требовать от тебя того же? Могу я требовать от тебя большей терпимости?

Ева сузила глаза, а затем смягчилась.

– Ты ведь считаешь, что нельзя просить человека измениться, исходя из детского понимания, что твой собственный отец никогда не изменится.

– Что ж, – ответил несколько не смягчившийся я, – отец, критикуя меня, хотя бы открыто говорил мне, что думал, и позволял мне делать выводы и принимать решения самому. Ты же критикуешь меня точно так же, но при этом ведешь себя так, словно я сам обязан каким-то образом угадать, каким тебе хочется меня видеть, и стать таким. Это гораздо более жестоко, чем то, что делал отец.

– Я совсем не похожа на твоего отца, – внезапно пошутила Ева. – Это ты на него похож!

Я поддержал шутку.

– Нет, это ты на него похожа!

С Евой никогда нельзя было предугадать, когда очередная ссора превратится в шутку, а шутка – в ссору. В итоге это все равно оставалось на ее усмотрение, но, надо сказать, что значительная часть наших ссор заканчивалась именно общим смехом.

Как-то раз Ева прервалась на полуслове посреди очередной нашей ссоры и сказала:

– О нет. Это что же, получается, кончилась наша беззаботная юность?

Мы оба прыснули.

– Кто вообще решил, что юность бывает беззаботной? – покачала головой Ева. – Все-таки тот, кто придумал это выражение, явно был не в своем уме^[71].

А в другой раз прямо посреди приступа хохота, которым закончилась наша очередная ссора, Ева взяла и внезапно сумела выйти за пределы шаблона, прямо сказав мне о своих потребностях:

– Я знаю, что ты обо мне заботишься, ты просто своеобразно это показываешь. Просто было бы здорово, если бы ты иногда делал это более привычным мне способом.

Вскоре после этого, как-то раз вернувшись домой, я обнаружил на кровати написанное от руки письмо, в котором Ева сообщала, что уходит от меня. Хотя я и знал, что рано или поздно этот день придет, знал еще тогда, три с половиной года назад, когда мы только начали встречаться, я все равно опустил на кровать, всхлипывая, и перечитал это письмо еще раз десять. В нем она писала обо всем, через что мы с ней прошли рука об руку, с невероятной теплотой и даже некоторой ностальгией по уже ушедшей эпохе. Меня утешало хотя бы то, что мы расстались мирно и без ненависти, в отличие от большинства таких пар. Я надеялся, что мы с ней сможем остаться друзьями, что мне удастся удержать ее хоть в этом качестве в своей жизни. Я понимал и принимал ее решение, и мне хотелось попрощаться с ней достойно, показать, что не держу на нее зла и знаю, в чем я был неправ, и надеюсь сделать выводы из своих ошибок.

Я думал о словах Евы на тему выказывания ей заботы так, как ей привычнее. Как-то она упоминала, что любит цветы. Я тогда выдал типично отцовскую обличительную тираду на тему того, сколь смешны социальные стереотипы, связанные с цветами, свечами и всем прочим, что считается общепринято романтичным. Я смеялся над тем, сколь большое значение общество придает вещам, которые легко продаются, покупаются и вручаются порой просто так, из прихоти, а не из истинного чувства, и которые не способны подчеркнуть личность человека и характер отношений.

– Правда? – ответила мне тогда Ева. – Тогда перечисли мне все особенное, личное и романтичное, что твой отец дарил твоей маме

вместо цветов.

Я признал, что никогда не был свидетелем каких-либо проявлений романтики по отношению к маме с его стороны.

– У меня все, – кивнула тогда Ева. Так что теперь я решил купить ей цветов, зная, что она наверняка поймет истинное значение этого жеста.

Я отправился в цветочный магазин и уже там, слегка подмерзая на поддерживаемом в помещении влажном холоде и путаясь в мощных запахах, сменявших друг друга, едва я делал шаг в сторону или поворачивал голову, я осознал, что понятия не имею, какие именно цветы нравились Еве. Она не один год регулярно покупала цветы и ставила их в вазы в нашей квартире, но я никогда к ним не приглядывался и не спрашивал их названий. Мне казалось, что я хорошо знал ее, потому что слушал ее рассказы о себе, о многом спрашивал ее мнения и мог перечислить ее любимые фильмы и песни, но лишь тогда, стоя в цветочном магазине, я понял, что знал о ней лишь то, что было интересно мне самому. Ей же, вероятно, хотелось, чтобы я узнал ее лучше. Расплакавшись посреди магазина, я все же взял гортензий и пробил их на кассе у весьма обеспокоенно и сочувственно глядевшей на меня продавщицы.

– Не переживайте за меня, – сказал я ей. – Я сам виноват.

В письме Ева упоминала, что побудет пару дней у своей сестры. Я решил оставить цветы вместе с ответной запиской на кухне, чтобы она увидела их, когда вернется. Однако, поднявшись к себе в квартиру, я обнаружил Еву уже сидящей на диване. Увидев в моих руках завернутый букет, она моментально вскочила на ноги.

– Ты купил мне гортензии? – выдохнула она, крепко обняла меня и сказала, что вернется, потому что все еще любит меня и просто не сможет меня бросить. Сказала, что ее очень тронул мой подарок, что она недооценивала мою к ней внимательность – оказалось, что гортензии были одними из ее любимых цветов. Я тут же честно признался, что выбрал их практически наугад, и что мне просто повезло, рассказал, как плакал, стоя посреди цветочного магазина. И вот мы снова были вместе.

Однако уже через несколько месяцев мы снова стали ссориться, причем еще чаще и пуще прежнего. Я раз спросил Еву:

– Как думаешь – ты стала меня сильнее критиковать потому, что я стал меняться к худшему? Или потому, что мы уже так долго вместе,

что теперь тебя стали раздражать вещи, на которые ты не обращала внимания раньше? Или это просто ты сама стала более открыто выражать свое мнение?

– Иногда одно, иногда – другое, временами – третье, – ответила она. – А иногда и все разом.

В конце концов однажды я нашел дома новое письмо, практически идентичное первому. Однако, как и в первый раз, не прошло и дня, как Ева вернулась, заявив, что любит меня, не может без меня и никогда больше от меня не уйдет.

К весне 2007 года Ева уже бросала меня примерно раз в пару месяцев, а то и чаще. Как-то раз в одну из «пересменок» я даже пошутил, что нам, наверное, стоило бы сделать «нашей» песню о том, что лучшее, что есть в расставании – это примирение.

Ева не рассмеялась, а лишь посмотрела на меня печально.

– Мне правда нравится мириться.

Ева с детства страдала ипохондрией. Она рассказывала, как однажды в детском саду подслушала разговор взрослых о СПИДе. Она, конечно же, ни малейшего понятия тогда не имела о том, что это такое, но почему-то решила, что у ее родителей он либо уже есть, либо точно будет. В результате она не спала ночами, ворочаясь в постели и думая о СПИДе; дошло даже до того, что она начала откровенно клевать носом на занятиях. Когда ее мама спросила, что с ней происходит, маленькая Ева разрыдалась и сказала, что не может спать, потому что у нее СПИД. Прошедшие с тех пор двадцать лет немного изменили в этом отношении – она все еще жила в состоянии практически перманентной паники по поводу наличия у нее рака или любого другого недуга, о котором она только что где-то услышала или вычитала в интернете.

Как-то раз, когда мы лежали на диване, она, положив голову на изгиб моего плеча ближе к шее, спросила, брошу ли я ее, если выяснится, что у нее рак. Я всегда нервничал, когда мне задавали подобные гипотетические вопросы, еще с самого детства, когда меня стал приучать к ним отец. Однако в случае с Евой все обстояло куда хуже и опаснее: неправильный ответ на теоретический вопрос о моем

решении несуществующей проблемы вгонял ее едва ли не в полноценную депрессию. И все же я твердо верил в то, что у нее было право задавать вопросы и что я обязан был на них отвечать.

– Ни ты, ни я не можем себе представить наших чувств, мыслей и действий в такой ситуации, – ответил я, вероятно, выдавая своим голосом некоторую степень отчаяния. Ева резко приподняла голову. – Никто не способен спрогнозировать, как поведет себя в такой чрезвычайной ситуации! – продолжил я. – Может, у тебя случится нервный срыв, может, это ты меня в такой ситуации бросишь.

Ева снова легла головой на мое плечо.

– Знаю, – ответила она. – Но все равно мне хотелось, чтобы ты сказал, что никогда не бросишь меня.

К тому моменту она уже научилась прямым текстом сообщать мне, что именно я должен был сказать.

– Ты просишь меня пообещать того, чего пообещать нельзя, – сказал я.

– Но это ведь не ложь, – не унималась она. – Это просто изъявление надежды.

– Вот ответь мне теперь ты, – сказал я. – Забудь про рак и ответь: ты меня бросишь в какой-то момент, даже если у меня не будет рака?

Ева виновато опустила глаза.

– Все-таки, – добавил я. – Ты меня не раз уже бросала, и, заметь, никакой рак в качестве мотива тебе не требовался.

– Ох, Майкл, – вздохнула Ева. Пара капель упала на воротник моей рубашки. – Иногда я просто запутываюсь и теряюсь. Но я никогда всерьез тебя не оставлю.

Эти слова из ее уст прозвучали столь искренне, что я даже почувствовал себя неправым. Я откинул голову назад и стал рассматривать наш жестяной потолок.

– Я люблю тебя, – добавила она, – и всегда буду любить.

Теперь пришла уже моя очередь расплакаться. Я крепко прижал ее к себе, отчаянно веря в ее обещание и зная, что она не сможет его сдержать. Она подняла голову и улыбнулась мне.

– Вот видишь? Проще простого.

Воровская честность

Дело было около трех утра – я стоял в одиночестве на безлюдной загаженной платформе в Бауэри и ждал поезда. В какой-то момент я обратил внимание на блондина в заляпанной чем-то оранжевым белой футболке – тот быстро шел по направлению ко мне, держа одну руку за спиной. Надув губы и выдвинув челюсть, чтобы меня напугать, он сказал:

– А ну-ка пойдём, прогуляемся.

Несмотря на все его усилия, выглядел он скорее очень напряженным, нежели опасным. Я уже собирался сказать ему, что честность и открытость чувств вызывают гораздо большее уважение, нежели напускная крутость и мужественность, но тут он толкнул меня в плечо, развернув к себе спиной, и пихнул в спину, приказывая идти вперед.

Денег у меня с собой не было. Я слышал, что грабители часто убивали жертв с пустыми кошельками, но мне казалось, что в этой ситуации больше пострадает как раз мой грабитель, оказавшись в результате своих действий за решеткой. Я посчитал, что ответственность за предотвращение печальных последствий для нас обоих лежала на мне.

– Пока ты еще не начал, – предупредил я, – имей в виду – денег у меня нет.

– Заткнись и шагай, – ответил грабитель.

Второй части его приказа я подчинился, но вот заткнуться было выше моих сил.

– Как же все привыкли к тому, что им лгут! – продолжил я, обильно жестикулируя и повышая голос. – У меня очень честная семья, я всего дважды в жизни лгал, и все равно никто мне не верит!

Грабитель все еще подталкивал меня дальше, к концу платформы. Я начал распаляться.

– Наверняка же большая часть людей лгут, когда говорят, что у них нет денег, так ведь? Вот ты и решил, что и я туда же. Все следуют одному и тому же скучному сценарию: ограбленный лжет, хоть и знает, что ему все равно не поверят, грабитель, естественно, и не верит, и так

до тех пор, пока ты не оказываешься в тюрьме из-за пустого бумажника.

Упомянув тюрьму, я явственно почувствовал, как напряглась его рука, лежавшая на моей спине.

– Просто идеальный пример ситуации, когда лжец портит жизнь тем, кто верит окружающим и сам говорит правду.

Тут грабитель решил показать мне, что ему верить явно стоило – достав из-за спины вторую руку и протянув ее перед собой, он покрутил передо мной треугольным, похожим на маленький меч, ножом. Подобно остальным своим коллегам по цеху, этот человек выдавал информацию аккуратно и строго дозированно. Потом я подумал, что нож он до этих пор прятал, вполне возможно, с расчетом на возможные легальные последствия, рассудив, что, не покажи он мне ножа, он мог бы потом заявить, что ножа у него вовсе не было. Если бы он показал нож сразу, за такую честность он потом вполне мог получить по шапке от представителей закона.

В конце концов мы дошли до конца платформы.

– Выворачивай карманы, – приказал мужчина.

Увидев мой ветхий коричневый бумажник, он даже отвел глаза, не в силах смотреть на то, как я его открываю. Однако я все же открыл его и протянул своему грабителю – мне казалось, что ему должно было бы достать мужества хотя бы заглянуть туда, даже если ему уже не хотелось. Он отступил на шаг, глядя вниз на грязный настил платформы.

– Твою ж мать, – произнес он гораздо выше, чем прежде; было приятно наконец услышать его настоящий голос. – Твою мать!

Казалось, он бы расплакался, если бы не цеплялся так отчаянно за свой ненужный образ.

– А я ведь предупреждал, – сказал я. – Кстати, совет на будущее: грабить людей на платформе метро – не лучшая идея, тут камеры кругом. Несостоявшийся грабитель поднял глаза, явно придя в ярость. Его эмоциональная реакция на объективный факт была мне отвратительна – этот мнимый опасный преступник не мог даже спокойно выслушать критику от прохожего.

– Я просто говорю, как есть, – пожал плечами я.

Он бросился на меня, резко подняв руку с зажатым в ней ножом и остановив его острие у самого моего горла. Другой рукой он схватил

меня за затылок, прижав мою шею к лезвию.

– У меня для тебя тоже есть один совет, – сказал он. – Заткни пасть.

После этого я немедленно вернулся домой и рассказал Еве о том, как меня только что чуть не прирезали за честность. Мне эта история казалась просто уморительной, но Еве явно не было смешно – она выглядела крайне обеспокоенной.

– Майкл, – сказала она тогда. – Пожалуйста, не делай так больше. Представь, каково мне будет, если тебя убьют.

Игра в «страхи»

К тому моменту, когда до нашей с Евой третьей совместной поездки в лагерь в 2007 году оставалось всего несколько месяцев, наши отношения уже сами по себе напоминали что-то вроде круглогодичного семейного лагеря. Его подспудное влияние заставляло нас регулярно играть роль психотерапевта и пациента на приеме.

В какой-то момент наш полоумный арендодатель начал доставать нас, требуя от нас денег сверх того, что мы были ему должны, и отказываясь включать нам отопление и горячую воду. Жалобы в городскую администрацию не помогали, а денег на переезд у нас не было, да и слишком уж нам понравилось наше уютное гнездышко. Однажды он принялся колотить в нашу дверь и что-то неразборчиво кричать. Неприятно было даже мне, что уж говорить про Еву. В итоге я предложил ей сыграть в «страхи».

Игру в «страхи» мы придумали за несколько месяцев до этого инцидента. Я доставал листок бумаги и ручку, призванные заменить лагерную меловую доску, а Ева выписывала на него свои страхи.

– Мы бы не оказались в подобной ситуации, будь у нас деньги, – сказала она. – Но их у нас нет. И никогда не будет. Так и будем жить до самой смерти. Мы просто нищие неудачники.

Я слово в слово записал все это на листке бумаги.

– В результате отсутствие денег не позволяет нам завести детей, потому что мы не сможем обеспечить им нормальную жизнь.

Это я тоже записал.

– Если бы ты действительно хотел от меня детей, ты уже давно бы устроился на нормальную работу и нашел бы способ нормально

зарабатывать. А не делаешь ты этого потому, что считаешь наши отношения недолговечными.

На этом месте она разрыдалась.

– Ты не любишь меня, потому что я чудовище и ужасно веду себя с тобой. И вообще непонятно, что ты все еще здесь делаешь. Я снова и снова пытаюсь тебя бросить, а ты раз за разом терпеливо принимаешь меня обратно, а я вовсе этого не заслуживаю, потому что я ужасный человек.

Тут она все же сумела взять себя в руки.

– Но все это неважно – я все равно скоро умру от рака мозга.

– Ну ладно, пожалуй, хватит пока, – остановил ее я. – Давай-ка взглянем на получившийся список.

Мы придвинулись ближе друг к другу на диване, и я передал ей бумагу и ручку.

– Давай, поставь галочки напротив тех пунктов, которые так или иначе связаны с проблемами с нашим арендодателем.

Ева хихикнула.

– Бред какой-то получается. А сначала звучало ведь вполне разумно.

Вначале всех наших ссор никогда не было понятно, кто из нас окажется в итоге психологом, а кто – пациентом. Иногда мы даже менялись ролями по ходу разговора.

Несмотря на то, что я регулярно проводил уроки игры на укулеле и имел то, что вполне можно было назвать постоянным доходом, Ева упорно продолжала настаивать на том, чтобы я нашел себе работу.

– Я пишу и даю частные уроки – чем тебе не работа? – возразил я. – И если брать почасовой доход, то я за все это получаю больше, чем в любой должности, на которую меня могли бы взять. Не говоря уже о том, что мне нравится моя работа.

Ева приняла на себя роль координатора.

– Какие чувства у тебя вызывают мои предложения найти работу в какой-нибудь компании?

– Ну, – задумался я, – то же самое мне говорят все окружающие, весь социум твердит мне, что жить вне общепринятых норм – глупо, что рано или поздно меня постигнет неудача, и поделом мне. У меня такое чувство, что ты выступаешь против меня заодно с остальными.

– Тебя послушать, так все общество просто спать не может – только бы тебе насолить, – заметила Ева.

– Так и есть! – ответил я. – Люди в массе своей представляют собой одну большую толпу и действуют в некотором роде сообща, это правда! – я размахивал руками, как типичный обитатель семейного лагеря на сеансе. – Если пойдешь против воли общества, оно рано или поздно тебе отомстит. Если ты будешь зарабатывать, сидя дома, вместо того, чтобы стать винтиком в корпоративной машине, социум изо всех сил постарается сделать так, чтобы ты не смог попасть на прием к врачу, чтобы тебя не уважали твои потенциальные друзья и любовники и чтобы твой некролог потом выглядел так, словно ты вообще ничего в этой жизни так и не добился. Если ты не склонишь голову перед социальными догмами твоей культуры, твоего народа – они сделают все, чтобы сгноить тебя и заставить тебя голодать, пока ты не примешь их правила игры.

Теплое, «сеансовое» выражение лица Евы сменилось одним долгим закатыванием глаз, но я все же решил закончить свою речь:

– И когда ты злишься на меня из-за моей работы, я чувствую, будто социум словно нашептывает тебе на ухо, что я неудачник, надеюсь, что ты ему поверишь и уйдешь от меня.

Ева фыркнула.

– То есть, если я хочу, чтобы ты нашел себе работу получше, то мне, стало быть, промыли мозги и сделали меня пешкой злого и нехорошего капитализма?

– В твоей формулировке звучит смешно, – признал я, – но да, так и есть.

Тут Ева все же сорвалась.

– Знаешь, если я от тебя уйду, то ты, конечно, будешь винить меня, общество – что угодно; но имей в виду, так, для справки – виноват в этом будешь только ты.

Это ее «если» прозвучало скорее как «когда».

Помимо ипохондрии и постоянных нервных американских горок, еще одной ложкой дегтя в нашей жизни была ревность – Ева имела тенденцию произвольным образом иногда решать, что я непременно тайком от нее встречаюсь с какой-нибудь из наших общих знакомых. Причем чем активнее я отрицал наличие у меня чувств к той особе, что в конкретный момент представляла для Евы воображаемую угрозу, тем, по ее словам, подозрительнее это все звучало. Кстати, как ни странно, но под ее подозрение попадали исключительно те

представительницы прекрасного пола, к которым меня вовсе не тянуло. Про женщин, которые действительно мне весьма нравились, Ева не говорила ни слова – то ли боялась, что я признаюсь, спроси она о них, то ли ей просто нравилось слышать от меня уверения, что кроме нее у меня никого нет и быть не может.

Все это вдобавок существенно осложнялось тем, что сама Ева не особенно стеснялась проявлять собственные чувства по отношению к нашим общим знакомым мужского пола. Иногда она впадала в депрессию, а иногда наоборот кидалась на меня с мучительными вопросами на тему того, не стоит ли ей побыть с кем-нибудь другим. Я обычно отвечал что-то вроде:

– У меня совета спрашивать не стоит – мое мнение предвзято, поскольку я тебя люблю и хочу, чтобы ты осталась со мной.

По ходу таких дискуссий Ева часто находила повод на меня разозлиться, но часто не могла обозначить конкретную причину своей злости. Как-то раз она рассердилась на то, что я недостаточно остро отреагировал на ее проявление чувств по отношению к другому мужчине. Она настаивала, что мое отсутствие ревности означало, что я ее не люблю. Я ответил, что очень даже остро реагирую, просто бросаю все свои силы на то, чтобы успокоить ее. В ответ она разозлилась уже на то, что ради ее чувств я подавляю собственные. Я послушно сосредоточился на своих чувствах и рассказал, насколько сильной была моя реакция. После этого она обвинила меня в эмоциональном шантаже. Когда я ответил, что хочу, чтобы она поступала так, как желает сама, чтобы ей стало лучше, она снова разозлилась из-за отсутствия ревности с моей стороны, и так по кругу^[72].

Как-то раз мы с Евой лежали вдвоем на диване после очередного безрезультатного «расставания», и она спросила прямым текстом, представлял ли я когда-нибудь в своей постели кого-либо из наших общих знакомых женщин. Вопрос был не просто с подвохом, а с целой прикрытой от глаз пропастью, поскольку мы едва помирились после расставания именно на почве ревности. Меня прямо оторопь взяла от того, как быстро эта тема опять всплыла. Однако сам вопрос был задан тихо и мягко, словно она находила нечто романтическое в том, чтобы узнать мои самые опасные для наших отношений и самые потаенные фантазии и желания.

– Не волнуйся, все в порядке – я тоже представляю себя с другими, – добавила она. – Все так делают.

Я собирался сказать, что я всю жизнь это делал до встречи с ней, что в таких фантазиях я находил комфорт и утешение, которого не мог получить от окружающих. Я хотел было выдать целую речь на эту тему, но вовремя одернул себя. Да, Ева дала мне четкое разрешение на то, чтобы я сказал правду, но зачем ей потребовалось об этом спрашивать, если она действительно верила в то, что так делают все?

Она лежала и смотрела прямо на меня, так что соображать требовалось быстро. В тот момент я сам себя возненавидел уже за то, что вообще задумался, отвечать ли правду. Я представил себя самого лгушим, представил свое лицо. Я видел такие скользкие лица у других людей. Обычно они выбирали ложь.

Если бы я солгал, она бы точно меня раскусила. Но у меня было омерзительное подозрение, что она *хотела*, чтобы я солгал. Меня даже замутило; слова не желали слетать с уст. Со стороны, должно быть, это выглядело так, словно я то ли запинался, то ли мямлил, то ли и то, и другое одновременно.

– Я не представляю себя в постели с другими, – сказал я наконец, полноценно солгав в третий раз за всю свою жизнь^[73].

Ева ослепительно улыбнулась и крепко обняла меня, слегка смутив таким бурным проявлением радости. Первой моей реакцией были ужас и отвращение из-за того, что она мне поверила, и порыв все же сказать ей правду. Но затем мне в голову пришла другая мысль: быть может, она и не поверила вовсе. Возможно, ее так тронуло именно то, что я солгал ради защиты ее чувств. Меня буквально распирало желание спросить, поверила она мне или раскусила мою ложь, но поняла ее мотивы и оценила их. Однако, я прекрасно понимал, что этот вопрос все испортит, и потому промолчал, гадая, такие ли ситуации имеют в виду люди, утверждающие, что любовь иногда оправдывает ложь.

Я сам в младенчестве

Всю дорогу через горный хребет по направлению к лагерю Ева провела, настаивая, чтобы я честно сказал отцу, что мое мнение о нем изменилось за эти годы и что я уже не хотел быть похожим на него.

– Да не могу я просто так взять и сказать ему об этом, – ответил я, ловя себя на этом подозрительно общечеловеческом «не могу сказать». – Он просто ответит, что я сбрендил. Может, даже не станет со мной вообще больше разговаривать.

Ева погладила меня по плечу.

– Он никогда так не поступит.

– Ой ли? – все еще сомневался я. – Мои родственники – необычные люди. Иногда кто-то из них перестает с кем-то разговаривать. Вон сестра отца – не разговаривает с ним уже пятнадцать лет. И упорно отказывается объяснить причину. Оказываясь в одном помещении, они стараются сохранять максимальную дистанцию.

– Уже сам факт того, что ты считаешь, будто, услышав от тебя о твоих истинных к нему чувствах, твой отец перестанет с тобой разговаривать, подтверждает, что вам все же стоит это обсудить, – заявила Ева.

Уже в лагере я попросил отца отойти и поговорить со мной. Мы вышли на узкую тропинку, огибавшую лагерь – идеальное место для долгих и серьезных разговоров: по ней можно было идти часами, зная, что мимо тебя не проедет ни одна машина и никто тебе не помешает. Лес вокруг заслонял нас от яркого солнца и создавал приятную атмосферу шумом бегущего ручья, пением птиц и шелестом ветра в листьях.

Мы прогуливались с папой по незаселенной части леса. Меня начинало слегка подташнивать уже при одной мысли о том, что я собирался ему сказать. Я не помнил, чтобы хоть раз за всю мою жизнь перспектива сказать кому-то правду вызывала у меня такую нервозность. Начать этот разговор можно было миллионом различных способов, и выбирать подход требовалось крайне тщательно – я чувствовал, что буквально все в тот момент зависело от ясности и четкости моего изложения. Я мысленно готовился к тому, что этот разговор окажется нашим последним.

Раньше, собираясь сказать то, что наверняка будет воспринято собеседником в штыки, я относился к своей речи как к простому физическому действию – словно я не говорил с человеком, а опускал письмо в почтовый ящик. Слова слетали с моих уст так, словно ровным счетом ничего не весили.

– Мне кажется, ты не всегда был честен со мной, – произнес я наконец.

– Что-то не припоминаю такого, – ответил папа. Надо сказать, что, вспоминая что-нибудь, он обычно смотрел вверх и вправо. В тот раз он глядел прямо перед собой.

– Уж не знаю, лгал ты сознательно, – продолжил я, – или, что мне кажется более вероятным, просто пересказывал мне ту ложь, в которую когда-то сам себя убедил поверить.

– Например? – закономерно спросил отец.

Я чувствовал, что исход всего этого разговора зависел от правильного выбора этого самого примера. В наших разговорах о моем прошлом с Евой таких примеров в сумме всплыл не один десяток, но мне пришлось все же выбрать один-единственный, и я не был уверен, что выбрал правильно.

– Когда я был маленьким и мы с тобой ходили в синагогу, – начал я, – ты задавал мне гипотетические вопросы и подвергал осмеянию каждый мой ответ. Ты вел себя так, словно я мог заслужить твое уважение, ответив правильно, но ты никогда не показывал, что гордишься мной, и не признавал моей правоты.

– А что я, по-твоему, должен был сделать? Притвориться, что считаю тот или иной твой ответ правильным?

Отец ускорил шаг и мне пришлось подстраиваться под его темп, как в ходе тех самых прогулок до синагоги.

– В ходе дебатов не принято признавать, что оппонент прав, и уж тем более говорить, что гордишься им, – добавил он.

– Я не был твоим оппонентом, – произнес я уже слегка надтреснутым голосом. – Я был твоим сыном.

Папа даже и не думал замедлить шаг.

– Было бы лицемерно с моей стороны давать тебе какие-либо преференции лишь из-за того, что ты мой сын.

Эти слова словно упали кирпичом мне куда-то в район желудка. Тут отец все же остановился.

– Не знаю, что еще тебе сказать.

Он молча пожимал плечами, словно в ответ на каждую мысль, приходившую в этот момент ему в голову.

– Если ты только об этом хотел поговорить, то я даже не знаю, что нам осталось обсуждать, – сказал он. – Прости, конечно, но если таков твой уровень мышления, то лучше уж молчи и не говори вовсе.

Вернувшись к столам для пикника, я сказал Еве, что поговорил с отцом. Она расплакалась и обняла меня.

– Я безумно тобой горжусь, – сказала она. – Ты очень смелый.

Мы обнимались с ней, наверное, не меньше минуты. В тот момент я понял, почему многим людям нравятся такие долгие, молчаливые объятия.

Я пересказал Еве наш с папой разговор. Она слушала, прикусив губу – из всех выражений ее лица это отражало наивысшую степень разочарования.

– Я думала, что он найдет ответ получше, – сказала она, когда я закончил.

– Ты нас переоцениваешь, – ответил я.

Вечером, после ужина, большая часть обитателей лагеря гуляла по лесу, играла друг с другом в карты или просто тихонько общалась на личные темы маленькими группками по два-три человека. Вернувшись из туалета, я нашел Еву потрясенной и совершенно сбитой с толку.

– Твой отец только что тут был. Он плакал, – сообщила она.

– Что-нибудь сказал? – поинтересовался я.

– Сказал: «Спасибо тебе огромное за то, что ценишь Майкла и понимаешь его. Я не знаю, как показать, что люблю его. Что ж, хоть кто-то в его жизни знает, как это делается». А потом обнял меня и расплакался.

– Не знаю, что и думать, – признался я.

– Думать, что ваш разговор оказался не напрасен, что же еще? Ты постепенно начинаешь решать ваши семейные проблемы! – сказала Ева. – Может, поучаствуешь в сеансе?

– Нет, только не это, – выпалил я. – Ты правда хочешь, чтобы я «поработал» по этому поводу?

– Да, хочу! – ответила Ева. – Сколько лет ты уже приезжаешь сюда и не участвуешь в сеансах?

Я быстренько подсчитал в уме.

– Одиннадцать, считая этот.

– И за все эти годы ты ни разу не «работал» здесь? – удивилась Ева. – Пора бы уже начать!

– Не хочу – меня заставят улечься на коврик и играть роль себя самого в детстве.

– Ой, да перестань! – рассмеялась Ева.

– Но я правда не хочу играть себя самого в детстве! – настаивал я.

Но Ева не сдавалась, и в какой-то момент я решил, что, может, и впрямь попробовать стоило. В конце концов, я к тому времени и так уже постоянно следовал советам Евы, и пока что она во всем или почти во всем оказывалась права. На худой конец, это хотя бы могло показать ей, что я готов меняться и идти на компромиссы. Чисто теоретически, это могло помочь с проблемой наших постоянных «расставаний».

На следующем сеансе я поднял руку, когда Макс пригласил добровольца выйти на «сцену». Пока я шел вперед, до меня доносились шепотки и даже смех. Возможно, все эти люди, подобно Еве, много лет ждали, когда же я наконец выйду «работать» сам. Или, быть может, они решили, что мое выступление будет как-то связано с печально известным лагерным скандалом Левитонов, и ждали новой местной сенсации. А может они просто болели за меня, искренне желая мне осознать собственную несносность и избавиться от нее.

– Итак, Майкл, – начал Макс, – как дела?

– У меня много проблем, – ответил я. – И многие из них, как мне кажется, связаны с моим отцом.

Собравшиеся зашевелились с явным интересом. Я вполне мог понять их желание увидеть меня в эмоциональном раздрае – я сам находил такое зрелище в отношении других людей весьма привлекательным.

– Я хотел бы перечислить их все, – продолжил я. – Но, боюсь, на это уйдет не меньше часа.

Зрители от души засмеялись.

– Когда начнешь, может оказаться, что все эти проблемы – лишь разные грани одной и той же сути, – сказал Макс. – В таком случае у тебя получится донести до нас твою мысль гораздо быстрее, чем ты думаешь.

– Да, прошу вас, остановите меня, если я начну повторяться, хорошо? – попросил я. – Мне вообще всегда казалось, что вы слишком редко останавливаете выступающих.

Все, включая Макса, снова засмеялись, а затем принялись ждать начала моего рассказа.

– Что ж, дело в том, что мой отец всегда устанавливал кучу правил и очень многого требовал от близких ему людей. У него всегда было собственное четкое представление о том, что правильно, а что – нет, что здраво, а что бессмысленно, и он навязывал эти представления мне.

Собравшиеся явно понимали меня, я чувствовал это. Ощущения были для меня крайне новые и необычные.

– Мне казалось, что все оно того стоит, ведь, знаете, большая часть людей не умеет мыслить рационально, не умеют или боятся самовыражаться – они трусы и лжецы в массе своей, и им неважно, правы они на самом деле или нет.

На этом месте я, естественно, потерял поддержку зрителей. В одном из первых рядов я заметил Еву – она тоже явно не понимала, к чему я клоню.

Тут вмешался Макс:

– Ты всего лишь хотел, чтобы он любил тебя.

И одна эта фраза каким-то чудом сумела вернуть зрителей на мою сторону. – Впрочем, думаю, дело не только в этом, ведь так? – продолжил он. – Мне кажется, что на самом деле ты хотел не быть вынужденным постоянно заслуживать его любовь.

Из моего горла вырвался стон, а из глаз ручьем полились слезы.

– Трудно говорить в таком состоянии, – пожаловался я, с трудом выталкивая слова изо рта.

– И не нужно, – сказал Макс. – Мы и без слов тебя пойдем.

Тут уже меня развезло по полной программе, как это часто бывало с «работавшими» обитателями лагеря. Мне было физически дурно, у меня кружилась голова и казалось, что я не рыдал, а блевал. Мне даже

хотелось, чтобы меня кто-нибудь сфотографировал в этот момент – получился бы снимок наподобие тех, на которых запечатлены люди, кричащие на изгибах американских горок.

– Давай-ка вернемся в те времена, когда ты еще не умел разговаривать, – предложил Макс, и я сразу понял, что будет дальше. – Давай попросим кого-нибудь сыграть тебя в младенчестве.

Я тут же совладал со своей истерикой и рассмеялся.

– Что такое? – спросил Макс. – Говори, говори...

– Мне правда обязательно назначать кого-то на роль себя в младенчестве? Терпеть не могу это местное клише.

Собравшиеся захохотали.

– Еще ни разу на моей памяти не было такого, чтобы кто-то прерывал «работу» из-за каких-то «местных клише», – сказал Макс. Толпе это понравилось – они явно с большей теплотой относились к шуткам по поводу терапии от тех, кто принимал в ней непосредственное участие. Мне еще подумалось, что это вообще распространенный принцип устройства человеческой психики, проявлявшийся во многих других сферах жизни.

– Некоторые клише стали таковыми потому, что они работают, – продолжил Макс. Я подавил порыв ответить, что такие сантименты – тоже клише. Обернувшись к зрителям, я стал подыскивать кандидата на роль себя самого в младенчестве. Без каких-либо особых задних мыслей я выбрал одного из подростков, с которым познакомился у костра. Тот вышел вперед и лег на расстеленный среди листвы плед.

Макс обратился к сидевшему где-то среди собравшихся моему отцу.

– Выйдешь на минутку? Я хотел бы с тобой поговорить, если ты не против.

Я нашел глазами плакавшего отца. Тот поднялся и неровными шагами направился к «сцене», повесив голову.

– Что ты чувствуешь после слов Майкла? – спросил Макс.

– Мне так жаль! – провыл папа.

– Взгляни на маленького Майкла, – сказал Макс, – и расскажи нам немного о том, что ты чувствовал, когда он был в таком возрасте.

Отец внезапно выпрямился; язык его тела явно давал понять, что он мгновенно абстрагировался от тех чувств, что только что захлестывали его с головой.

– Я плохо помню свои чувства в то время, – ответил он.

– Попробуй вспомнить.

– Я его очень любил, – сказал отец уже своим обычным голосом.

– За что ты его любил? – уточнил Макс.

Лицо папы исказила гримаса боли.

– Я пытался найти причины, – ответил он.

Глаза Макса сузились, а его голос потерял толику штатной теплоты профессионального психолога.

– Ты пытался найти причины для того, чтобы любить своего ребенка? Что в твоём понимании подходит под такую причину?

– Он рано начал сам перекачываться в кроватке, – сказал отец. – Умел двигаться в такт музыке – у него с самого начала было хорошее чувство ритма. Первое свое слово – «мороженое» – он произнес, когда ему было всего полгода.

Макс снова смягчился и ласково спросил:

– Зачем тебе требовалось чем-то оправдывать любовь к собственному сыну?

– Я не умею любить без причины, – ответил папа.

– Давай сделаем так: ложись рядом с маленьким Майклом и попробуй разрешить себе любить его безо всяких на то причин.

Отец послушно улегся на плед и обнял игравшего роль меня в младенчестве подростка.

– Я люблю тебя. Я так тебя люблю! – стонал он, плача.

В какой-то момент, когда этот цирк уже перешел все мыслимые границы комизма, я просто отключился от происходящего. Вернувшись к реальности через некоторое время, я прервал папу и Макса, сказав:

– Я хотел бы поговорить еще о многом другом.

Отец воззрился на меня с пледа, явно разочарованный тем, что баюканье едва знакомого подростка не решило ни одной из наших с ним проблем.

Макс поднялся с колен.

– Я, конечно, не знаю, что ты собираешься сказать, но у меня такое чувство, что ты пытаешься обвинить своего отца. Ты ведь хочешь перечислить все случаи, когда он сделал тебе больно, я угадал?

– Наверное, да, – признал я.

– Всю свою жизнь ты строил такие обвинения, – сказал Макс. – У тебя настоящий талант подробно описывать события, подмечая все

правильное и неправильное. В детстве тебе этот навык был жизненно необходим. Но задумайся вот о чем – помог ли он тебе хоть раз добиться от окружающих того, чего ты от них хотел? Хотя бы вот даже от твоего отца?

– Нет, – честно ответил я, вновь ощущая в своем теле странные физические проявления своих чувств.

– Грамотными аргументами ты никого не убедишь тебя полюбить. Люди любят друг друга не за правоту.

Внезапно я ощутил, что огромный кусок моей жизни – собственно, большая ее часть – оказался одним большим обманом, подлогом, насмешкой надо мной самим. Оказалось, что я мучительно долго и упорно трудился над тем, над чем вовсе не нужно было трудиться.

Макс попросила отца подняться на ноги, чтобы мы с ним могли смотреть прямо друг на друга. Я стоял так близко, что видел каждую широкую пору на папином большом носе, каждый волосок в его ноздрях. Я видел пронзительный взгляд его карих глаз, таких красивых в слезах. Макс спросил меня, не хотел ли я что-нибудь ему сказать. Подул легкий ветерок, вокруг нас запели птицы – вначале мне показалось, что в ответ на поднявшийся ветер, но потом я все же решил, что вряд ли.

– Ты научил меня тому, что приверженность честности исключает проявление заботы, – сказал я. – Но теперь я хочу проявлять заботу. И, кажется, я всегда хотел чувствовать ее с твоей стороны.

Папа обнял меня.

– Я не умею! – всхлипнул он мне на ухо. Некоторое время мы просто стояли так, обнявшись, и он тихонько плакал, положив голову мне на плечо.

– Я так тебя люблю, – приглушенно пробормотал он. – Просто я не знаю, как тебе это показать.

– Я тоже не умею проявлять заботу, – ответил я. – Думаю, как раз потому, что ты этого не умеешь.

– Был ли в твоей жизни хоть кто-то, – спросил Макс, – кто был способен показывать тебе свою заботу, кто, как ты чувствовал, любил тебя, даже если ты этого не заслуживал?

Я оглядел всхлипывавших и утиравшихся бумажными платками зрителей и в какой-то момент нашел среди них зареванную и даже

пошедшую пятнами маму. – Я всегда знал, что мама меня любит, – сказал я. – Она полюбила меня еще до того, как я начал говорить.

Мама вышла на «сцену» и под гром аплодисментов обняла меня так крепко, как не обнимала, пожалуй, никогда. Затем Макс пригласил выйти Еву.

– Мне кажется, ты тоже меня любишь, хоть это порой и сложно, – сказал я ей.

– Любить совсем несложно, – возразила Ева. Несмотря на то, что это, строго говоря, было явной неправдой, я чувствовал, что она говорила искренне. Мы все обняли друг друга, проливая слезы. Собравшиеся определенно удовлетворились этим зрелищем.

Потом Ева еще долго раз за разом повторяла мне, как храбро я себя повел и как она мной гордилась.

– Ну, ты особо-то заранее не радуйся, – предупредил ее я. – Посмотрим, будет ли какой-то эффект от всего этого на деле.

Глава 8

Неудобные вопросы

Сидя в салоне самолета, на котором мы в том году возвращались домой из лагеря, я принялся записывать все, что в тот раз со мной там произошло – просто чтобы иметь возможность посмотреть со стороны и подвести итоги. Потом я продолжил уже дома, а вскоре начал писать о семейном лагере всякий раз, когда выдавалась свободная минутка.

Несмотря на нашу с Евой новообретенную надежду на перемены к лучшему, вернулся я примерно таким же человеком, каким уезжал в лагерь, и Ева не упускала случая выразить свое разочарование по этому поводу.

– Что ж, видимо, мне все еще не хватает настоящей травмы, – отвечал я ей.

Чем больше я писал, тем очевиднее для меня стала ее надежда, что, возможно, хотя бы мемуары помогут мне разобраться с моими проблемами. Несмотря на то, что я не раз говорил о намерении опубликовать этот беллетризованный роман, Ева утверждала, что понимает истинное предназначение этой книги, что на деле она была посланием моему отцу.

В какой-то момент мы с Евой все же переехали в другую квартиру, где хватало места для полноценного рабочего пространства и даже нормального кухонного стола. В который раз мы отправились на прогулку по магазинам подержанных вещей и всякого старья и в одном из них натолкнулись на кованое железное основание швейной машинки «Зингер», по виду где-то 30-х годов. Самой машинки уже не было, но часть механизма осталась на месте, и нажатие педалей вращало шестеренки. Еве пришло в голову сделать из этой конструкции стол. Мы купили столешницу из орешника и сами приладили ее к железным ножкам. Этот стол стал центральным «экспонатом» нашей новой квартиры – именно его в первую очередь замечал любой, кто входил в дверь. Мы сидели за ним, бездумно гоняли ногами железную педаль и оглядывали из окна весь наш район с высоты четвертого этажа. На крыше одного из соседних домов один

мужчина регулярно дрессировал голубей; иногда в сумерках мы с Евой лежали снаружи на пожарной лестнице и наблюдали за голубиными стайками.

Год спустя моя рукопись раздалась уже до четырехсот страниц^[74]. Никто из членов моей семьи не знал о ее существовании – мне казалось крайне странным и даже жестоким просто так взять и сказать им: «А знаете, я тут книгу о вас пишу – через годик-другой пришлю, как закончу. Вы заранее только не переживайте, ладно?» Я никогда раньше не держал ни от кого секретов, так что любые разговоры с родителями вызывали у меня такое чувство, будто я лгу. На протяжении всего того года я либо старательно уклонялся от телефонных разговоров с родственниками, либо старался свести их продолжительность к минимуму. К счастью, следующая поездка в лагерь пришлась аккурат на свадьбу сестры Евы, что дало мне повод не ехать. Если бы мне пришлось сказать им, что не хочу ехать в лагерь, и меня спросили бы, почему, я бы наверняка брякнул: «Потому что я втайне пишу о вас книгу!»

Мириам в то время как раз окончила колледж и переехала в Нью-Йорк. Мы поставили дополнительную кровать в кабинете Евы, чтобы тот мог служить гостевой спальней – на время поиска собственного жилья Мириам планировала остаться у нас. Стоило ей явиться, как я в тот же вечер все-таки рассказал ей о своей книге. Она была первой, кто видел и читал мою рукопись. Вторым был Джош, который тогда все еще учился в магистратуре по криминологии. Обоих содержание книги тронуло, но они оба выразили свою обеспокоенность насчет реакции родителей. Следующей рукопись увидела мама. Дочитав, она просто сказала, что рада тому, что книга выставляет ее хотя бы в не настолько дурном свете, как моего отца.

Папе я решил отправить физическую копию рукописи почтой – мне казалось неправильным заставлять его распечатывать текст, который его наверняка расстроит. Это было все равно что самостоятельно собирать винтовки для расстрельной команды, зная, что к стенке встанешь ты сам. Толстая стопка бумаги и так едва помещалась в почтовый конверт, а у меня вдобавок еще и дрожали и потели руки.

Я наскоро написал и приложил к конверту небольшую записку, в которой просил отца позвонить мне перед прочтением рукописи. Выглядела она, надо сказать, так, словно ее нацарапали в несущемся

по ухабам автомобиле. В моем понимании мой рваный и скачущий почерк подчеркивал для читающего мою нервозность. Я даже думал переписать ее, но в итоге решил оставить, как есть, посчитав такое отражение в этой записке моих бушевавших эмоций вполне уместным.

Когда я отдавал посылку работнику почты, мой пульс участился так, словно в конверте была не рукопись, а споры сибирской язвы. На моих глазах почтальон положил мой конверт поверх стопки точно таких же^[75].

Мне назвали дату доставки посылки – весь тот день мы с Евой просидели дома, ожидая звонка от отца и попеременно плача.

– Я так тобой горжусь, – раз за разом повторяла Ева. – Ты самый храбрый человек из всех, кого я знаю.

В конце концов папа все же позвонил.

– Я получил твою посылку, – сообщил он. – Очень неожиданно и любопытно.

Ни удивленным, ни заинтересованным его голос не казался.

Я разрыдался прямо в трубку.

– Возможно, ты возненавидишь меня, прочтя эту книгу, но я просто обязан был ее написать.

– Не думаю, что она меня настолько заденет, – ответил отец.

По телефону его бестелесный голос звучал особенно – он был похожим на голос диктора, не способного ошибиться, что бы ни говорил.

Я повесил трубку, и Ева обняла меня.

– Что он сказал? – спросила она.

– Сказал, что не думает, что книга его заденет, – ответил я.

Ева чуть отстранилась.

– Так и сказал? Ты сообщил ему, что написал о нем целую книгу, а он прямым текстом дал тебе понять, что ему все равно?

– До этого я сказал, что ему, вероятно, не понравится ее содержание.

– А он, получается, ответил, что она вряд ли его расстроит.

– Не совсем.

– Но он наверняка имел в виду именно это, – ответила Ева.

– Будет очень грустно, если его эта книга совсем не заденет за живое, – сказал я. – Но в его положительный отзыв мне что-то совсем слабо верится.

Ева снова обняла меня и прижалась лицом к моей груди.

– А что, если, прочитав ее, он поймет, через что тебе пришлось пройти?

– Это вряд ли, – ответил я и снова расплакался.

Ева тепло улыбнулась; у нее тоже глаза были на мокром месте.

– Ты ведь так показываешь ему, что он тебе нужен, что ты любишь его.

Мне же этот жест заботы и любви напоминал скорее открытое объявление войны.

Когда отец, наконец, перезвонил, я ушел с телефоном в спальню, но дверь все же оставил открытой, чтобы дать Еве возможность слышать хотя бы мои слова.

– Слушай, в общем, я прочитал, – сказал отец абсолютно спокойно, словно речь шла о какой-то случайной книжке неизвестного автора, которую я посоветовал ему почитать.

– Хорошо, – осторожно ответил я.

– Прости, – продолжил папа, – но мне не понравилось.

– Ладно, – ответил я.

– Вот, например, на второй странице описана стоящая на краю скалы семья, которую рвет из-за укачивания, – я буквально увидел, как отец на том конце провода закатил глаза. – *Всю семью* рвет? Разом? Ну одного человека, ну, там, детей – понятно, но *всю семью*? Никто же не поверит. Это подрывает доверие читателя к автору. Потом, на третьей странице...

– Послушай, пап, – перебил я, – литературную критику я и от других могу получить. Я думал, ты захочешь поговорить о наших с тобой отношениях.

– А, – произнес отец. – Так тебе не нужна критика?

– Я хочу узнать твои чувства по поводу прочитанного, а не мысли, – ответил я.

– А, ну хорошо, – сказал он. – Я перезвоню.

Выйдя из спальни, я пересказал Еве содержание нашего разговора.

– Я не могу и не должна ни в чем тебя винить, – сказала она. – Все, что в тебе есть плохого – это определенно его вина, а не твоя.

Я ценил ее слова, но знал, что она говорила неискренне – она абсолютно точно все еще во многом винила именно меня.

Отец перезвонил где-то через полчаса. Я снова удалился в спальню, опять оставив дверь открытой.

– Так, – начал он уже не таким уверенным голосом. В этот раз вместо обычной для него пулеметной очереди из слов отец говорил достаточно медленно, почти нерешительно, и брал длинные паузы. – Кажется, мне придется задать тебе один несколько неудобный вопрос.

Мой мозг стал стремительно перебирать варианты вопросов, которые могли показаться моему отцу настолько «неудобными», что он даже ощутил потребность в том, чтобы предупредить меня об этом заранее.

– Это выдумка? – спросил он. – Или все описываемые тобой события, по твоему мнению, действительно имели место?

Вопрос и впрямь оказался неудобный, но он спровоцировал меня на то, чтобы ответить отцу еще более неудобным.

– А ты разве сам не помнишь всего этого? – спросил я.

Папа снова взял продолжительную паузу.

– Ну, наверное, строго говоря все это действительно было, но описал ты это все... довольно странно.

– В каком смысле? – уточнил я.

– Ты описал мои слова и действия, но не привел причин, по которым они являлись верными.

Из моей груди вырвался нервный смешок.

– Это я оставил на усмотрение читателя.

– Да, но это не отражает действительности, – сказал отец, постепенно набирая обороты и возвращаясь к своей обычной манере речи. – У тебя же тут очень однобокий взгляд на все события, только одно мнение – твое. Если бы ты хотел описать меня максимально точно, то мог бы спросить меня самого о том, почему говорил те или иные вещи, и включить мои пояснения в книгу, чтобы читателю не пришлось читать мои мысли.

Мобильник был уже мокрым от моего пота, то ли с ладони, то ли с уха. Мне отчаянно хотелось вести этот разговор по старому городскому телефону с базой, проводом и трубкой – сотовый казался в руке слишком легким.

– Позволь задать тебе вопрос, – сказал я. – Как бы ты оценил отца из этой книги?

Папа явно искусственно и протяжно рассмеялся.

– Вообще, давай на секунду представим себе, что я просто рассказал тебе о том, что один мой друг написал книгу о своем отце. А теперь представь, что я тебе сказал, что, когда он отправил эту книгу своему отцу, тот перезвонил ему и начал давать литературную критику и комментарии, подобно редактору.

Теперь уже отец засмеялся вполне естественно.

– Отличный пример! – похвалил он. – В такой ситуации я бы сказал, что этот отец избегает собственных чувств и критикует книгу своего сына из трусости, не дающей ему признать правдой то, что в ней написано.

– Ну вот... – начал я с надеждой.

– Но *я-то* вовсе не поэтому давал тебе свои комментарии! То, что я сейчас описал, применимо в случае большинства людей, но не в моем.

Я стал нервно мерить комнату шагами и увидел сквозь распахнутую дверь Еву – та стояла в гостиной, держа у самого лица кружку с кофе, словно пытаюсь прикинуть, можно ли уже пить или кофе все еще слишком горячий. Наши взгляды встретились, и она улыбнулась мне ровно в тот момент, когда я начал отвечать:

– Ты не эксперт в области собственных чувств, пап. Равно как и в том, прав ты или нет.

– Конечно, эксперт, – возразил он. – Или ты полагаешь, что знаешь мои чувства лучше меня самого?

Ева перестала улыбаться, и я даже подумал сначала, не могла ли она слышать отца, но потом сообразил, что она наверняка отреагировала на выражение моего собственного лица – вряд ли это была особенно приятная картина. Она поставила кружку на стол из швейной машинки и направилась ко мне, намереваясь поддержать меня и утешить, однако остановилась, пройдя всего лишь пару шагов, решив, видимо, что через это испытание мне требовалось пройти самому, в одиночку.

Лишь заговорив снова, я осознал, что рыдал навзрыд – слова еле выходили у меня изо рта, а охрипший голос ломался на каждом втором слого.

– Послушай, – сказал я, – я понимаю, что ты сейчас стоишь перед очень тяжелым выбором. Ты можешь решить, что я сбрендил, а ты сам

кругом прав, и тогда тебе не придется смиряться ни с чем неприятным относительно себя самого. Кстати, для справки – раз уж я сбрендил, то уж наверняка ты как-то с этим все же связан. А можешь решить, что, возможно, к моим словам все же стоит прислушаться.

– Это называется «эмоциональный шантаж», – ответил отец спокойным голосом без тени волнения. – По-твоему, я должен считать твое мнение априори ценным просто потому, что ты мой сын? Уж прости, но я не могу вот так взять и будто по мановению волшебной палочки поверить в то, в чем ты хочешь меня убедить.

Повесив трубку, я сказал Еве:

– Он сказал мне все то же самое, что я когда-то говорил тебе. Видимо, это мое кармическое наказание – теперь точно те же самые слова сказали мне. Что ж, кажется, мои реплики тоже не блещут особой оригинальностью по сравнению с речью окружающих.

Ева тепло улыбнулась мне.

– Ну, вот это точно оригинальное заявление, – сказала она.

Девочка, которая кричала: «Волки!»

Отправка рукописи родителям так ничего во мне и не изменила. В результате наши с Евой «расставания» дошли до того, что она бросала меня и тут же возвращалась уже каждые несколько недель. Иногда она объясняла мне, почему именно, а иногда просто пропадала на некоторое время и не отвечала на звонки, а потом утром оказывалась в моей постели и говорила о том, как она меня любит. К тому моменту она уже хотя бы по разу бросала меня по следующим причинам:

✓ *Она подозревала меня в том, что я изменяю ей со скрипачкой из нашей группы.*

✓ *Она не считала уроки игры на укулеле, вопреки моим доводам, нормальной работой.*

✓ *Я недостаточно серьезно относился к ее уверенности в том, что у нее рак мозга.*

✓ *Она не хотела заставлять меня лицезреть ее неизбежную смерть от этого самого рака.*

✓ *Я раскритиковал аранжировку одной из ее песен.*

✓ *Она хотела снова поехать в семейный лагерь, а я – нет.*

✓ *Ей было грустно, и она не хотела ехать на свадьбу, приглашение на которую мы уже приняли, а я предложил поехать без нее, вместо того чтобы остаться дома и утешать ее.*

✓ *Она периодически влюблялась в других людей, а значит, мы не могли быть вместе.*

✓ *Я недостаточно ее ревновал.*

✓ *Я слишком рационально относился к ее влюбленностям.*

✓ *Когда мы смотрели «Непристойное предложение», я одобрил секс героини Дэми Мур с героем Роберта Редфорда за миллион долларов.*

✓ *Меня слишком мало пугала и печалила сама концепция смерти.*

✓ Она отвратительно себя со мной вела и не хотела, чтобы я связывал свою жизнь с таким чудовищем, как она.

Все прощальные письма Евы я сохранял на память. Как-то раз я показал ей стопочку таких писем – там было штук десять или больше. Я пытался дать ей их в руки, но она отпиралась.

– Как много, – произнесла она в ужасе. – Я и не думала, что их так много.

– Кстати, они все практически идентичны, – сказал я. – Словно копии одного и того же письма.

Ева подавленно смотрела в пол, сцепив свои маленькие руки.

– Каждый раз, когда я тебя бросаю, ощущения такие же, как в первый.

Как-то Ева поехала на выходных в Бостон к семье, а я пригласил пару наших общих друзей к себе на просмотр третьей части «Кошмара на улице Вязов». Когда все собрались, я явственно почувствовал в воздухе гнетущее напряжение и спросил, все ли в порядке.

– Ты сам-то в порядке? – спросил один из них.

– Да, – ответил я. – С чего мне не быть в порядке?

– Мы вчера видели Еву, – сказал он. – Она говорит, что вы расстались, и мы подумали, что ты потому нас и пригласил.

Я тяжело вздохнул.

– Так, ладно, подождите секунду.

Я прямо при них достал телефон и позвонил Еве^[76]. Я совершенно не был уверен в том, что она снимет трубку, но в тот раз она все же ответила.

– Ой, прости, – сказала она, – вчера я натолкнулась на ребят по дороге к автобусной остановке и так была зла на тебя, что сказала им, что мы расстались. Потом мне полегчало, и я решила, что мы не расстаемся, а им я об этом сказать забыла, – Ева вздохнула. – Какая же я дура. Можешь, пожалуйста, передать им мои извинения за ложную тревогу?

Повесив трубку, я обернулся к друзьям.

– Все в порядке, – сказал я. – У нее, видимо, просто было плохое настроение. Она просила передать извинения за ложную тревогу.

Я явственно чувствовал, что мне никто не поверил.

Пару месяцев спустя, вернувшись из очередной поездки к своей семье, Ева заявила мне, что сняла в Бостоне квартиру и больше не вернется, что между нами все кончено. Уже ставшего привычным письма с признанием в любви не было – в тот раз она просто села за наш рукодельный стол и холодно потребовала, чтобы я позвонил своим родителям и сообщил им, что мы расстались.

– Но ты ведь снова передумашь, – возразил я.

– Я уезжаю в Бостон, – ответила она. – Смирись с этим.

– Они очень расстроятся, – сказал я. – Ты правда хочешь, чтобы им пришлось пройти через все это только для того, чтобы я потом опять им позвонил и сообщил, что мы снова вместе?

Однако продолжать настаивать на неискренности ее чувств казалось мне неуважительным, так что я сел за стол, позвонил отцу и, плача, сообщил ему, что мы с Евой расстались.

– Боже мой, – сказал папа и расплакался сам. – Ты, должно быть, убит горем. Я ответил, что да – я был убит горем.

– Он плачет, – сказал я Еве, прикрыв рукой телефон.

– Я так хотел, чтобы она стала матерью моих внуков, – сказал отец.

Это я тоже передал Еве.

– Говорит, что очень хотел, чтобы ты стала матерью его внуков.

– Надеюсь, она не порвет с нами совсем, – произнес папа. – Я сам ей позвоню и поговорю с ней.

– Папа сам тебе позвонит и спросит, не порвешь ли ты с нами совсем, – передал я.

Разговор вышел недолгим. За ним последовал точно такой же, но уже с мамой.

– Но почему? – спросила мама. – Из-за чего же вы расстались? Вы ведь любите друг друга!

– Это ты у Евы спроси, – ответил я. – Я сам толком не понимаю.

Я исправно передал Еве вопрос мамы о причинах нашего расставания и ее слова о том, что мы любим друг друга. Этот звонок тоже вышел коротким.

Когда я повесил трубку, Ева смахнула слезу с щеки, тепло улыбнулась мне и сказала:

– Ну и как мне тебя бросать после такого?

Однако вскоре она снова меня бросила и вернулась в Бостон, оставив почти все свои вещи в нашей нью-йоркской квартире. Она уговорила кого-то из подруг подселиться к ней, чтобы делить пополам аренду, и все – будь здоров. Я подозревал, конечно, что через пару дней она мне позвонит и скажет, что не хочет расставаться со мной, но даже в таком случае я сам уже не знал, что делать. Еву явно больше не заботили мои чувства – она стала действовать исключительно исходя из своих собственных. Словом, она делала именно то, чего я от нее добивался все эти годы – стала честной.

Как и ожидалось, она действительно позвонила мне через два дня и сказала, что хочет вернуться ко мне в Нью-Йорк. А вот я больше так не мог. Но и прогнать ее восвояси в таком состоянии я тоже не был способен, не мог нагрузить ее еще и чувством вины за ее собственное непостоянство. И принять ее обратно тоже не мог. Решив, что это не телефонный разговор, я предложил встретиться лично на выходных. Я на полном серьезе собирался с ней расстаться.

Ближе к назначенному времени встречи она снова позвонила мне и сообщила, что у нее плохое настроение и что она не хочет меня видеть. Но в тот раз я все же решил настоять на встрече и сказал, что мне очень нужно было с ней встретиться и поговорить лично.

– Зачем? – спросила она. – Чтобы бросить меня?

– Да, – сказал я, – я хотел сделать это при встрече, но ты почему-то встретиться не желаешь.

Ева застонала и горько завывала в трубку, подобно «работавшим» на сеансе обитателям семейного лагеря. Я не мог этого вынести; сказал, что люблю ее, что у меня сердце разрывается слушать дальше, и повесил трубку.

Проснувшись на следующее утро, я обнаружил Еву в своей постели; она всхлипывала и пыталась уговорить меня не бросать ее. Я честно отвечал ей, что не могу так больше, но она явно чувствовала, что я все еще люблю ее. В течение следующих нескольких месяцев я периодически слышал стук в дверь и обнаруживал на пороге заплаканную Еву. Однажды, придя ко мне так, без предупреждения, она вручила мне комикс, в котором она запечатлела свои любимые случаи из нашей совместной жизни.

– Мне захотелось напомнить тебе о том, как все было, – сказала она. – Я надеялась, что это заставит тебя вспомнить.

Она стала ежедневно писать мне электронные письма, отражавшие ее эмоциональные сдвиги. Иногда она обвиняла меня в том, что я ее предал, иногда писала, что понимает, почему я решил ее бросить, и изъявляла желание остаться друзьями. Периодически она присылала мне записи совершенно душераздирающих песен о наших отношениях собственного авторства, в которых сквозило сожаление обо всем, через что мне пришлось с ней пройти. В какой-то момент я предложил сделать временный перерыв в нашем общении, но она все равно продолжила писать мне письма и слать песни.

Однажды, открыв дверь на стук, я обнаружил ее на пороге улыбающейся.

– Привет, – сказала она.

Я не стал приглашать ее войти.

– Ева, – сказал я сквозь уже сдавившие горло слезы. – Я ведь просил тебя больше не приходить вот так.

– Но ведь это мой дом, – сказала она.

– Уже нет, – ответил я и разрыдался уже по-настоящему. – Я собираюсь переезжать, как только смогу. Это больше не наш дом.

– Как ты мог? – спросила она в сотый раз. – Ты лгал мне!

Я потер лицо ладонью.

– В чем?

– Ты не раз давал мне понять, что никогда не бросишь меня, что бы я ни сделала, – сказала она. – Если бы я знала, что ты можешь меня бросить, я никогда бы не вела себя с тобой так отвратительно, – она утерла слезы. – Прямо как в той жуткой истории про мальчика, который кричал: «Волки!» Ты наказываешь меня за мою сущность, за само мое естество!

Я едва сумел подавить неуместный смех.

– Это так ты понимаешь мораль истории про мальчика, который кричал: «Волки!»? Серьезно?

– Ну да, иногда он поднимал ложную тревогу. Но ведь это не его вина – он таким родился!

Ева расплакалась с новой силой, но все равно продолжала говорить сквозь слезы.

– Все его убеждали в том, что любят его! А потом отдали его на съедение волкам! Лгал не он, лгали все остальные в этой истории!

Глава 9

Вежливо отказаться – значит согласиться

Преподавать на фоне всего происходящего было крайне трудно. Я даже честно предупредил своих учеников перед началом занятий о том, что мы с Евой расстались.

– Так что не волнуйтесь и не переживайте, если я вдруг разрыдаюсь, особенно если будем играть что-нибудь о любви.

За некоторое время до этого я нашел еще одну подработку – стал учить взрослых писать книги для детей. На очередное групповое занятие один из моих учеников принес иллюстрированную книжку про осьминога, который шил себе разные костюмы и маски, чтобы окружающие с ним дружили. В конце книжки он наконец повстречал того, кто полюбил его таким, какой он был на самом деле. Я стал зачитывать перед собравшимися свои комментарии и замечания глухим и надтреснутым голосом, а в конце концов просто расплакался.

– Простите, – сказал я сквозь слезы. – Просто я совсем недавно расстался с девушкой, а потому в данный конкретный момент я очень равнодушен к сюжету этой книги.

Некоторых учеников мои слова, казалось, тронули – в их глазах читалось сочувствие. Остальные либо потупились, не понимая, как им следует себя вести, либо давились смехом. Мне самому, надо сказать, стало смешно, и я сказал что-то вроде: «Ни дать, ни взять – сцена из какой-нибудь милой романтической комедии. Детский писатель переживает расставание с девушкой и в какой-то момент начинает рыдать прямо на занятии в ходе обсуждения книжки про одинокого осьминога – ну не умора?» По мнению большинства собравшихся, оказалось – нет, не умора.

С отцом мы в то время особо не общались. В редких случаях, когда мы все же с ним созванивались, разговор не заходил ни о моей рукописи, ни о наших с ним отношениях, ни даже о моем расставании с Евой. Предметом наших обсуждений становились обычно недавно просмотренные фильмы или политика. Мы болтали ни о чем и впадали

в легкую форму эскапизма – словом, занимались всем тем, что мы оба когда-то ненавидели.

Мама, напротив, всякий раз старалась свести разговор к теме Евы. Она честно пыталась поддерживать меня, но сама моего решения явно не одобряла.

– Она все еще хочет быть с тобой, – говорила она. – Ты еще можешь вернуть все, как было.

Мама открыто признавала, что скучает по Еве. В этом я был с ней абсолютно солидарен.

Мириам, которой на тот момент исполнилось уже двадцать три, ожидала при переезде, что Ева станет частью ее жизни в Нью-Йорке. Естественно, она одобряла мое решение менее всех.

– Лучше Евы ты себе стопроцентно никого не найдешь, никогда. Бросить ее было с твоей стороны просто тупо. Ты вообще кем себя возмнил, чтобы вот так взять и бросить ее?

Джош был настроен максимально нейтрально, спокойно и фаталистично.

– Печально, – емко констатировал он. – Случается, увы.

Хоть я и сам постоянно говорил другим то же самое, в тот раз это утверждение показалось ложным. Я хотел ответить, что таких потрясающих отношений вообще практически не бывает, и что никакое «случается» здесь вообще не уместно.

Поскольку у меня никогда и никого, кроме Евы, толком не было, я предполагал, что просто вернусь в свой изолированный кокон и продолжу жить фантазиями, как жил до переезда в Нью-Йорк. Однако я все же решил, что ничего не потеряю, приглашая на свидания разных знакомых девушек, которых находил привлекательными. Семейный лагерь давным-давно научил меня просить того, чего мне хочется, даже если я знаю, что мне ответят отказом. Я видел достоинство и мужество в том, чтобы пригласить девушку на свидание, и не видел ничего постыдного в отказе – меня все детство готовили к отказам и отвержению.

Меня приятно удивило, что все, кого я приглашал, отвечали мне согласием. Неприятно меня удивило то, что все они потом отменяли свидание или просто не приходили на него и переставали отвечать на звонки. Я логично решил, что я совершал некую ошибку на этапе между согласием и самим свиданием – возможно, предлагал

неподходящие для свиданий места, или же все дело было в моих формулировках. В какой-то момент я решил спросить совета у одной своей знакомой, и та с сожалением поведала, что дело было вовсе не во мне, а в том, что все эти девушки на словах отвечали мне согласием, тогда как на деле им это было не нужно. Я считал себя профессионалом в области распознавания лжи, однако, как выяснилось, в моих познаниях были явные пробелы, если не зияющие дыры.

– Но с какой стати соглашаться, если ты явно хочешь и можешь отказать? – недоумевал я. Не дав знакомой ответить, я стал засыпать ее различными ошибочными теориями:

– Может, они просто боятся отказывать, потому что в прошлом те или иные мужчины, которым они отвечали отказом, начинали беситься и буйствовать? Или, может, они просто получают садистское удовольствие, вселяя в меня надежду, а потом растаптывая ее?

Моя знакомая предположила, что большая часть девушек, ответивших мне ненастоящим согласием, либо стеснялась открыто отказать, либо считала, что вначале согласиться на свидание, а затем отменить его – вежливее, чем просто сказать «нет».

Эти слова напомнили мне о школе, когда учителя спрашивали: «Вот тебе бы понравилось, если бы тебе такое сказали?» Вопрос был в корне неверный – мои чувства работали несколько иначе, чем у большинства людей, а потому я не мог понять чувства окружающих, представив себя на их месте. Из-за того, что для меня никогда не было проблемой отвечать отказом и слышать отказ, я не понимал, что другие готовы были на многое, лишь бы избежать таких ситуаций.

Иногда согласившаяся на свидание со мной девушка все же приходила, но обычно начинала жалеть о своем решении уже после обмена первой парой-тройкой реплик. Однако, несмотря на явное желание уйти немедленно, все они оставались и досаживали минимальное определенное правилами этикета время. Я пытался объяснить им, что прекрасно понимаю суть происходящего и что они вольны уйти, когда им заблагорассудится, но лучше моим собеседницам от этого не становилось, и они все равно не уходили раньше положенного вежливостью. Я никак не мог понять, что такого очевидно неприятного все во мне находили, и в какой-то момент решил, что никто не объяснит мне лучше, чем они сами. Я стал

спрашивать измученных свиданием со мной девушек о том, что я сделал не так. Опять же, я считал, что терять мне нечего – свидание так и так пошло коту под хвост^[77].

Первые несколько девушек в ответ солгали, сказав, что им все понравилось.

– Ой, да ладно, – смеялся я. – Отпираться после свидания ведь еще неудобнее!

Сколь бы я ни пытался выудить из них правду, они упорно цеплялись за свою ложь, даже понимая, что я на нее не куплюсь. А затем они, разумеется, исчезали под первым же удачным предложением.

Два месяца спустя после нашего с Евой расставания мы с одним моим другом сидели в студии и снимали клип на мою новую песню под названием «You're Somebody Even If Nobody Loves You». В какой-то момент я заметил, что одна девушка из съемочной группы свободно и совершенно не стесняясь давала интересные советы всему остальному персоналу – стилисту, хореографу и даже режиссеру. Ее слушали, причем не только потому, что ее советы и впрямь были отличными, но еще и потому, что сама она была очень милой и совершенно очаровательной. Да – она умудрялась каким-то образом нравиться окружающим, несмотря на свою честность и прямоту. По моей просьбе режиссер представил нас; оказалось, ее звали Конни. Мы провели вместе всего пару минут, за которые обменялись буквально двумя-тремя фразами, но между нами уже явно успела пробежать искорка. В принципе, мне все в ней понравилось. Вернувшись домой после съемок, я нашел в интернете ее дневник, в котором она часто и помногу писала о своих личных наблюдениях и ситуациях, в которых оказывалась. Потратив на чтение ее дневника куда больше времени, чем следовало, я пригласил ее на чашечку кофе.

В качестве места Конни выбрала одно тихое, уютное и безлюдное кафе в Сохо, напоминавшее интерьером охотничий домик – все внутри было отделано деревом, повсюду стояли чучела диких зверей, а стены были украшены намеренно вычурными портретами пожилых белых мужчин в охотничьих нарядах. Сама Конни надела на свидание черную водолазку с высоким воротом и черные же брюки. Ее ровно подстриженная челка подчеркивала выразительно изгибающиеся брови и длинные ресницы. Я сказал ей, что прочел изрядную часть ее дневника. Что-то в этих моих словах ей явно не понравилось, но я не

мог понять, что именно – то, что я читал ее дневник, или то, что сказал об этом ей. Я аккуратно сменил тему, но вскоре почувствовал, что она хочет уйти, и просто сказал:

– Слушай, Конни. Могу я у тебя спросить совета?

– Давай, – согласилась она, явно заинтригованная таким поворотом в нашем разговоре. – На тему?...

– Видишь ли, меня растили необычные люди, – начал я.

– Всем так кажется, – перебила она. – Всем кажется, что они какие-то странные и что родственники у них какие-то ненормальные.

– Да, но есть люди *по-настоящему* необычные.

Конни глянула мне куда-то через плечо, словно ища предлог сбежать от меня потактичнее.

– Я это, собственно, только к тому, что сам изо всех сил пытаюсь быть хотя бы чуть менее необычным, – пояснил я. – И хочу научиться нормально жить в социуме.

Конни засмеялась, вновь заинтересовавшись.

– Так, и что?

– То, что наше с тобой свидание совершенно очевидно не удалось, и я точно знаю, что это моя вина, – сказал я. На лице Конни появилась вымученная улыбка, призванная скрыть стыд, который она за меня ощущала. Но я все же продолжил. – Ты абсолютно точно принадлежишь к числу людей, со стороны которых мне хотелось бы добиться симпатии, – объяснил я. – Так, может, ты скажешь мне, что я сделал не так?

По выразительному лицу Конни ясно читалась каждая мысль, промелькивавшая у нее в голове. Натянутая улыбка с него уже исчезла. В отличие от прочих, она не собиралась искусственно щадить мои чувства. Вместо этого она осуждающе вскинула бровь и несколько секунд холодно изучала мое лицо, пытаясь понять, действительно ли я желаю услышать ответ на свой вопрос.

– Я просил других о том же, – добавил я. – Но они все ввали мне и уходили от ответа.

Конни рассмеялась.

– Конечно, ввали! А ты как хотел?

– Но ты кажешься мне искренней. По крайней мере, твой дневник.

Конни чуть расслабилась и снова подалась вперед, сложив пальцы на столе так, словно она придерживала ими стопку покерных фишек.

– Да, – кивнула она, – так и есть. Я честна с людьми.

– Отлично! – ответил я. – Так расскажи о том, как выглядело наше свидание с твоей позиции.

В отличие от прочих девушек, с которыми я пытался завести этот разговор, Конни удовлетворенно улыбнулась.

– За время нашего свидания ты наговорил столько лишнего, что я в какой-то момент даже подумала, что ты пытаешься мной манипулировать и плетешь какую-то интригу. Потом, правда, я все же поняла, что ты просто странный.

– И что же я такого наговорил? – поинтересовался я.

Конни с готовностью принялась перечислять поднятые мной в разговоре темы, которые нельзя поднимать на первом свидании с девушкой. При этом она сияла так, словно никогда еще не чувствовала такого удовольствия от возможности втоптать кого-то в грязь.

– Вот ты, к примеру, сказал, что три месяца назад расстался с любовью всей твоей жизни и теперь просто не можешь представить себя с другой девушкой. Я поначалу приняла эту фразу за странную попытку то ли выпендриться, то ли заставить меня сблизиться с тобой из жалости.

Мне никогда раньше не приходило в голову, что мою искренность могут неверно истолковать и принять за интриганство, и мысль эта мне категорически не понравилась. Конни тем временем продолжала, активно жестикулируя и рубя руками воздух так же, как словами она резала правду-матку.

– Еще ты сказал, что не любишь большую часть людей, что это у вас взаимно и что друзья у тебя появились только после переезда в Нью-Йорк, так?

Тут она внезапно замолчала, словно замешкавшись, но быстро продолжила.

– Ах да, и еще никогда и никому не рассказывай о своем фетише, пока хотя бы раз не пересподишь с этим человеком. Если рассказать о нем в подходящий момент, может получиться очень даже сексуально, но если момент не тот – получается просто жутко и мерзко.

Удостоверившись, что я не собираюсь впасть после этих ее слов в истерику, она слегка успокоилась.

– А еще ты рассказывал про этот ваш странный семейнолагерный культ, помнишь? И еще ты сказал, что у тебя проблемы с деньгами и

что ты боишься, что из-за съемки клипа я сочла тебя богатым.

Тут я все же попытался объяснить.

– Мне просто подумалось, что тебе лучше заранее знать, во что ты ввязываешься. Разве тебе не хотелось бы заранее узн...

– Сделай всем одолжение – не думай так больше, ладно? – перебила Конни.

– Но ведь это правильно, – не унимался я. – Скажем, если бы у меня был герпес, разве ты не хотела бы, чтобы я предупредил тебя об этом до секса?

Конни закатила глаза, чем напомнила мне отца.

– Естественно, хотела бы, – ответила она.

– Ну вот. А теперь скажи мне, когда, в таком случае, мне следовало бы тебя об этом предупредить? – спросил я. – На первом свидании? На втором?

– Да не знаю я! – ответила она раздраженно. – С герпесом все сложно. У тебя правда герпес?

– Нет, я просто использовал герпес в качестве метафоры для моего характера и моих личных качеств.

Она рассмеялась и потрясла рукой перед моим лицом, как делают, объясняя нечто очевидное.

– Не надо на свидании со мной перечислять мне причины, по которым ты не должен мне понравиться. Это *идиотизм*. Попролам с эгоизмом, кстати. Ну подумай сам – ты вытащил меня на свидание, а потом взял и загрузил всем этим дерьмом.

– То есть ты считаешь, что стоит скрывать свои недостатки от людей, чтобы понравиться им? – уточнил я. – Одурачивать их, обманывать? Но это же неправильно.

Конни скрестила руки на груди и выплюнула:

– Какой смысл поступать правильно, если все тебя за это ненавидят? Вопрос показался мне очень хорошим.

Я сидел, положив локти на стол из швейной машинки, на котором все еще стояла купленная Евой ваза, из которой я несколько месяцев назад выкинул увядшие гортензии, и играл в «страхи». В одиночку играть оказалось значительно менее интересно. Без Евы, которая могла

бы вовремя меня остановить, мой список страхов оказался очень, очень длинным. Самыми важными пунктами в нем оказались следующие:

✓ Побывав в отношениях, я больше не смогу быть так же счастлив в одиночестве, как прежде.

✓ Рано или поздно уроки игры на укулеле исчерпают себя, и мне окажется не на что жить.

✓ Ева – единственная девушка на свете, которой подходил по-настоящему честный парень.

✓ У меня не получится найти другое жилье, поскольку я не смогу сойтись с арендодателем.

✓ Я во всем неправ, я заблуждаюсь, меня жестоко обманули, и все, что кажется мне правильным, на самом деле ложно.

Ниже я перечислил причины поумерить свою искренность:

✓ Ева – самый мудрый человек из всех, кого я когда-либо знал – и все, кем я восхищаюсь, живут нечестно.

✓ Я не хочу быть похожим на отца.

✓ Я хочу делать других счастливыми.

✓ Если столько людей вокруг живут нечестно, значит, наверняка что-то в этом есть, просто я этого не вижу и не понимаю.

Была и еще одна причина, которую я не записал, но которая сидела где-то глубоко на подкорке моего мозга: если я не стану никому открываться и никто не станет открываться мне, то я никогда по-

настоящему не люблю и не буду любим, а значит, мне не придется вновь проходить через боль расставания. Так что, надо думать, основная, истинная причина, по которой я решил забыть о честности, была не такой уж странной и редкой среди людей.

Часть третья

Нечестные деньки

Глава 10

Запретные темы

Для того, чтобы избавиться от честности, требовались определенные направленные действия, больше дюжины. Я решил начать с составления списка тем, которые я более не должен был ни с кем обсуждать. Первыми в голову пришли:

- ✓ *Неприятные истины*
- ✓ *Мои родители*
- ✓ *Ева*
- ✓ *Большинство людей*
- ✓ *Мои мнения по разным вопросам*
- ✓ *Семейный лагерь*
- ✓ *Моя личность и черты характера*

Надо сказать, мне совершенно не приходило в голову, что можно просто подстраиваться под тех или иных собеседников. В моем понимании некоторые темы просто были абстрактно неприятны для большинства людей, так что я решил просто и без затей взять и полностью их табуировать. Причем я был готов к тому, чтобы пополнять этот «черный список» каждый раз, когда очередная тема испортит мне разговор с каким-то человеком.

Я придумал еще несколько десятков более узконаправленных небольших правил, и все ради одной глобальной цели: научиться понимать окружающих и подстраиваться под них. Я морально готовился учиться распознавать намеки вместо того, чтобы задавать прямые вопросы, смирять свою экспрессию, перевернуть

категорический императив, начав делать для окружающих то, чего они сами хотели бы для себя.

Объявив строгий режим самоцензуры, я сообщил о нем всем знакомым. Разумеется, держать в тайне свою измену правде я не додумался. В целом, я надеялся заручиться поддержкой более сведущих в вопросах социального взаимодействия друзей и просить у них совета. О своих планах на уход в неискренность я открыто заявил на людной рождественской вечеринке в квартире одного моего товарища.

Все сидевшие за журнальным столиком от души рассмеялись.

– Я серьезно! – сказал я, активно жестикулируя. – Честность превратила мою жизнь в сущий ад!

Я продолжал говорить, но все вокруг по-прежнему смеялись; мои пальцы крепко сжали стакан с виски. Все принялись наперебой уверять меня в том, что стремиться стать лжецом – бредовая затея. В конце концов я все же сдался.

– Я всего лишь хочу попытаться стать столь же неискренним, как и вы все. После этих слов не рассмеялся уже никто из присутствовавших. Так в мой «черный список» тем вошла честность.

Собственно, буквально за неделю в него попало все, о чем я обычно разговаривал с окружающими.

Годами я отмахивался от обвинений в подмене понятий и в непонимании истинного значения многих слов. По мнению окружающих, то, что я называл честностью, было на деле грубостью, а то, что было мне известно как ложь, на самом деле являлось вежливостью. Из-за постоянно мелькавших в таких обвинениях слов «грубость» и «вежливость» я решил, что мне стоит почитать что-нибудь об этикете.

В то время этикет казался мне хитросплетением необязательных правил, составленным сильными мира сего с целью укрепления психологического контроля и своего влияния на окружающих. Некоторые из этих правил – к примеру, дико запутанные правила поведения за столом – были явно направлены на устыжение и осмеяние посторонних, с ними незнакомых. Другие предписывали воздерживаться от проявления каких-либо разногласий, называя утверждение личных границ «вызывающим поведением». Изобличение чужих проступков и недобросовестности считалось

«устраиванием сцен». Назвать кого-то расистом, как выяснилось, было еще более недопустимо, нежели сказать нечто расистское. Особенно тяжело мне давалось хитрое соотношение этих правил с общепринятой моралью. Скажем, использование неправильной вилки за столом в целом не расценивалось как нечто аморальное, но вот приступить к еде, не дождавшись, пока все остальные сядут за стол – это было уже сравнимо с физическим насилием, с «пощечиной». Лично я в этих правилах, направленных на благо меньшинства за счет большинства и проповедовавших классовое поклонничество и конформизм, не видел решительно ничего нравственного. В общем, к изучению этикета я приступил настроенным, мягко говоря, крайне скептически.

Чем дальше я углублялся в эти правила, тем больше уверялся в том, что предназначены они были в основном для коллекционирования и классификации всех мыслимых сортов лжи. Не хотите идти на вечеринку? Для этого есть специальный вид лжи. Вас что-то задело и не дает вам покоя? Пожалуйста, есть определенный подходящий вид вранья. Или, допустим, кто-то уличил вас в предательстве? И снова для этого случая есть идеальная ложь! Естественно, само понятие «ложь» в таком контексте ни в одной из книг по этикету ни разу не упоминалось – вранье, полуправда и уходы от ответов описывались в них массой других слов с более положительной коннотацией. Однако конкретно меня было сложно убедить в чем-то, называя ложь «обходительностью» или «добротой». В какой-то момент я принялся искать в этих книгах и брошюрах хоть какие-то ситуации, в которых описанное автором предпочтительное поведение можно было бы хоть с натяжкой назвать честным. Я был уверен, что эксперты по вопросам этикета считали ложь панацеей и едва ли не величайшим достижением в истории человечества.

Я считал себя достаточно сведущим в области лжи, однако быстро выяснил, что познания мои были весьма поверхностными. Я читал и поражался бесконечному количеству различных ее применений – разные виды вранья использовались для разных целей: одни – в качестве пустой лести, другие – для перенаправления разговора в другое русло, третьи – чтобы спровоцировать собеседника на определенные ответы. Эти истины проливали свет на нюансы всех моих разговоров с окружающими за последние несколько десятилетий. К примеру, я узнал наконец, почему люди, с которыми я говорил по

телефону, начинали как-то странно общаться после произнесенной ими фразы «не хочу вас задерживать». Оказалось, что от меня требовалось всего лишь действительно сделать вид, что они меня задерживают, и закончить разговор. Я же вместо этого обычно удивленно отвечал, что я никуда не тороплюсь, и спрашивал, с чего мой собеседник решил, что он меня задерживает. У меня просто в голове не укладывалось суммарное количество намеков окружающих, которых я не смог вовремя распознать и понять. Я искренне поражался своей тормознутости. Чаще всего меня это смешило, но я все же не мог не сочувствовать тем несчастным, кого я обременил когда-либо разговором.

Несмотря на то, что многие из почерпнутых знаний я послушно и исправно мотал на ус, мне никак не удавалось избавиться от отвращения к манере экспертов в области этикета располагать все на едва ли не священной общепринятой шкале вежливости. Нигде я не нашел ни намека на мнение о том, что этикет – вещь субъективная и поэтому не поддающаяся абсолютной оценке. Однако при этом практически все эти эксперты все же умудрялись хронически расходиться во мнениях едва ли не по каждому вопросу. Как можно было следовать правилам, по которым у специалистов до сих пор не было совершенно никакого согласия? Являлось ли нарушением личного пространства приветствие, обращенное к случайному соседу в очереди к кассе в магазине, или же, наоборот, невежливым считалось промолчать? Когда комплименты были неуместны, а когда воздержаться от них считалось дурным тоном? Неужели весь мир был построен на этой странной системе из заведомо проигрышных алгоритмов? Что делать человеку, столкнувшемуся с хамом – обратить внимание на грубость или же вежливо уйти от разговора, чтобы не ставить его в неловкое положение? Мой мозг буквально кипел и плевался саркастическими мыслями и гипотетическими ситуациями, сводившимися в условиях следования нормам этикета к пату. Кто вообще позволил этим идиотам называть себя экспертами по этикету? Кстати, мне сразу показалось, что называться экспертом в области этикета – само по себе невежливо.

В итоге я все же сумел напомнить себе, что собирался честно учиться, а не критиковать эту систему. Попытавшись посмотреть на мир глазами экспертов по этикету, я осознал, что их мировоззрение в

целом совпадало с мировоззрением моей семьи за одним большим исключением: они с состраданием относились к оскорбленным и уязвленным. По их мнению, забота о чувствах окружающих была вовсе не недостатком, не трагедией, а неотъемлемым аспектом повседневной реальности. Возможно, в этом заключалась одна из немногих истин, непонятных и неприятных для настоящего Левитона. Все то, что эксперты в области этикета призывали уважать, мои родственники высмеивали или пытались этого каким-то образом избежать.

В тот период моей жизни я часто пересекался с друзьями и знакомыми в своем любимом баре и задавал им вопросы о социальных нормах. Они в ответ пьяно смеялись и разносили в пух и прах мои неверные стереотипы один за другим. Конечно, я не мог судить, насколько их словам можно было доверять, однако они все равно оставались где-то на подкорке. Из-за того, что таких знакомых было много и я часто не мог вспомнить, кто именно и что именно говорил, и еще из-за того, что все они меня осуждали, я стал называть их своим «судом присяжных».

– Если верить экспертам в области этикета, – говорил им я, – то получается, что люди изо всех сил пытаются избежать стыда, но все равно всем постоянно стыдно. Я никак не могу понять, почему так выходит?

– Это потому, что тебе самому стыд неведом в принципе, – сердито отвечали мне проницательные «присяжные», глядя на меня исподлобья.

Я говорил, что мне бы очень помогли их личные примеры повседневных ситуаций, в которых им самим становилось стыдно. В ответ мои «присяжные» приводили в пример необходимость признать в разговоре с богатыми друзьями, что не могут чего-то себе позволить, или стыд перед крутыми девушками. Еще пару раз упоминались стыд за неподходящий наряд для вечеринки, стыд перед отказами на публике и стыд из-за унитазов со слабым сливом. Особенно один из «присяжных» разговорился на тему того, как однажды его девушка заглядывала ему через плечо, когда он снимал наличные с карты у банкомата.

– А у меня тогда на счету было всего сорок долларов, – рассказывал он, впадая в истерику, словно он вновь переживал ту ситуацию. – Мне

скоро должны были заплатить!

– Слушай, я вот одного никак не пойму, – говорил я. – Ведь все эти неприятности происходят постоянно – то туалет засорится, то на счету останется лишь сорок долларов. Со всеми бывает, ведь так? Так в чем тогда проблема? Стыдится бедности глупо – по статистике мы все, если сравнивать с меньшинством, живем без гроша в кармане. Гораздо стыднее брать это в расчет и осуждать кого-то, у кого нет денег! Такие девушки просто идут на поводу у дурацких социальных догматов. И вот это по-настоящему стыдно.

Эти слова явно задели многих из моих «присяжных» – оказалось, они сами попадали в описанную мной категорию людей.

В моих новых правилах было сглаживать ситуацию, если мой собеседник оскорблялся. Делал я это путем предварения едва ли не каждого своего утверждения словами «я просто хочу сказать».

– Я просто хочу сказать, – говорил я, – что на самом деле стыдно должно быть тем уродам, которые поставили тебя в такое положение.

Обычно мне отвечали, что из меня так себе судья в области стыда, так что я просто менял тему.

– В книгах про этикет написано, что многое из того, о чем мы прекрасно знаем сами, невыносимо слышать из уст других. Знаешь это чувство?

В ответ я услышал о:

✓ невозможности понравиться всем окружающим

✓ недостаточной нравственности отвечающего по сравнению с кем-то еще

«Видимо, потому так много людей терпеть не могут веганов, – предположил я. – Потому что на самом деле все они понимают, что веганы живут правильнее них с моральной точки зрения?» «Присяжный» подтвердил мою догадку, уклонившись от ответа и продолжив перечислять:

✓ Когда ты чего-то достигаешь, то совершенно не факт, что ты этого заслужил и добился сам.

✓ Твой партнер был с кем-то до тебя.

✓ Ваши отношения вряд ли продлятся долго, и вы наверняка возненавидите друг друга по их окончанию.

✓ Существуют люди с другими ценностями и другим стилем жизни.

– А, так вот почему, видимо, люди, у которых есть дети, так агрессивно реагируют на тех, кто детей заводить не хочет! И точно так же те, кто посвящают свою жизнь карьере и деньгам, не любят тех, кому это все не интересно.

✓ Ты никогда не разбогатеешь

✓ Всегда найдется кто-то красивее тебя

– Да как вообще можно досадовать из-за того, что ты не самый красивый на свете?! – поражался я. – Ну разумеется всегда найдется кто-нибудь красивее тебя!

У меня создалось впечатление, что список мог продолжаться до бесконечности, так что я остановил своего собеседника – уж больно тоскливо мне становилось от одной мысли о том, какого невероятного количества очевидных истин мне придется избегать в повседневном общении. Людям нужны были занавески на зеркалах, а я всю свою жизнь был зеркалом.

Один ты считаешь это ложью

Мои первые попытки лгать обычно предпринимались мной с целью выдать себя за обычного человека. На каждое «как ты?» я отвечал «хорошо» или даже «отлично» вне зависимости от того, как я себя чувствовал и как дела обстояли на самом деле. Я стал делать людям неискренние комплименты, чтобы им понравиться. Получив приглашение на то или иное мероприятие, я отвечал согласием, даже если вовсе не собирался на него приходить. Я притворялся, что узнал поздоровавшегося со мной человека из прошлого, даже если на самом деле совершенно его не помнил, и делал вид, что помню имя своего собеседника, даже если забывал его. Я молчал, когда кто-то из компании вносил денег меньше положенного при оплате вкладчину. Я закрывал глаза на любые промашки окружающих и делал вид, что ничего не произошло, даже когда в чем-то ошибался сам. Я притворялся, что мне нравятся совершенно не симпатичные мне люди. Я старательно наполнял свою речь дежурными вопросами, клише и лестью: «Как дела?», «Чем занимаешься?», «Откуда ты родом?», «Рад тебя видеть» и так далее.

Все это казалось мне незначительной жертвой. Иногда мне самому становилось буквально дурно от своих действий; я сжимал и разжимал кулаки от ярости, но прятал их в карманах. Не упомянув о чем-то, о чем по правде стоило бы сказать, я потом часами чувствовал себя отвратительно, словно с похмелья. Я казался себе золотой рыбкой в пластиковом пакете с водой. «Один ты считаешь это ложью, — неустанно напоминал я себе. — Один ты, а больше никто».

Пару месяцев спустя после начала моего грандиозного эксперимента с неискренностью меня пригласили в недавно открывшийся ресторан, в котором столики были расставлены вокруг массивного белого рояля. После еды столы убрали, чтобы освободить место для танцев вокруг рояля. Позднее, когда большая часть гостей разошлась, менеджер — подруга одного моего товарища — выключила музыку. В наступившей тишине я через какое-то время попросил у нее разрешения сыграть на рояле. Получив таковое, я принялся играть разученный когда-то джазовый мотив. Та девушка сказала, что им как раз требовался

пианист для фоновой живой музыки по воскресеньям, и предложила эту должность мне.

Мне как раз отчаянно требовалась работа, а идея работать пианистом мне понравилась, однако я понимал, что играть придется часами напролет, а общий хронометраж мелодий, которые умел играть я, не превышал и тридцати минут. Это не говоря уже о том, что, честь по чести, я не заслуживал денег за такую работу и не чувствовал себя вправе отнимать хлеб у настоящих пианистов. Раньше я бы посоветовал ей подыскать кого-нибудь другого, а заодно и порекомендовал бы пару-тройку подходящих знакомых, но в тот раз я решил поэкспериментировать. Я согласился и сделал вид, что более чем гожусь для такой работы. Она купилась и попросила меня прийти первый раз в ближайшее воскресенье, то есть через два дня. По моим прикидкам, на разучивание новых мелодий и оттачивание техники игры мне требовалась как минимум неделя, но я не стал честно говорить ей об этом, а солгал насчет уже имевшихся у меня на те выходные планов, уверив ее, что в следующее воскресенье точно смогу приступить к работе.

Всю ближайшую неделю я готовился к своему первому рабочему дню на новом месте. Однако к следующему воскресенью играл я все еще достаточно посредственно и был абсолютно уверен в том, что своим исполнением поставлю ту девушку в неловкое положение и что ей придется искать способ вежливо меня уволить. Однако моя игра всех устроила, к моему великому изумлению. Я мог бы счесть это доказательством того, что я играл вовсе не так плохо, как мне казалось, но хоть я и учился лгать другим, лгать самому себе было выше моих сил – я понимал, что все дело было в том, что владельцы ресторана и менеджер просто не очень внимательно слушали, да и вообще, вероятно, весьма слабенко разбирались в музыке. Куда бы меня ни взяли, ни одна работа на свете не была способна убедить меня в том, что я был хорошим пианистом. Однако порыв сказать об этом вслух я все же подавил.

Я не очень хорошо себе представлял, как буду заниматься поиском квартиры без помощи Евы, ведь именно она нашла нам предыдущую.

В отличие от меня, она умела правильно себя вести с риелторами и потенциальными арендодателями. Помимо проблем с общением, против меня играл еще и тот факт, что я был фрилансером, а значит не мог предоставить гарантий стабильного дохода, хотя бы по причине отсутствия постоянного работодателя. Мало кто горел желанием сдавать квартиру учителю игры на укулеле.

Я слышал, что ложь в таких вопросах была настолько обыденной, что стала практически неотъемлемой частью процесса поиска жилья, своеобразным общепринятым ритуалом^[78]. Я связался с одним знакомым, который пару раз нанимал меня сочинять музыку для рекламных роликов, и попросил его написать мне рекомендательное письмо, согласно которому я работал в его конторе на полную ставку и получал весьма немалую зарплату. Открывая ответное письмо, я уже готовился к тому, что мой знакомый назовет меня в нем низкосортным мошенником и заодно дебилом, однако выяснилось, что он вполне готов был оформить для меня такую бумагу.

Арендодатель привез меня в ветхую древнюю однушку, отлично, впрочем, расположенную и стоящую при том вдвое меньше рыночной цены. Я собирался было сказать ему, что он вполне мог бы просить за нее существенно больше, но вовремя одернул себя и промолчал, стараясь игнорировать физически болезненные неприятные ощущения где-то в животе. Не обнаружив в квартире пожарного выхода, я решил было спросить, не потому ли квартиру сдавали за такие смешные деньги, что в случае пожара она стала бы смертельной ловушкой для всех находящихся внутри, но вновь против воли промолчал. В ответ на вопрос арендодателя насчет моей работы и финансового благополучия я соврал о своей вымышленной должности и назвал ему свою весьма немалую несуществующую зарплату – то была самая моя наглая ложь за всю прошедшую жизнь. Арендодатель тут же предложил мне заключить договор. Я попытался было показать ему лживое рекомендательное письмо, любезно предоставленное моим знакомым, но мужчина отказался даже взглянуть на него, заявив, что верит мне.

На каждую ложь мой разум отзывался мощным стрессом и острым чувством вины и ужаса. В конце концов в этом странном неприятном чувстве в животе я с удивлением опознал то, что называлось стыдом. Я совершенно не привык еще поступать так, как мне самому казалось неправильным. Спасение от связанных с этим неврозов я находил в

мыслях о том, что в моих преступлениях не было жертв как таковых. Вообще, даже самая эгоистичная ложь с моей стороны часто оказывалась выгодна не только мне, но и моим собеседникам – ресторан получил искомого пианиста, а арендодатель – жильца. И все же я никак не мог отделаться от мерзкого чувства, что меня вот-вот поймают на том или ином вранье. Я мысленно представлял себе эти ситуации, и в каждой из них я сам занимал позицию возмущения и оскорбленности.

– Так ведь это вы все сами хотели, чтобы я лгал! – сказал бы я. – Вы вознаграждали меня за ложь и методично склоняли к ней!

Однако я достаточно быстро понял, что мало кто реагировал на ложь окружающих так же остро, как я – даже поймав меня на вранье и возненавидев за это, большинство людей все равно ничего не сказали бы вслух из вежливости. Это не говоря уже о том, что даже самое неблагоприятное мое вранье не считалось в обществе чем-то особенно предосудительным. Вскоре мое беспокойство по этому поводу начало утихать. Словом, я потихоньку начал привыкать лгать.

На дворе было лето 2010 года. Прошло уже восемь месяцев после нашего с Евой расставания и год после того, как я послал отцу рукопись своей книги, а я все еще крайне редко общался с родителями. Однако мои эксперименты с ложью давали для наших редких разговоры отличную тему. Родителям она казалась столь же забавной и странной, как и мне самому.

– Это же просто с ума сойти! – говорил я. – Когда начинаешь вести себя, как все, то словно попадаешь в какой-то совершенно другой мир, в котором никто не содрогается в ужасе от твоих слов! В нем всем хорошо и славно живется, а даже если нет, то все равно все молчат об этом!

– Хорошо им, надо думать, – смеялся отец. В ответ на мои слова о добавлении десятков пустых льстивых клише в речь он сказал: – Мои коллеги на работе считали, что я вечно на них зол, а я все никак не мог понять, почему они дружно так решили. Мой психотерапевт сказал, что все дело было, по-видимому, в том, что я в разговоре сразу

переходил к делу, опуская ненужные прелюдии типа «как дела?» и «рад вас видеть».

– А ты пробовал сначала говорить все это? – поллюбопытствовал я.

– Ага, пробовал. Проблема тут же решилась!

Отец захохотал, как мне показалось вначале, над тем, как он не понимал всего этого раньше. Затем я понял, что на самом деле он смеялся над тем, что такая мелочь оказывала каким-то образом такое значительное влияние на общение с окружающими.

– Я стал подыгрывать, конечно, – продолжил папа. – Хотя и испытывал некоторое омерзение к тому факту, что этим людям так отчаянно требовалось слышать от меня подобные слова, – он тяжело вздохнул. – Столько раз я не мог понять причин той или иной реакции окружающих, что мне в итоге потребовались услуги психолога. Я тогда не понимал, как меня воспринимали другие.

Я едва удержался, чтобы не ляпнуть, что в этом плане ничего так и не изменилось.

Мама, услышав от меня новость о моем новообретенном пути неискренности, попыталась меня поддержать.

– А я всегда говорила, что улыбка ничего не стоит. Надо чаще улыбаться людям – это бесплатно!

– Еще как стоит. Улыбка стоит ощущения понимания, – возразил я. – А тому, кому предназначена моя улыбка, она стоит точного понимания моих эмоций. Хотя им, похоже, зачастую все равно, искренна моя улыбка или нет.

Мама молчала, и я решил слегка сменить тему.

– Я как-то слышал, что даже неискренняя улыбка способствует выделению в мозг дофамина, и в какой-то момент такая улыбка все равно превращается в настоящую, искреннюю.

– Зато меня такие улыбки окружающих совсем не радуют, – отметила мама.

– Да, знаю, – ответил я, – я тоже никогда им не верил.

Мысли шире, делай ярче

Я предполагал, что сбор вещей для переезда в новую квартиру окажется одним сплошным марафоном слез, и предполагал, как выяснилось, совершенно верно. Переезжать из нашей с Евой квартиры оказалось по-настоящему тяжело; чувствовал я себя так, словно это не я переезжал, а меня переехали. Любая снятая с полки книга грозила задеть и сбросить передо мной на пол заваливающуюся где-то сбоку нашу с Евой фотографию. Отодвинув диван, я нашел под ним несколько ее запылившихся рисунков.

Я хотел уберечь хотя бы Еву от этих малоприятных чувств, а потому упаковал все ее вещи сам и оставил их в коробках вокруг стола из-под швейной машинки, которому просто не нашлось места в моей новой квартире. Впрочем, я боялся, что и Еве окажется некуда его поставить, где бы она ни жила. Разумеется, я не хотел, чтобы она выбрасывала его или продавала, однако заговорить с ней об этом не мог, боясь всколыхнуть старые чувства, которые я, встав на путь неискренности, крепко-накрепко наказал себе держать в секрете. В итоге мне пришлось выбирать, пытаясь понять, что для Евы будет больнее: думать, что я больше не люблю ее, или знать, что люблю до сих пор. Мне говорили, что отношения гораздо лучше обрубать с концами, даже если из этих концов торчали нитки неприятной правды. Упаковывая вещи Евы, я вспоминал о том, как когда-то искренность защищала меня от необходимости взвешивать различные виды боли и гадать о том, как мне стоит себя вести, чтобы добиться желаемого. Просто честно говорить обо всем, что чувствуешь и о чем думаешь, и не брать на себя груз ответственности за реакцию окружающих на свои слова и их последствия было не в пример проще. Семейный лагерь убеждал меня в том, что я не способен контролировать происходящие вокруг события – только свою реакцию на них. Из этого я сделал когда-то вывод о том, что чувства окружающих – это исключительно их забота. Но чем дальше, тем больше я стал убеждаться, что эти слова предназначались для глаз и ушей людей, которых тяготила потребность делать другим исключительно приятное, а вовсе не для того, чтобы оправдывать безрассудную невежливость мне подобных.

Неровно нанесенная когда-то на стены моей новой квартиры краска облетала прямо на глазах, а пол был укрыт заляпанным и местами вздувшимся линолеумом в стиле 1970-х. В «гостиной» хватало места для моего псевдовикторианского дивана и небольшого раздолбанного фортепиано, но втиснуть туда при этом еще и журнальный столик было уже физически невозможно. В спальне едва помещались кровать и шкаф с одеждой. Душ – так тот вообще занимал часть и без того крохотной кухни. Словом, я сразу понял, что большую часть своего времени дома я буду проводить именно в гостиной, поскольку лишь в ней оставалось хоть какое-то подобие свободного пространства. В какой-то момент я решил посоветоваться с одним своим другом, который работал дизайнером интерьеров. Заметив пару раздобытых мной где-то винтажных зеркал, он предложил мне купить еще таких и повесить ими все стены от пола до потолка.

– Как в старых салонах, – пояснил он, – Или как в Версале.

Он уверял, что зеркала визуально сделают комнату больше. Едва не прыснув от осознания, что даже моя квартира теперь будет одной сплошной ложью и иллюзией, я спросил его, не смутит ли это потенциальных гостей. В конце концов, я все же пытался вписаться в социум. Мой знакомый небрежно помахал рукой и заявил:

– Мысли шире, делай ярче!

Так я начал собирать зеркала. Я быстро нашел в своем новом квартале Бруклина пару лавочек с разным интересным хламом; периодически я обнаруживал то там, то здесь подходящее зеркало, покупал его и тащил домой, неся на манер щита. Прохожие иногда украдкой смотрелись в него, неосознанно поворачиваясь так, чтобы отражение им нравилось. Они лгали сами себе, даже просто смотрясь в зеркало.

Всего пару месяцев спустя стены моей квартиры были уже увешаны целыми созвездиями из зеркал. Я стал замечать, что гости предпочитали садиться в уголках, в которых вероятность увидеть собственное отражение была меньше всего. Иными словами, я ненароком в очередной раз сделал так, что, проводя время со мной,

любой должен был обращать внимание на себя самого, хотел он того или нет.

Обед с Чеховым

За восемь лет жизни в Нью-Йорке я успел несколько раз побывать звукорежиссером в разных барах и на вечеринках. Обычно я ставил пластинки со старым роком, соулом или джазом, а это неизбежно означало, что какие-то люди постоянно критиковали мой выбор музыки и просили включить что-нибудь другое.

Как-то раз я ставил музыку на танцевальной новогодней вечеринке, на которую собралось около четырехсот человек. В какой-то момент один молодой парень подошел ко мне и спросил, почему я не ставлю хип-хоп. Я ответил, что люблю хип-хоп, но специализируюсь на других жанрах. Но он не сдавался.

– Ну, большинство диджеев ставят хип-хоп, – недоумевал он. Я ответил, что понимаю его желание послушать хип-хоп, но всех остальных по большей части вполне устраивает старый добрый рок-н-ролл. В подтверждение своих слов я обвел рукой сотни танцевавших перед нами людей. Парень в ответ просто повторил:

– Но ведь большинство диджеев ставят хип-хоп.

В другой раз какая-то выпившая девушка просто попросила:

– А можешь поставить что-нибудь нормальное?

В эпоху честных деньков мне обычно крайне тяжело было отвязаться от таких людей. Мое нежелание вступать с ними в полемику, равно как и прямой отказ удовлетворить их требования, они обычно считали неуважением. Пару раз от меня требовали извинений, угрожали или даже приглашали выйти помахаться.

Зимой 2010 года я подрабатывал звукорежиссером один вечер через шесть в маленьком псевдовинтажном коктейльном баре с потрескавшимися зеркалами и обшарпанной мебелью. В первый же мой рабочий вечер там одна девушка заказала что-то из современного попа, хотя меня, естественно, нанимали ставить совсем другую музыку. Вместо старого проверенного метода отговорки на тему того, что я не принимаю заказы, я решил попытаться схитрить: я устроил целый спектакль, убеждая ее в том, что сам обожаю эту песню, но, к великому сожалению, не располагаю ее записью. Это была моя

первая попытка сделать социальный намек. Однако девушка намека не поняла, воодушевилась и сказала, что запустит эту песню со своего плеера, если я подключу его к стереосистеме. Оказалось, что мне говорили правду – такое непонимание твоих намеков другими и впрямь неприятно и утомительно. Я чуть не вышел из роли, но все же сдержался и ответил просто, что имею право ставить только винил. Она в ответ рассмеялась и заявила, что я слишком строго придерживаюсь правил – ей явно казалось, что она производит веселое и приятное впечатление. Дальше я прибег к не единожды замеченному мной в исполнении самых разных людей методу ухода от проблемы путем переваливания вины на вымышленного человека – сказал, что я бы и рад поставить ее заказ, да только хозяин заведения, дескать, старпер и тормоз, слушающий исключительно старье, а вылетать с работы мне-де мучительно не хочется. Девушка порекомендовала сказать владельцу, что то, что нравится ему, не обязательно должно нравиться посетителям. Я уже видел очевидные плюсы свежеиспытанных мною тактик, но разговор упрямо не желал близиться к завершению. Все, что я ей говорил, лишь больше ее раззадоривало. Мне все это решительно надоело, так что я от отчаяния пошутил со скрытой издевкой:

– Кажется, это тебе стоит быть диджеем!

Она широко улыбнулась.

– И правда, – заявила она. – Из меня вышел бы отличный диджей!

Сказав так, она счастливо упорхнула обратно к своим подругам. Я видел, как она что-то воодушевленно им рассказывала, активно жестикулируя и указывая в мою сторону – очевидно, хвасталась им тем, как я только что посвятил ее в диджеи.

С тех пор каждый раз, как кто-то подходил к моему пульта, я улыбался и говорил исполненным теплотой и энтузиазмом голосом, что этому человеку стоит стать диджеем. И каждый раз человек уходил довольным. Я совершенно ошибочно полагал, что этим людям было хоть какое-то дело до музыки – нет, им просто нужно было общение и социальное признание. Мне постоянно приходилось напоминать себе о том, что крайне немногие люди по-настоящему сами верили в свои слова. А осознание своих желаний и истинных причин тех или иных своих действий доступно было вообще единицам. В итоге я вывел для себя еще одно правило:

✓ Не воспринимай слова окружающих *всерьез* – у них в голове бардак.

Когда я рассказал одной знакомой о своей новой тактике, она в ответ поделилась историей о том, как победила одну из своих проблем. Практически все мужчины, спрашивая о ее работе и слыша в ответ «художница», пускались в достаточно нудные и неприятные лекции на тему работы художником. Перебить или уйти не получалось – это только злило и оскорбляло собеседника. После череды неудачных экспериментов она все же нашла одну-единственную спасительную фразу:

– Откуда ты столько знаешь про изобразительное искусство?

Обычно после этого ее собеседник надувался от гордости, говорил что-нибудь абстрактное и отправлялся восвояси походкой победителя. Я поинтересовался, не бесит ли ее то, что все эти люди уходили, чувствуя себя настоящими экспертами.

– Бесит, – ответила она. – Но лучше так, чем ругаться или слушать, кивать головой и страдать.

Открыв для себя этот способ говорить людям то, что они хотят услышать, я решил сам попробовать его в действии – не для того, чтобы избежать неприятных разговоров, а для того, чтобы делать окружающих чуточку счастливее.

Как-то раз одна из учениц, бравших у меня уроки по детской литературе, написала книгу про одну маму, которая постоянно чувствовала себя недооцененной. Ее дети не благодарили ее, когда она подвозила их до школы или готовила еду, не замечали, сколько труда она вкладывала в планирование их дней рождения. И без телепатии легко было понять, что на самом деле героиней этой книжки была сама женщина, ее написавшая. Мама из книжки напоминала ее даже внешне. Она сдала мне рукопись, давая согласие на то, чтобы ее прочитали остальные ученики, и на поочередное обсуждение ее творения на занятии.

Будучи преподавателем, я чувствовал себя обязанным рассказать обо всем, что можно было исправить в лучшую сторону в работах моих учеников. В изначальной рукописи все внимание уделялось самой матери, а дети всего лишь упоминались вскользь пару раз. В итоге такая книга скорее устыдила бы читающего ее ребенка, а не развлекла. Это можно было исправить гротеском, описав, например, какое-нибудь преувеличенное до смешного самопожертвование со стороны матери и сделав так, чтобы дети вообще его не заметили. А можно было развернуть всю концепцию наоборот и написать об альтруистичном ребенке, чья мама никогда его не благодарила и не замечала его добрых поступков и его жертвенности.

Обычно комментарии к рукописям сместили моих учеников – как самих авторов, так и слушателей – но в тот раз я явно почувствовал, что та женщина, вероятно, любую критику своей героини восприняла бы как критику в собственный адрес. А я собирался не просто сказать ей, что ее героиня слишком мало жертвует собой, так еще и, по сути, обвинить ее, что она сделала героиней саму себя, а не отдала эту прерогативу нуждающимся в ней детям. Мне показалось, что она хотела услышать ровно обратное.

На глазах у всех своих учеников я начал свой комментарий со слов о том, что эту книжку было очень приятно читать, и о том, как хорошо, что есть на свете такие замечательные матери, и как жаль, что многих из них так недооценивают. Та женщина буквально засияла и почти сразу перестала слушать дальше – я и так сказал все, что она хотела от меня услышать.

Примерно в тот период я услышал историю об одном молодом русском, жившем в XIX веке, которому выпала удача поговорить за чашкой чая с писателем Антоном Чеховым. Молодой человек был заранее уверен, что опростоволосится – он и думать не смел, что сумеет сказать хоть что-нибудь, способное заинтересовать такого титана. Однако, оказавшись за одним столом с Чеховым, он обнаружил, что едва ли не все, что он говорил, оказывалось гениальным. Чехов смеялся, ахал и почти не говорил сам, а только задавал вопросы. В тот день молодой человек ушел, до глубины души

пораженный пониманием, насколько он сам себя недооценивал. Интерес Чехова к его словам давал его речи свободу и глубину, вселял в него веру в ценность его слов.

Много десятков лет спустя, когда Чехова уже давным-давно не стало, тот некогда молодой человек встретил другого человека, который тоже чаевничал в свое время с Чеховым. Он воодушевленно пересказал своему новому знакомому уже заученную наизусть историю о том, как покорила самого Чехова. Его собеседник тепло улыбнулся в ответ и сказал, что уже не раз слышал эту историю, и каждый, кто общался с Чеховым, описывал происходившее точно так же, разве что не слово в слово. По его словам, его самого эти смешки и аханья Чехова заставили по-новому взглянуть на самого себя. Бывший молодой человек был просто раздавлен осознанием того, что Чехов просто-напросто проявлял тактичность, уделяя всем равное внимание, словно заботливый отец – собственным детям. Его собеседник почувствовал глубокое разочарование того некогда молодого человека и убедил его, что Чехов был очень честным, а такая реакция на слова собеседника являлась лишь проявлением его природной любознательности и восхищения родом человеческим. Он умел влюблять людей в самих себя.

Эта история никак не давала мне покоя. У меня сразу же возникли десятки вопросов. Неужели Чехов вдохновлял людей на то, чтобы они становились более живыми и интересными, просто давая им быть самими собой, как всегда делал это я? Был ли Чехов по-настоящему искренен? Или же он просто помогал людям почувствовать себя значимыми вне зависимости от того, кем они были на деле? Возможно, Чехов просто отражал их собственные фантазии на тему того, кем они хотели бы стать? Ну ведь не мог же Чехов, в самом деле, любить всех на свете! И, даже если он помогал несимпатичным ему людям полюбить себя самих, разве уже одно это не делало его замечательным человеком?

Был Чехов до конца честен или нет, но я точно решил тогда, что хочу быть на него похожим.

Неизмеримая глубина разговоров ни о чем

Мой список запретных тем требовал поиска новых жанров разговора. Я был вполне готов отяготить себя такой задачей, если бы это позволило мне меньше смущать окружающих. Я постепенно привыкал к некогда дикой для меня идее, что раз уж кому-то суждено быть в проигрыше, то лучше пусть это буду я. В итоге я начал учиться «говорить ни о чем».

Годами ранее, сидя как-то в приемной и ожидая очереди к стоматологу, я читал какой-то журнал, в котором было интервью с одной актрисой. В нем она утверждала, что ей нравятся «дурацкие» разговоры при первом знакомстве. В качестве примера тем для таких разговоров она приводила обсуждение любимого цвета. Мне это казалось диким, но я честно пытался относиться к подобному без предрассудков. Многие люди что-то находили в вещах, казавшихся мне абсолютно бессмысленными. Мне стало любопытно, что будет, если я, сидя как-нибудь вечером в своем любимом баре, познакомлюсь с кем-нибудь и начну обсуждать с этим человеком цветовые предпочтения.

Придя после этого в бар, я тут же натолкнулся на одного знакомого, который немедленно представил меня одной девушке-музыканту. Надо сказать, что для предстоявшего социального эксперимента кандидатуры хуже было просто не сыскать. Я сразу же узнал ее по фотографиям с ряда показов мод и выставок в художественных галереях; она носила характерный черный берет и пользовалась темно-алой губной помадой. Представивший нас друг ушел к барной стойке за выпивкой, а девушке явно не хотелось оставаться со мной наедине. Я был абсолютно уверен в том, что на мой вопрос о ее любимом цвете она рассмеется или просто сбежит от меня, но я все-таки решил хотя бы попытаться. Начинать разговор, не имея никакого желания и намерения показаться собеседнику интересным человеком, оказалось удивительно приятно и комфортно.

В ответ на ее шаблонный вопрос о моих занятиях я абсолютно честно ответил:

– В последнее время я в основном пытаюсь подобрать подходящий цвет для стен в спальне моей новой квартиры.

– О, правда? – спросила она.

– Вот у вас есть любимый цвет? – поинтересовался я.

К моему удивлению, она охотно начала перечислять свои любимые цвета и рассказывать о том, как со временем менялись ее предпочтения. В ее голосе и поведении не осталось ни следа снисходительности или скуки.

– Не факт, что стоит красить стены в свой любимый цвет, – заметила она, пока я тихонько про себя давился от смеха от того, как бойко и уверенно шел этот намеренно идиотический разговор. – Какие цвета рассматриваете?

На этот вопрос у меня уже заранее был сочинен подходящий ответ.

– Вообще мой любимый цвет – баклажановый, – ответил я. – Я уже все магазины с краской для стен обошел, и нигде не нашел нужного оттенка фиолетового. В какой-то момент мне все же насилу удалось найти одну частную фирму, у которых был идеально подходящий цвет – я прихожу к ним, беру баночку с пробником, смотрю на этикетку, а там написано «Холостяцкий джаз».

– О, какой ужас, – рассмеялась она.

– Я прямо представил себе серьезное собрание в конференц-зале по поводу названия нового оттенка, и кто-то в дорогом костюме говорит такой, – тут я изобразил курящего дорогую сигару бизнесмена, – «Я точно знаю покупателя этого оттенка. Представителю нашей целевой группы, вероятнее всего, около тридцати, он только что расстался с девушкой и переехал в новую квартиру. Скорее всего он подрабатывает, играя джаз в ресторанах. В общем, типичный абсолютно случай – таких в нашей стране каждый третий. „Холостяцкий джаз“! Как вам? Уверен, это будет просто бомба».

Девушка смеялась и весело ухмылялась без тени смущения или неприязни. Мне даже захотелось честно ей признаться, почему и зачем я заговорил с ней о цветах, но я удержался, зная, что это все испортит. В результате я едва не разрыдался, но все же смог сдержать и этот порыв тоже.

В тот вечер я попробовал тему цветов и оттенков еще на нескольких «подопытных». Если кто-то из них и слушал меня из вежливости, пытаясь на деле побыстрее от меня отделаться, я этого не заметил. Как ни трудно мне было в это поверить, им всем такие разговоры действительно нравились.

Я всегда полагал целью любого разговора самовыражение либо получение сведений от собеседника, то есть обмен информацией. Очевидно, я всю жизнь упускал целый отдельный жанр разговоров. Я вспоминал школу и одноклассников, которым никакие разговоры не требовались для игр, думал о словах Макса из семейного лагеря, который говорил, что человек может быть любим без необходимости заслуживать это какими-либо словами. Многие из моих друзей предпочитали вместе играть в видеоигры в полной тишине, и даже некоторые влюбленные редко разговаривали друг с другом. Раньше я думал, что всем этим людям просто нечего было сказать или, что еще хуже, они боялись говорить. Теперь я понял, что они просто общались друг с другом совершенно иначе, не прибегая к словам.

Следующие несколько недель я оттачивал свои навыки разговоров ни о чем с незнакомцами. Спустя несколько десятков таких разговоров я наконец нашел одну-единственную девушку, которой такой подход не понравился.

– Ты правда хочешь знать мой любимый цвет? Серьезно? – спросила она. – Мы что, в детском саду?

Я хохотнул, обрадованный тем, что все же нашел хотя бы одного единомышленника.

– Вот-вот, именно! – воскликнул я. – Я недавно начал экспериментировать с такими разговорами ни о чем и, должен сказать, это просто нечто – люди в массе своей и впрямь готовы охотно обсуждать ерунду вроде своих любимых оттенков. Ты первая из всех, с кем я пробовал так говорить, кто этому воспротивился и вообще заметил, что это ненормально!

Незнакомка смерила меня полным отвращения взором.

– Я-то сам правда совершенно не желаю говорить о цветах, – уверил я ее. – Просто это почему-то нравится почти всем остальным. Я всего лишь пытаюсь сделать окружающих хоть чуточку счастливее.

Девушка глянула на меня исподлобья.

– То есть ты спросил меня о моем любимом цвете, поскольку счел меня душой?

– Нет, почему же – возразил я. – Разговор ни о чем – вовсе не признак глупости. Я раньше тоже так думал, а потом в какой-то момент понял, что это просто такой другой вид коммуникации, ничем не лучше и не хуже нашего!

Я размахивал руками, активно жестикулируя, крайне взбудораженный тем, что нашел наконец того, с кем можно было об этом поговорить.

Моя речь не произвела на девушку ровным счетом никакого впечатления.

– Любой, кто говорит с тобой о своем любимом цвете – либо законченный придурок, либо просто пытается быть вежливым.

Сквозившие в ее голосе снисхождение и осуждающая уверенность на минуту дали мне хотя бы отдаленное представление о том, каково, видимо, окружающим было разговаривать со мной самим.

Глава 11

Это ненормально

Несмотря на то, что я уже более-менее привык лгать в тех или иных повседневных ситуациях, применять свои новые правила жизни к свиданиям мне почему-то не хотелось. Перспектива очаровывать кого-то ложью вызывала у меня буквально физическое отторжение. Мои «присяжные» советовали мне сразу стараться представить себя на свидании в максимально выгодном свете, потом подождать пару месяцев, а уже затем начинать потихоньку открывать новому партнеру свои негативные стороны. Я считал это мошенничеством; они называли это нормой.

Я прочел некоторое количество статей и даже книг об искусстве романтических взаимоотношений. Предполагаемые эксперты в этой области словно исходили при написании этих текстов из некой данности, заключающейся в том, что никто и никогда не станет любить тебя таким, какой ты есть, что отношения – ловкий трюк, и не более того. Понятие «труднодоступности» оказалось для меня крайне труднодоступным само по себе. Автор одной из книг советовал незаметно и ненавязчиво разворачивать корпус чуть в сторону при разговоре с кем-то привлекательным, чтобы создать легкое привлекательное впечатление отсутствия заинтересованности. В одной из статей было написано, что вместо прямого взгляда в глаза девушке надлежало смотреть на ее переносицу, поскольку так взгляд становился более спокойным и сексуальным. Однако, даже если бы мне удалось приворожить кого-то этими или другими уловками, я сам все равно понимал бы, что этот человек влюбился не в меня, а в мои психологические трюки и манипуляции.

Иконные персонажи художественных фильмов и книг часто вели себя так, будто вызубрили когда-то наизусть именно те книги, что я читал. Персонажи Джейн Остин привлекали друг друга той самой пресловутой труднодоступностью и взаимными оскорблениями, относясь друг к другу едва ли не хуже, чем Уэстли и Люттик из «Принцессы-невесты». Даже самые очаровательные из героев

старых фильмов – персонажи Астера, Роджерса, Хепбёрн, Гранта, Белафонте, Дэндридж, Стэнвик и Фонда – все равно говорили непрямо и редко показывали окружающим себя настоящих. Как ни печально было это признавать, даже в моих любимых художественных произведениях отношения редко имели что-то общее с искренностью.

Мое первое неискреннее свидание состоялось в августе 2011, спустя где-то полтора года после начала моего большого эксперимента. Малаику я встретил в ресторане, в котором играл тогда на фортепиано. Она была в просторной, яркой, «летней» по настроению одежде, а в волосах носила цветок гардении на манер Билли Холидей. Я редко нравился людям, имевшим привычку постоянно улыбаться, но она села в тот раз за ближайший к фортепиано столик и весь обед играла со мной в гляделки, пока я музицировал. Надо сказать, что ее светлокариые глаза практически не моргали – никаким моим дарованиям было и близко не сравниться с ее талантом к игре в гляделки. Мои руки тряслись от волнения, когда я приглашал ее на свидание. Вместо того, чтобы продиктовать мне свой номер, она схватила мой сотовый и забила в него нужные цифры самостоятельно.

В качестве нашего с ней первого свидания я пригласил ее на концерт одного моего знакомого музыканта. Сам я пришел заранее, не торопясь выкупил билеты и принялся ждать мою спутницу на тротуаре снаружи, нервно грызя ногти и постоянно косясь на свои часы. В конце концов я заметил ее, машущую мне издалека. Подойдя ко мне, она без малейших предисловий приветственно обняла меня. Размыкая эти объятия, я едва удержался от того, чтобы честно объявить это свидание всего лишь экспериментом на тему обмана. Ощувив внезапную боль в деснах, я осознал, что машинально изо всех сил стиснул зубы, чтобы не произнести этих слов вслух.

Потом мы в молчании танцевали с Малаикой под аккомпанемент моего выступавшего знакомого – молчание существенно играло мне на руку. После танцев мы пошли выпить по бокальчику вина в бар по соседству, в котором было так темно, что нашим глазам потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к слабому освещению. Стоявшие за узорчатым стеклом свечи были стратегически расположены так, чтобы отбрасывать тень в определенные места. Мы с Малаикой устроились на стульях за одной из стоек. Ее флиртующая улыбка

словно говорила мне: «Мне наверняка все понравится, но только при условии, что ты не будешь открываться мне по-настоящему».

Я старался говорить как можно меньше, задавая вместо этого побольше вопросов – это мне было совсем не в тягость: я правда хотел узнать ее поближе и наслаждался ее мелодичным полушепчущим, полусмеющимся голосом. Она тянула некоторые слова и гласные и иногда делала паузы, заканчивая реплику красноречивым выражением лица. Каждый раз, когда все же заговаривал я, моя напрочь лишенная изящества стремительная болтовня на контрасте напоминала запинаящуюся пулеметную очередь. А ведь когда-то мне искренне нравилась моя манера говорить; моя новообретенная озабоченность тем, как меня воспринимают окружающие, уже исказила мое собственное восприятие самого себя.

Малаика рассказала мне, что ее работа была связана с разработкой детских наборов для бумажного моделирования.

– Могу болтать про бумагу сколько угодно, пока не остановят – хоть весь день, – добавила она. Она описывала мне разные бумажные безделушки и оригами, которые складывала сама – оказалось, все ящики ее рабочего стола были буквально набиты такими бумажными фигурками и моделями.

– Моя квартира – настоящее бумажное царство, – сказала она. Несмотря на то, что я в основном молчал, ей, казалось, вовсе не было скучно.

Виски и само ее присутствие постепенно опьяняли меня, и следовать моим правилам становилось все сложнее и сложнее. Привлекательная женщина сама по себе оказывала на меня эффект, сходный с действием сыворотки правды.

В какой-то момент Малаика открыла было рот, чтобы сказать что-то еще, но вдруг замешкалась – очевидно, не один я в ходе нашего разговора занимался тщательной самоцензурой. Она явно морально готовилась произнести нечто рискованное.

– Знаешь, это мое первое настоящее свидание, – призналась она, обняв себя руками. Одна из пляшущих вокруг теней живописно закрыла один ее глаз. – Я всего пару месяцев назад рассталась с парнем, – добавила она. – И не особо умею жить в одиночестве.

Тот факт, что Малаика сама упомянула про недавнее расставание, можно было бы принять за разрешение рассказать ей про Еву, но

у меня на этот счет уже было отдельное правило:

✓ Не принимай чужую открытость за приглашение.

То, что она упомянула своего бывшего, совершенно не значило, что она не осудила бы меня, заговори я о Еве. Малаика рассказала мне, что встречалась раньше только с друзьями и ни разу в жизни не ходила на свидание с незнакомцем.

«Отношения» и «свидания» стояли в списке моих запретных тем не просто так. Я начал лихорадочно перебирать различные возможные стратегии увода разговора в сторону. Малаика нахмурилась.

– Все хорошо? – спросила она. – О чем думаешь?

Тут я уже по-настоящему запаниковал.

– Давай не будем об этом, – ответил я.

– Почему нет? – засмеялась она.

– Есть список тем, на которые мне не стоит разговаривать, – сконфуженно пояснил я.

Малаика засмеялась пуще прежнего, однако разом посерьезнела, поняв, что я не шутил. Мне сразу понравилась ее пронизательность. Поставив свой бокал на стол, она спросила:

– И кто же решил, какие темы ты можешь обсуждать, а какие – нет?

– Я сам, – ответил я. – Я составил этот список собственноручно.

– А, вот оно что, – рассмеялась она с явным облегчением в голосе. – Я уж подумала, что это из области психотерапии. Собственно, она не ошиблась – весь мой мозг был «чем-то из области психотерапии».

– Так, – сказала она, улыбнувшись и подавшись вперед. – То есть у тебя есть список тем, обсуждать которые ты сам себе запретил?

– И я его дополняю каждый раз, когда очередной разговор приводит к ссоре.

Она снова рассмеялась.

– И что же это за темы?

– Вообще, мне не стоит тебе об этом говорить, – осторожно произнес я.

В ответ Малаика без предупреждения начала второй раунд нашей с ней игры в гляделки.

– Еще как стоит, – возразила она. Мне пришлось лишний раз напомнить себе, что чаще всего люди, утверждавшие, что хотят знать, что у меня на уме, жестоко ошибаются.

– Ты ведь сам хочешь рассказать, я же вижу, – добавила Малаика.

– Я вообще много чего хочу рассказать тебе, но это не значит, что мне стоит это сделать, – ответил я, намеренно вводя ее в заблуждение этой формулировкой – я хотел рассказать о таких вещах всем, а вовсе не ей одной. Вот только во всех этих вещах не было решительно ничего веселого, романтического или привлекательного – наоборот, такие вещи обычно отталкивали от меня людей. В результате мои слова показались флиртом только из-за того, что я опустил ряд деталей.

Малаика опустила глаза, и ее взгляд остановился на моих губах. Я едва не спросил ее, означал ли этот взгляд призыв дотронуться до нее или поцеловать, но вовремя напомнил себе о другом правиле:

✓ Не спрашивай ни на что разрешения – людям нравится, когда их мысли читают.

Меня откровенно раздражала невозможность задать ей этот вопрос напрямую, но я все же решил доверить трактовку сложившейся ситуации своей интуиции и не слишком уверенно положил руку на ее оголенную ногу.

Малаика усмехнулась.

– Надо думать, список тем, которые ты не должен обсуждать, сам по себе является одной из таких тем?

Я напомнил себе, что флирт часто подразумевал неискреннюю критику. Отметив ее внимательный взгляд и открытую позу, я вспомнил еще одно правило:

✓ Доверяй выражению лица и языку тела собеседника больше, чем его словам.

Вскоре мы уже всюду целовались, все еще сидя по разные стороны стойки. От поцелуя меня постоянно отвлекали назойливые мысли и порывы отодвинуться, сказать ей, что я ее обманул, что все это свидание – один сплошной подлог, что я молчал только, чтобы ей понравиться, и что этот эксперимент доказал все теории, которые вызывали у меня искренний ужас. Но я не отстранился и не сказал ничего после поцелуя. Как все же удобно было молчать!

К тому моменту я консультировался со своими «присяжными» уже более года. Двоих из них недавно бросили их парни. В результате Кармен стала приходить в бар каждый вечер, напиваться, рыдать на публике и жаловаться всем подряд на то, как она одинока, а потом отшивать лезших с поцелуями незнакомцев. Энджи же словно по мановению волшебной палочки превратилась в настоящий вулкан, извергающийся потрясающими песнями на тему расставания. Словом, в тот период они не особо годились в советчики; впрочем, их самих это ничуть не смущало.

Как-то раз мы втроем сидели за барной стойкой, и я рассказывал им о своем неискреннем свидании с Малаикой. Энджи чуть улыбалась, обнажая кривоватые зубы. Каждые несколько минут она немного скашивала глаза – ее явно захлестывали собственные воспоминания.

Кармен, всегда умевшая держаться стильно и с бравадой вплоть до самого конца, после чего у нее разом случалась полноценная истерика, как обычно посмеивалась надо мной.

– Ты что, правда рассказал ей про свой список? Наверняка она сочла тебя чокнутым.

– Вполне возможно, – ответил я, – но, так или иначе, мы поцеловались.

– Вот видишь?! – победно заявила Кармен, ухмыляясь. – А я ведь тебе говорила – ничего не мешает тебе быть самим собой. Просто нужно отыскать подходящего человека.

– Знаешь, один-единственный момент искренности за весь разговор как-то не сильно вписывается в мое понимание выражения «быть самим собой», – проворчал я.

– Да не важно, это уже мелочи. – Вечно находился кто-нибудь, кто говорил «да не важно, это уже мелочи». – Быть самим собой вовсе не означает озвучивать каждую свою мысль.

Я отхлебнул из бокала и ушел в философию.

– С определениями таких понятий все не так просто.

– Но это же отлично, что ты можешь быть с кем-то искренним, – мягко произнесла Энджи. – Ведь именно это твое качество так всем нравится.

Я вцепился руками в края своего стула.

– Это все равно что сказать лечащемуся от алкоголизма человеку, что пьяным он прикольнее.

Кармен снова рассмеялась.

– Искренность – это хорошо, все это знают.

– Знаешь, когда я был подростком, мне отчаянно хотелось, чтобы все умели читать мысли. Чтобы мысли, чувства и биографии всех людей автоматически тут же становились достоянием общественности.

– Так, ладно, это уже перебор, согласна, – перебила Кармен.

– Я думал, что если бы каждый из нас был вынужден видеть все содержимое мозга собеседника и вообще всех окружающих, все истории, приятные и не очень, все комплексы, весь стыд, боль и страх, то мы бы все гораздо больше сочувствовали ближнему и любили бы друг друга.

– Ва-а-ау, – задумчиво протянула Энджи, размышляя над моими словами.

– Но я был дураком, – продолжил я. – Стоит нам увидеть проявления чувств других или поведение, отличное от нашего – и мы сразу пугаемся, чувствуем угрозу и ненависть по отношению к человеку, который проявляет эти чувства. А увидев в чьих-то действиях или словах комплексы, от которых страдаем сами, вместо симпатии и сочувствия мы испытываем отвращение. Мы ловим других на том же, чем занимаемся сами, и называем их уродами.

Кармен засмеялась.

– Слушай, ты все-таки слишком уж загоняешься.

Эту фразу я тоже слышал с завидной регулярностью.

– Искренность редко позволяет нам любить друг друга, – продолжил я, как ни в чем не бывало. – А быть любимым обычно означает лгать и скрывать свои чувства.

Тут Кармен уже перестала смеяться.

– Ты слишком негативно смотришь на вещи.

– Но ведь по сути ты со мной согласна, – отметил я. – Если бы это было не так, стала бы ты жить так, как живешь сейчас?

С Евой мы не общались с тех самых пор, как я переехал в новую квартиру почти год назад. Я надеялся, что прошло уже достаточно времени, чтобы мы смогли спокойно встретиться на правах друзей, и в итоге мы с ней все же решили вместе сходить выпить.

В бар она явилась в летнем платье и очках на удивление нормального размера. Выглядела она значительно моложе меня и, как мне почему-то показалось, менее опытной и менее уставшей от превратностей этого мира. Только в тот момент я осознал, что на протяжении наших с ней отношений она все время плакала.

Увидев меня, она нервно улыбнулась и посмотрела на меня так же, как и годами раньше. Мы сели за барную стойку, и она поинтересовалась, как мне живется в новой квартире. Я рассказал ей историю про зеркала и про «Холостяцкий джаз». Она рассмеялась, а я спросил в ответ, где теперь жила она сама.

– Да я вообще-то так и не переехала, – ответила она. – Я все еще живу в нашей квартире.

– Ты не переехала?

– Нет, – подтвердила она, улыбнувшись, и расплакалась, а уже через минуту к ней присоединился и я.

Потом мы от души посмеялись над тем, что снова рыдаем вместе.

– Может, если мы останемся друзьями, так и будем вечно вместе плакать, – сказал я. – Вот это действительно называется «плачевные отношения».

Она спросила о моей семье, на что я ответил, что все по ней скучают.

– Их очень расстроило наше расставание. Они хотели, чтобы мы были вместе.

– А мои скучают по тебе, – ответила Ева. – До сих пор постоянно о тебе говорят, – она сделала паузу, собираясь с мыслями. – Потому что теперь мы можем говорить друг с другом начистоту. И каждый раз, когда кто-то открыто выражает свои чувства, все вспоминают о тебе. Это ты нас научил.

Признаюсь, мне было крайне тяжело держать себя в руках – Ева умела растрогать меня, как никто другой.

Затем она явно разнервничалась и опустила глаза.

– Так, – спросила она, – у тебя кто-то есть?

Я уже настолько привык к своим запретным темам, что тут же отчеканил:

– Думаю, нам не стоит об этом говорить.

Ева ощутимо напряглась, то ли решив, что мой ответ означал, что у меня есть девушка, то ли, что более вероятно, от удивления – в период наших с ней отношений я никогда не уходил от ответа.

– Но мы ведь лучшие друзья, так? – сказала она, избегая смотреть мне в глаза. – Мы всегда можем поговорить о том, что у нас обоих происходит в жизни. Скажи хоть, я ее знаю?

Ее рука дрожала так сильно, что она пролила чуть-чуть вина из бокала, поднимая его со стойки. Ева покраснела, метнулась к другой части стойки, схватила пару салфеток и начала вытирать столешницу.

– Прости, я что-то перенервничала.

– Да дело не в том, что я не хочу обсуждать эту тему конкретно с тобой – я стараюсь вообще ни с кем об этом не разговаривать. Я пытаюсь быть более... – слова «закрытый», «сдержанный» и «загадочный» вызывали у меня крайнюю степень отвращения, и я просто не мог заставить себя произнести ни одного из них. – Я пытаюсь поменьше рассказывать окружающим о том, что происходит в моей жизни.

Ева скептически прищурилась.

– Почему?

– Я составил для себя список правил. Одно из них запрещает мне отвечать на вопросы, – вздохнул я. – Другое не позволяет рассказывать об этих правилах другим людям. Его я прямо сейчас, как ты понимаешь, нарушаю, но тебе я просто не могу об этом не рассказать.

Ева на удивление быстро взяла себя в руки.

– Понимаю, – ответила она.

Такое отсутствие эмоциональной реакции с ее стороны буквально поразило меня.

– То есть ты правда не хочешь узнать об этом побольше?

Ева как-то выпала из реальности и явно не особенно меня слушала.

– У меня тоже кое-кто есть, – поведала она. – Я сейчас встречаюсь с Джоном.

О Джоне я был наслышан – Ева рассказывала мне о нем, когда мы все еще встречались, он был писателем и комиком. Она даже показала мне пару его комедийных гэгов на видео. Она еще тогда говорила о том, что их тянет друг к другу. Теперь, как выяснилось, они уже полноценно встречались. Я надеялся, что она найдет в этих отношениях счастье, однако особо счастливой она не выглядела.

– Он вообще ни о чем настоящем не разговаривает, – продолжила Ева. – Стоит мне заговорить о чувствах – он тут же куда-нибудь уходит под первым попавшимся предлогом, а иногда и вовсе без повода. Просто берет и уходит, – она опустила глаза и уставилась в свой бокал. – В общем-то, это неплохо. Может, мне именно это и нужно, – она посмотрела на меня. – Если бы Джон был со мной честен, я бы, в свою очередь, принялась рассказывать ему о тебе, говорить о том, что скучаю по тебе и истерить. Но я про все это не говорю, потому что он все равно не слушает. Приходится как-то справляться самой. С тех пор, как мы с ним начали встречаться, у меня вообще не было ни единой истерики. Это, в целом, приятно, – добавила она, – не впадать в истерику по поводу и без.

– Что ж, – произнес я, – наверное, хорошо, что ты нашла способ не впадать в истерику.

После этих моих слов она заметно расслабилась, и мы разговорились почти как в старые добрые времена. Я рассказал ей побольше про свои эксперименты с неискренностью. Ей все это показалось не менее смешным, чем мне самому.

– И каково это – быть неискренним? – поинтересовалась она.

– Иногда – словно тебя заперли в «железной деве», где не пошевелиться из-за шипов^[79]. А иногда – наоборот, словно играешь в боулинг с отбойниками.

Ева рассмеялась.

– Знаешь, в детстве мы с Лилой только с отбойниками и играли. И жутко расстраивались, когда кто-то предлагал сыграть без них.

– Всем от этого становится лучше, – продолжал я, – и мне от этого, в общем и целом, тоже лучше. Но ощущается это все равно так себе – никакой... красоты, что ли. Никакой романтики.

– Да, – кивнула Ева. – Понимаю.

Еще с минуту мы просто молча сидели рядом – два обыкновенных давно не видевшихся лжеца.

Имитируя беспечность

Всю свою жизнь я наживал себе врагов. Рано или поздно почти все, кого я знал, переставали со мной общаться, причем каждый раз по одним и тем же причинам:

✓ Я критиковал их или устанавливал границы нашего общения.

✓ Чем больше человек сам склонялся к мысли, что вел себя неправильно, тем больше злился на то, что я это отмечал.

Меня раньше поражало такое поведение – если ты сам собой недоволен, то причем здесь я? Казалось бы – нечего на зеркало пенять. Так или иначе, в моем списке вскоре появилось еще одно правило:

✓ Если друг обидел или задел тебя, сделай вид, что не заметил этого или что тебе все равно.

Как-то раз одна старая знакомая попросилась поработать вместе со мной над одним моим проектом, у которого был четкий дедлайн через несколько месяцев. Мы несколько раз встречались, чтобы обсудить план действий. Дедлайн все близился, а она все никак не показывала никаких наработок, но обещала, что уложится, и просила ей верить. За день до крайнего срока я в очередной раз написал ей письмо, на которое она раздраженно ответила в духе того, чтобы я от нее отстал. Позднее вечером она прислала мне работу, на которую у нее, вероятно, ушло минут десять-пятнадцать и которая не имела решительно ничего общего с тем, о чем мы договаривались. Мне такое поведение

показалось крайне странным – почему нельзя было просто признать, что она прохалаявила? Неужели она думала, что я не замечу такой откровенной халтуры?^[80] В итоге мне пришлось работать ночью и не спать, дабы успеть закончить все самостоятельно к утру. Зная, что так и будет, она стала меня избегать. Прямая конфронтация все равно не заставила бы ее сделать свою часть работы, так что вместо этого я решил превратить ситуацию в очередной эксперимент и попробовать каким-то образом сохранить нашу дружбу.

Я мучительно старался придумать, что бы такого максимально необходимого ей ответить на ее халтуру. В итоге я не придумал ничего лучше, кроме как сказать ей, что верю, будто ее заставили так меня подвести некие неизвестные мне серьезные обстоятельства, возможно, личного характера, и что я все понимал и прощал ее за это. Затем мне пришло в голову как следует проанализировать ее письмо, надеясь найти в нем подсказки на тему того, на какую мою реакцию она надеялась, когда его писала. Она не сознавалась в своей промашке, не извинялась, не искала оправдания и не пускалась в объяснения причин, по которым так вышло; нет – она, по сути, непрямо просила меня не обращать внимания на ее халтуру. Опять же, сам тот факт, что она все же прислала письмо, а не исчезла без следа, означал, что она, вероятно, хотела сохранить наши отношения. Я пришел к выводу, что она отправила мне хоть что-то, чтобы дать возможность нам обоим сделать вид, что она сдала то, что обещала. От меня, соответственно, требовалось сказать, что мне понравилась ее работа. Так она убедила бы себя саму в том, что все сделала правильно, или, по крайней мере, в том, что ее оплошность не возымела серьезных последствий. Столь незнакомый мне и радикальный метод сглаживания предательства меня впечатлил; мне не терпелось узнать, что будет дальше, после того, как я проглочу наживку.

В ответном письме я поблагодарил ее за то, что все же уложились в срок, и похвалил за хорошую работу. Она, в свою очередь, ответила без капли негатива или смятения. Вскоре мы уже всю тусовались вместе, как ни в чем не бывало. Естественно, я не имел понятия о том, что она на самом деле думала и как относилась к произошедшему^[81], однако факт был налицо: человек, который отвернулся бы от меня и возненавидел за прежнее мое поведение, остался теперь моим другом. Эксперимент завершился успешно.

Разумеется, я твердо решил никогда больше не рассчитывать на помощь этой девушки, но знал по опыту, что, сообщив прямым текстом о новой границе в отношениях, только наживу себе в ее лице нового заклятого врага. Вместо этого мне пришла в голову гениальная идея: провести эту черту у себя в голове, а ей об этом не говорить. Так я дописал в свой список еще одно правило:

✓ Продолжай устанавливать границы, как и прежде, но делай это тайно.

Эти правила спасли мои отношения почти со всеми оставшимися друзьями и знакомыми. Теперь, когда я покупал для кого-то дорогой билет на концерт, а в последнюю минуту этот человек писал мне, что не сможет прийти, я просто отвечал, что мне самому нездоровилось и что я уже собирался звонить сам. Так этот человек не мог узнать, что я установил в своей голове новую границу наших отношений. Даже если он замечал, что я после того случая больше никуда его не приглашал, у него оставалась возможность убедить себя в том, что проблема не в нем.

Я слышал, что многие люди терпеть не могут, когда им указывают на застрявшую в их зубах еду, и искренне поражался этому. Теперь же я понимал, что дело тут все в том же самом пространстве для самообмана. Придя домой и обнаружив у себя в зубах кусочек еды, они могли убедить себя, что никто этого просто не заметил. Если же кто-то делал замечание, это означало, что застрявший кусочек видели все. Многие расценивали такое лишение пространства для самообмана как настоящее социальное преступление.

После того, как я убедил почти всех своих друзей и знакомых в своей беззаботности, они стали гораздо более открыто рассказывать мне о причинах того, почему так часто халтурили или сачковали.

– Чем важнее для меня человек, с которым мне предстоит встретиться, тем труднее это сделать, – рассказала мне как-то одна знакомая. – Скажем, если у меня назначено свидание с парнем,

который мне очень нравится, я уже заранее вся как на иголках и весь день перед свиданием пытаюсь просто успокоиться. А если уже пора выходить из дома, но я все еще нервничаю – отменяю свидание.

Я выразил свое удивление тем фактом, что она отменяла свидания только с теми, кто ей по-настоящему нравился.

– Ну да, – ответила она. – Если мне, по большому счету, все равно, то почему бы и не прийти – какая разница? Можно воспринимать это как рабочую задачу или просто как некое обязательное дело. Нет, избегаю я именно тех, с кем на самом деле хочу встретиться.

Другая подруга сказала мне:

– Большая часть людей чувствует облегчение, когда у них отменяются какие-то планы. Лично у меня всегда так.

Еще одна рассказала:

– Я обычно убеждаю себя в том, что без меня будет даже лучше.

Если бы кто-то обвинил их в избегании, они бы, разумеется, никогда не признались в том, что ведут себя так из-за нервов или подавленности – им было бы слишком стыдно это признать.

Я записал себе в список новое правило:

✓ Если человек лжет, то, вполне вероятно, делает он это потому, что у него на уме и на сердце сейчас какие-то личные неурядицы, но ему просто стыдно в этом признаться. Вместо того, чтобы злиться, приучись считать по умолчанию, что они не желают тебе ничего дурного.

Чем меньше я осуждал людей, тем больше они передо мной открывались. Правду из уст другого следовало заслужить.

Дурное семя

Примерно тогда отец познакомил меня, Джоша и Мириам со своей новой девушкой; шотландкой, чемпионкой по «Jeopardy!» и по совместительству психологом – она специализировалась на работе с подростковой депрессией. После обеда она достала листок с кроссвордом из номера «Таймс» и принялась достаточно быстро его решать, иногда прося помощи у нас, причем ориентировалась она на наши индивидуальные области познания, типа: «Майкл, ты много старых фильмов знаешь – посмотри, пожалуйста». Однако, когда с одним словом из мира музыки она попросила помощи не у меня и не у отца, а у Мириам, я понял, в чем было дело. Ей не нужна была никакая помощь – она сама прекрасно знала все ответы. Помощь с кроссвордом нужна была лишь затем, чтобы приподнять нашу самооценку. Она знала, что Мириам оценит шанс помочь с вопросом на тему музыки. Отец буквально светился, наблюдая за ней – ни обычного скептического взгляда, ни комментариев с поправками; он явно понимал суть происходящего и восхищался тем, как ловко она все это проворачивала.

Мириам на тот момент было около двадцати пяти. Она жила в Нью-Йорке, занималась разработкой образовательных программ для детей младшего возраста и периодически плакалась мне в жилетку на тему отношений. Парня у нее толком никогда не было, зато была навязчивая идея ухлестывать за ненадежными мужчинами, которые никак не могли определиться, хотят они с ней быть или нет. Естественно, чаще всего свидания проходили не по плану.

Как-то раз она рассказала о своем втором свидании с одним парнем. Они встретились после работы рядом с его офисом и он спросил, чем бы ей хотелось заняться. «Ну, тут совсем недалеко до Мемориала 11 сентября», – предложила она и добавила, что всегда хотела там побывать. По ее словам, тот парень дипломатично согласился и пошел с ней.

– Если не хотел, мог бы так прямо и сказать, – пожаловалась мне Мириам.

– Для большинства людей сказать «нет» не так-то просто, – сообщил я, хоть сам узнал об этом совсем недавно. – И вообще, Мемориал

11 сентября – объективно не лучшее место для второго свидания.

– Если ему так тяжело сходить со мной к Мемориалу 11 сентября, то, может, он просто мне не подходит, – ответила Мириам.

Джошу было тогда двадцать восемь, он как раз закончил магистратуру и выступил соискателем в лабораторию криминалистики. Его брали как раз туда, куда он хотел, но в какой-то момент ему пришлось пройти собеседование с проверкой личных данных – обычная практика для работы на правительство. Проводившие собеседование трое полицейских засыпали его различными вопросами, и в конце концов поднялась тема наркотиков.

Джош прекрасно знал, что любой, кто хоть раз в жизни пробовал наркотики, не имел права работать в госучреждении. Но на вопрос полицейских он честно ответил: «В четырнадцать пробовал грибы. В 1998-м».

Меня там, естественно, не было, но я живо могу себе представить выражение шока пополам с жалостью на лице полицейских, словно вопрошающее: «Зачем ты так с самим собой? Зачем заставляешь нас рушить твою карьеру?»

Они проинформировали Джоша о том, что по закону обязаны протоколировать его ответ и что его признание навсегда закрыло ему дорогу в эту профессию. Он ответил, что надеялся на то, что они оценят его честность.

– Да все нормально, – добавил Джош, рассказав мне эту историю. – Я все равно не хочу работать на тех, кто ожидает от меня вранья.

У мамы в то время тоже были проблемы с работой. К ней обратились за помощью родители одного ребенка, поведение которого они сами описывали как «кошмарное». Оказавшись наедине с мальчиком, мама быстро сдружилась с ним, нашла его замечательным и едва ли не гениальным ребенком; он в ответ совершенно открыто рассказал ей, что конкретно ему не нравилось в поведении его родителей. Встретившись с родителями мальчика, мама похвалила его и выдвинула ряд предложений на тему того, как родителям стоило бы с ним себя вести. Те в ответ разозлились.

– Им гораздо легче было убедить себя в том, что их ребенок – просто дурное семя, чем понять, что все дело в них самих. И, конечно, они предпочли бы психолога, который рассказал бы им то, что они сами хотели услышать.

Мы с Джошем и Мириам постоянно и активно призывали маму расстаться с Джо еще с 2000 года, то есть с самого начала их отношений. Однако, когда они наконец и впрямь расстались, мы осознали, насколько тяжело будет шестидесятилетней маме впервые остаться одной. Ей хотелось поведать своим детям о своем собственном опыте в вопросах отношений; Джош с Мириам некоторое время спокойно слушали, но затем все же начали обозначать границы дозволенного и уклоняться от разговоров на эту тему. В результате обо всем этом мама стала в основном рассказывать мне. Она вспоминала целые речи, которые толкала на первом же свидании с парнем, в которых обрисовывала все плюсы и минусы отношений с ней.

– Послушай, я сам так делал, и поверь мне – это не нормально! – утверждал я. – Нельзя быть искренней с людьми. Пойми это и забудь про такую честность – все остальные общаются на совершенно другом языке, не так, как мы.

– А какой смысл встречаться с тем, с кем я не могу быть самой собой? – спросила в ответ мама.

Годы лжи все же взяли свое – я уже и забыл об этом вопросе. Разум пошел вразнос, пытаюсь найти с ответом, но затем я словно почувствовал некую спасительную нить. Я почему-то верил, что смысл был, просто не понимал, какой именно.

День противоположностей

Жизнь в условиях общепринятых социальных взаимодействий требовала постоянно принимать на ходу достаточно сложные решения. Каждое свидание в таких обстоятельствах превращалось в последовательность проверок. Причем я понятия не имел, смогу ли я к этому когда-нибудь привыкнуть или же стану в итоге, подобно большинству людей, законченным неврастеником.

Однако были и плюсы – девушки наконец стали соглашаться на повторные свидания со мной, что ранее было для меня поистине невыполнимым достижением. Однако на вторых свиданиях наметилась одна неприятная закономерность: каждый раз, когда та или иная девушка строила какие-то совместные планы на будущее, типа похода в кино или на выставку, после окончания этого свидания она исчезала и переставала отвечать на мои звонки и письма. Причем происходило

это с пугающим постоянством; если девушка заговаривала о будущем, это непременно означало, что ему не суждено было сбыться.

Я много с кем обсуждал этот феномен и узнал по ходу дела, что многих людей бросали их партнеры буквально на следующий день после заявлений вроде «хочу состариться вместе с тобой» или «не могу больше представить себе жизнь без тебя». Причины такого поведения находились где-то за гранью моего понимания. Однако я стал замечать и другие примеры ситуаций, когда люди чувствовали одно, а говорили нечто диаметрально противоположное. Девушки, утверждавшие, что им не нравится их знакомый, вскоре уже шли на свидание с ним. Парни, говорившие, что успешно пережили расставание со своими бывшими, на деле до сих пор их любили. Один мой знакомый очень много говорил о людях, которые ему якобы не нравились.

– Мне не важно, – все повторял и повторял он, а другие слышали вместо этого: «Мне важно, важно, важно». Я назвал этот феномен «законом противоположностей».

Поскольку закон противоположностей был непостоянен и ненадежен – все же иногда мы и впрямь говорим то, что думаем и чувствуем на самом деле – передо мной встала сложнейшая и несколько параноидальная задача: мне необходимо было научиться распознавать, какие слова принимать за чистую монету, а в каких искать скрытый подтекст. Вскоре я также понял, что закон противоположностей не только позволял лучше узнавать окружающих, но и давал мне самому более четкое представление о том, как окружающие воспринимают меня. К примеру, прямое изъяснение моих чувств практически гарантировало, что мне не поверят.

Чтобы обозначить свою злость и досаду, требовалось переключиться в режим «мне все равно» – большинство людей поступало именно так. Для сокрытия проблем финансового характера можно было спокойно и как бы случайно обронить, что я на мели, поскольку именно так часто делали многие весьма обеспеченные люди. Если мне нужно было проявить свою уверенность, ни в коем случае нельзя было говорить о том, что я в чем-то уверен. Маститые шулера всегда говорят: «Ну, бывает, играю, вроде бы даже сносно». Успешные люди обычно заявляют: «Не бедствую». Когда я признался в какой-то момент, что я не настоящий пианист, что я самоучка и что я вовсе не заслуживаю

работы пианистом, многие из окружающих, очевидно, сочли меня настоящим виртуозом.

В период моего активного осмысления всех этих правил и методов и приложения их к реальной жизни у нас вышла размолвка с одной знакомой, и та потребовала от меня извинений. Я на тот момент еще не знал, как извиняться так, чтобы быть понятым правильно, а потому решил исходить из закона противоположностей.

Раньше я часто раздражал людей тем, что извинялся по поводу и без^[82]. Когда я чувствовал, что сплеховал, у меня срабатывал инстинкт признаться и попросить прощения. Однако в тех случаях, когда извинения действительно были к месту, мои слова, как ни странно, лишь распаляли моего собеседника, и я решительно не понимал, почему.

– Ты вечно говоришь о ком-то другом! – сказала мне та знакомая. – Обязательно всегда находится кто-нибудь, от чьей музыки ты без ума, кто-нибудь, смешнее кого ты еще никогда и никого не встречал, кто-нибудь, кто рассказал тебе самую интересную историю в твоей жизни. Я себя из-за этого чувствую скучной и никому не нужной дурой!

В принципе, ее обвинения были вполне обоснованы: я действительно часто вслух восхищался другими людьми – привычка, оставшаяся с эпохи честных деньков. Раньше я бы тут же принял извиняться за то, что поставил ее в такое положение, обещать больше так не делать и убеждать в том, что ее я тоже находил смешной, талантливой и очень интересной. Однако такие извинения никогда не срабатывали, а потому я обратился к закону противоположностей: нормальный человек мог бы признать свою вину, отрицая ее и отказываясь извиняться. Вероятнее всего, мои прошлые извинения не срабатывали, потому что слишком быстро, складно и легко слетали с моих уст. Я предположил, что избеганием можно было добиться более оптимального эффекта.

Так что я изобразил негодование и пустился вместо извинений в поток абсолютно наглых стереотипных попыток уйти от ответа.

– Понятия не имею, о чем ты! – рявкнул я. – Я ничего такого не говорю! Это как раз ты вечно рассказываешь мне о ком-то еще! Как насчет моих чувств, а?!

Я явственно чувствовал, что у меня все получилось, что она сочла мою бурную реакцию проявлением комплексов и стыда. Через

некоторое время я стал намеренно отводить взгляд и подолгу молчать, словно не находя подходящих слов. Лишь потом я наконец сказал: «Прости», а она в ответ тепло улыбнулась и удовлетворенно меня обняла. То был первый раз за всю мою жизнь, когда кто-то принял мои извинения.

Иногда приходилось лгать, чтобы мне поверили.

Я чувствовал себя участником некой программы глубокого погружения в иностранный язык – я словно не имел возможности излагать свои мысли, не переведя их перед этим на чужое наречие. Отправляя электронное письмо, я сначала писал его как обычно, а затем редактировал каждую строчку уже непосредственно перед отправкой. Каждый день в моей жизни был днем противоположностей.

Больше всего за мои выступления с фортепиано мне платили в ресторане, которым владела женщина по имени Гвен. Надо сказать, она мне крайне не нравилась. По счастью, я редко имел с ней дело на рабочем месте, но те случаи, когда мы все же пересекались, я использовал в качестве практики по удержанию языка за зубами. Я выслушивал ее параноидальные бредни насчет того, что все плетут интриги у нее за спиной – работники, друзья, знакомые – кто угодно. Она была склонна к импульсивным и жестким решениям, типа увольнения разом всей кухни за не проявленное должное уважения к ней или отмены бесплатных напитков для пианистов, поскольку те «пользовались ее щедростью». Я изо всех сил делал вид, что ничего из этого не замечал.

Как-то раз я получил от Гвен электронное письмо с договором найма. Я играл уже в нескольких ресторанах до этого, и мне еще ни разу не предлагали подписать контракт. Договор полностью соответствовал ее невыносимому характеру – он был длинным и буквально лопался от условий о неразглашении под угрозой судебных исков и прочей ерунды. В контракте даже был пункт, позволявшей ей предпринимать шаги в отношении «предполагаемых угроз» репутации ее предприятия. Если бы Гвен имела права вписать туда что-нибудь «под страхом смертной казни», она бы, несомненно, это сделала.

Я был практически уверен, что Гвен переписала условия контракта в связи с тем, что сотрудники частенько увольнялись из ресторана со скандалом и рассказывали потом жуткие истории о том, каково было там работать и иметь с ней, Гвен, дело. Новые условия контракта позволяли ей добраться до таких неблагодарных бывших сотрудников через суды. Несмотря на мои подозрения на тему того, что этот контракт можно было без каких-либо проблем оспорить и признать недействительным в любом суде, я все же опасался, что он даст ей возможность еще больше запугивать и эксплуатировать нас. Я был практически уверен, что сам скоро уволюсь со скандалом, а потому не имел права рисковать, подписывая этот контракт. Однако жить, к сожалению, на что-то было нужно.

Моим первым желанием было заявить Гвен прямым текстом, что ни один контракт не спасет ее от ее личных проблем и что те усилия, что она потратила на его составление, ей стоило бы вместо этого пустить на попытки хоть как-то поладить с собственными сотрудниками. Однако тогда я уже понимал, что такой ответ в этой ситуации решительно ничего никому не даст. Вместо этого я решил положиться на неискренность и обман, надеясь, что они помогут мне остаться на работе, не подписывая этот контракт.

Я уже не раз наблюдал, что Гвен не имела привычки ничем портить какие-то приятные моменты в разговорах со мной. Исходя из этого я предположил, что если я сделаю ей достаточное количество комплиментов, особенно затрагивающих ее больные темы, и смогу убедить ее в том, что она соответствует тому образу самой себя, какой она рисовала у себя в голове, то она окажется более открыта к переговорам. В итоге я родил грандиозный и феноменально сумасшедший план, заключавшийся в убеждении Гвен в том, что плохой контракт являлся следствием сговора ее врагов, и в том, что не подписал я его потому, что я на ее стороне в этой несуществующей войне.

Я решил написать это все письмом – уж очень не хотелось испортить задумку плохой игрой лицом. Начал я со слов о том, как нервничаю, печатая эти строки. Я давно понял, что признание в том, что ты нервничаешь, или в том, что ты смущен, автоматически заставляет большую часть людей сочувствовать и симпатизировать тебе, или по крайней мере уверяет их в том, что ты не станешь

занимать агрессивную позицию. Затем я перешел к уже серьезным вракам – гвоздю программы: я написал, что показал контракт знакомому юристу. Таким образом я заодно самоустранился от ответственности за все нелестные слова о контракте.

Я написал, что адвокат сказал по поводу контракта «много неприятного», а я в ответ, дескать, всячески защищал ее и настаивал на том, что она, Гвен, не из тех, кто станет пытаться кого-то засудить. Я написал, что якобы сказал адвокату, будто этот контракт наверняка явился следствием того, что другие недобросовестные работники Гвен пытались нагло воспользоваться ею и ее замечательным бизнесом. Я написал, что понимаю, что этот контракт был не ее собственной прихотью, но необходимостью, продиктованной стремлением защитить плоды собственных тяжелых трудов. В конце я спросил, не будет ли она, как следствие, возражать, если я не стану подписывать эту бумагу. «Это было бы крайне ценно и важно для меня», – добавил я. Словом, то письмо было, вне всяких сомнений, самой дикой, отчаянной и жуткой ложью из всех, на какие я когда-либо пускался.

Вскоре Гвен ответила, что ее потрясло, насколько хорошо я ее понимаю. Она, в сущности, подтвердила все изложенные мной «гипотезы» – дескать, ей контракт тоже не нравился, ей пришлось составить его, чтобы обезопасить себя и свою семью, и она сама-де никого и никогда и впрямь не засудила бы. Она добавила также, что весьма рада нашему сотрудничеству, что не зря всегда была готова мне верить, и поблагодарила меня за искренность.

Как-то раз я забирал из ремонта усилитель для гитары. Придя в мастерскую, я обнаружил, что усилитель все еще был неисправен, несмотря на заверения в том, что его починили.

– Он все еще жужжит, – заявил я работнику мастерской.

– Ах, это, – ответил тот. – Так и должно быть.

Я знал, что обвинениями тут делу не помочь, а усилитель мне все же был нужен в рабочем состоянии. И тут мне в голову пришла замечательная ложь.

– Да, знаю, – сказал я. – Просто я просил техника кастомизировать его, чтобы убрать этот эффект.

Парень за стойкой кивнул и сделал вид, что поглядел на бумагу с деталями заказа.

– Ах, ну да. Так, ну ладно, тогда приходите еще через неделю.

Мои «присяжные» откровенно впечатлились историей о том, как я отмазался от подписания контракта, а вот рассказ о моем вранье в мастерской им не понравился.

– Вот сволочь, – сказал кто-то, имея в виду работника сервиса. – Тебе стоило заявить о своих правах.

Я рассмеялся.

– Дозаявлялся уже. Плавали, знаем, больше не желаем. Нет, настало время улаживать конфликты миром.

Иногда после одного-двух свиданий с девушкой я понимал, что не хочу продолжать наши отношения. Отказы в таких вещах казались мне самым сложным элементом этикета.

Меня самого девушки обычно отшивали по методу, который я называл «бесконечным уклонением» – они сначала соглашались на свидания, а потом отменяли их, и так до тех пор, пока я не понимал намека. Единственную девушку, сказавшую мне прямым текстом, что она не желает меня больше видеть, я искренне поблагодарил, и ей это, надо сказать, понравилось. Впрочем, когда я решил поинтересоваться, что именно ей во мне так не понравилось, быстро стало понятно, что даже ее прямота имела определенные границы.

«Присяжные» так и не смогли назвать мне ни одного способа разорвать такие отношения, который им бы понравился. Они жаловались то на то, что их партнер порвал с ними слишком быстро, то на то, что слишком тянул с этим; то на то, что он сделал это слишком жестко, то на то, что вел себя слишком снисходительно. Они утверждали, что обсуждать такие вещи следует исключительно лицом к лицу, но отвергали любые теоретически подходившие для такого разговора места из тех, что я предлагал. Один из присяжных сказал, что основная задача того, кто бросает, заключается в том, чтобы убедить того, кого он бросает, что дело вовсе не в нем.

– Например, можно сказать, что ты переезжаешь, – предложил он. – Или что у тебя только что родственники погибли в автокатастрофе.

Или, в конце концов, что ты осознал, что должен поэкспериментировать со своей сексуальностью и попробовать спать с мужчинами.

– А если она узнает, что ты ей солгал? – спросил я.

– Она к тому времени уже забудет о тебе, ей будет все равно, – беспечно ответил он.

Совет как таковой мне не понравился, но он навел меня на определенные мысли. У милосердного отвержения было три необходимых условия: четкость, завершенность и сторонний повод.

Решение пришло ко мне в размышлениях о своей былой привычке постоянно извиняться: если я не хотел продолжать отношения, мне достаточно было просто написать девушке внезапное сообщение с извинениями, и тогда она сама бы меня бросила. Я назвал этот прием «простишка».

Опробовав «простишку» на нескольких девушках, я остался весьма доволен результатами – ни одна из девушек мне не ответила, а значит ни одна из них не чувствовала себя отвергнутой. Мне казалось, что это была самая гениальная взаимовыгодная ложь из всех, что приходили мне когда-либо в голову. Но так было ровно до тех пор, пока я не рассказал об этой схеме своим «присяжным».

– Это уже не нормально, – настаивали они. – Это же манипуляция, это мерзко!

– Но ведь это взаимовыгодная ложь, от нее никто не страдает! Я берегу чувства этих девушек и даю им то, чего они желают!^[83] – защищался я, – Если бы я провернул это на вас, не описав ход своих мыслей, вы бы чувствовали себя отлично. Вам это не нравится лишь потому, что я уже объяснил вам, как это работает. Да подумайте сами – даже прямо сейчас вас раздражает лишь моя искренность и ничего более.

В конце концов я просто перестал с кем-либо обсуждать свои достижения на поприще лжи. Ложь может нравиться окружающим только до тех пор, пока она не разоблачена^[84].

Как-то в ресторане, где я играл, меня представили подруге одной моей знакомой. После всего лишь десяти минут разговора с глазу на

глаз она заявила:

– Ты очень опасный человек.

Я уточнил, что она имела в виду.

– Ты заставляешь всех вокруг чувствовать себя особенными, – пояснила она, глядя на меня с горечью. – Но для тебя самого все люди одинаковы.

Почувствовав открытость и прямоту в ее словах, я решил ответить ей тем же.

– Когда-то я старался дать почувствовать себя особенными только тех, кто действительно был мне небезразличен, – сказал я. – А остальные в таком случае просто обижались на меня. Мне говорили, что вежливость требует делать вид, будто мне нравятся все окружающие, даже если на деле это вовсе не так. А тебе, стало быть, не по нраву моя неразборчивая вежливость?

Я пересказал ей историю про чаепитие с Чеховым. Она в ответ лишь покачала головой.

Я понимал, что она в некотором роде была права. Легкость и непринужденность, с которой я делился с окружающими личными переживаниями и историями, была способна вызвать у них ощущение ложной близости, которой я сам вовсе не чувствовал. Я говорил таким манером со всеми, кто мне позволял, приглашая, таким образом, собеседника снять свою броню, и при этом ровным счетом ничего не теряя. При условии отсутствия уязвимости, близость становилась поистине опасным оружием.

Надо сказать, я все еще пытался провоцировать окружающих на честность. Было件нятно, что к уязвимости требовалось подходить примерно так же, как и к извинениям: я мог изобразить несуществующую закрытость, а затем постепенно начать выдавать какую-то информацию личного характера строгими порциями, намеренно мешкая, чтобы дать собеседнику понять, что моя искренность – особая, предназначенная лишь для его ушей.

Как только мне пришла в голову эта мысль – о том, что даже настоящая близость потребует в долгосрочной перспективе постоянной лжи – я осознал, что, кажется, мой эксперимент зашел слишком далеко.

Вначале меня радовала возможность проявлять сочувствие и делать людей счастливее. Но в какой-то момент все слишком уж запуталось:

отыгрывавшиеся на других людях моральные уроды считали меня беззаботным и незлопамятным, лжецы полагали, что я верю в их ложь, постоянно сбегавшие от ответственности люди думали, что я им доверяю. Естественно, далеко не я один лгал в таких промышленных масштабах – именно поэтому по улицам ходит огромное количество людей с искаженным донельзя восприятием самих себя. Девушки подозревают подруг в том, что тем нравятся их парни, беспечные казановы и хамы не понимают, сколько боли они причиняют другим. Я сам поддерживал все без исключения начинания своих друзей, даже не самые, мягко говоря, благородные. А когда они рассказывали мне о своих проблемах, я не делился с ними возможными методами решения, хоть и знал их сам.

На протяжении четырех лет я делал все, чтобы научиться лгать, но теперь я принялся искать способ все это прекратить и снова стать искренним и честным.

С Евой мы все же остались друзьями. Виделись мы нечасто, но иногда все же встречались, чтобы поделиться наиболее интересными новостями. Она ударилась в электронную музыку и теперь достаточно успешно писала песни и биты для хип-хоп- и поп-исполнителей, при этом продолжая рисовать комиксы. Она давным-давно бросила того неискреннего парня и влюбилась в другого – красивого и харизматичного музыканта и иллюстратора, который мне самому очень нравился. Как оказалось, он еще и увлекался плотницким делом – некоторое время назад он собственными руками смастерил себе жилье за домом одного своего друга в Лос-Анджелесе. В какой-то момент он пригласил Еву перебраться к нему, и та согласилась и уехала из Нью-Йорка.

Переезжая, Ева сказала, что продает ряд своих вещей, в том числе приглянувшийся мне книжный шкаф. Так я в последний раз приехал в нашу с ней старую квартиру.

Несмотря на то, что я не был там уже несколько лет, изменилось в ней немного. Мы сели за стол из пищащей машинки, и я тут же начал всхлипывать.

– Слушай, прости, что я спрашиваю, – сказал я, – особенно едва ли не с порога. Но... Какие у тебя планы на этот стол?

Ева прекрасно понимала, о чем я говорю.

– Наверное, тяжело держать у себя предметы, хранящие дорогие тебе воспоминания из прошлой жизни и прошлых отношений, когда ты уже встречаешься с другим парнем. Да и места он будет занимать много. Но, даже если ты решишь не оставлять его у себя, прошу – не продавай его и не выбрасывай. Если что, я уж придумаю, как его у себя пристроить. Просто для меня важно, чтобы он хранился у одного из нас.

Ева улыбнулась сквозь слезы.

– Я его забираю, – сказала она. – Я уже подыскала для него временное место. Хочу, чтобы он стоял в моем доме, хочу иметь возможность смотреть на него, когда состарюсь и поседею.

Меня ее ответ очень тронул, а потом нас обоих понесло в воспоминания обо всем, что между нами было. Впрочем, я хорошо понимал, что дело лишь в подходящем моменте и мимолетной ностальгии. Ева покидала Нью-Йорк, город, в котором мы вместе провели нашу молодость. Мне казалось, что мы почти наверняка не сможем так же ценить наши прошлые отношения до конца своих дней. Да, четыре года спустя мы все еще их ценили, но я был практически уверен в том, что в сорок Ева уже не захочет видеть этот стол в своем доме.

Я всегда говорил ей, что не могу просто так взять и поверить во что-то по выбору. Теперь я мог. Ничто так не подчеркивало любовь, как вера в шаткие обещания, в несбыточные мечты. А значит, через сорок лет Ева и впрямь по-прежнему будет сидеть за этим столом. Это была самая настоящая правда.

Глава 12

Милосердие цензуры

В 2014 году на одном концерте, проходившем неподалеку от моего дома, я случайно встретился с парой друзей, и те порекомендовали мне один итальянский фильм, который сами только что посмотрели.

– А я не прислушиваюсь к рекомендациям американцев на тему зарубежного кинематографа – наши сограждане слишком склонны хвалить каждый иностранный фильм, который посмотрели, – ответил я, смеясь. – В жизни не слышал, чтобы американец скверно отозвался о не-американском фильме.

Мои друзья застонали в ответ на такой типичный для меня комментарий. Но одна не знакомая мне девушка, которая была с ними, лишь мило рассмеялась, не отводя от меня заинтересованного взгляда. Смех растягивал и сжимал ее улыбку, подобно резиновому эспандеру. Эта легкая и непринужденная улыбка и непослушные светлые волосы выдавали в ней человека, способного найти юмор в любой ситуации.

– Прошу прощения, – сказал я, обращаясь к ней. – Когда я слишком расслабляюсь, я начинаю говорить некоторые вещи, к которым был склонен в прошлом.

Она снова прыснула.

– *Что?*

– Дело в том, что родители растили меня слишком честным, – пояснил я. Я рассказал ей об этом подробнее, мы разговорились, и в какой-то момент уже я стал задавать вопросы ей. Она рассказала, что занималась подготовкой интервью для формата новостных радиопередач, и добавила в какой-то момент, что с удовольствием поболтала бы со мной еще.

Мы быстро сдружились, а около полугода спустя она позвонила мне и предложила дать интервью Айре Глассу для программы «This American Life», куда ее недавно наняли. Я согласился, хоть и не ожидал, что интервью в итоге пустят в эфир. В моем понимании, там обычно появлялись интервью с людьми приятными и общепонятными; я же ни приятным, ни общепонятным не был.

Но все же я приехал в студию «This American Life», где меня отправили в комнату ожидания. На студии определенно никто даже не пытался создать уютную или приятную атмосферу – повсюду были серые ковры и диваны, а стулья вызывали совершенно четкую ассоциацию со старшей школой. Мой взгляд упал на довольно невзрачную и плотно заставленную разными наградами белую этажерку, к которой с одной стороны прижался какой-то стажер, а с другой – кондиционер.

В конце концов в комнату вошел Айра Гласс собственной персоной. Он оказался худым мужчиной с широким лицом и весьма крупными чертами – словом, идеальной внешностью для шоу-бизнеса. Я хорошо сознавал, что мне предстоял разговор с одним из самых всемирно известных и обожаемых ведущих, а потому сохранял неусыпную бдительность, готовясь к отражению каких-нибудь хитрых риторических техник, которыми он наверняка пользовался, чтобы вытащить из своих собеседников всю подноготную. Пока мы с Айрой устраивались в аппаратной звукозаписи, я почти не сводил с него глаз, чувствуя себя так, словно наблюдал за ловким фокусником, стараясь не проворонить ни одной его уловки и упуская таким образом все удовольствие от самого фокуса. Пока что его язык тела был спокойным, открытым и расслабленным, словно он просто хотел поговорить.

Аппаратная звукозаписи была точно так же по-спартански обставлена неяркой мебелью, как и вся остальная студия. Мы с Айрой сидели, разделенные небольшим столом и микрофонами.

– Можете немного рассказать нам о вашем детстве? – попросил Айра.

– Конечно, – ответил я. – Мои родители учили нас с братом и сестрой быть искренними и честными.

– Ну, в большей части случаев это неплохо, ведь так? – заметил Айра. – Не самый плохой совет, и не особенно редкий.

– Видите ли, я подозреваю, что у нас с вами очень разные понимания честности, – сказал я. – Большинство родителей учат своих детей быть вежливыми, скрывать свои истинные мысли и чувства. Почти никто из них на самом деле не хочет, чтобы их дети были *по-настоящему* честны. Стоит их ребенку проявить искренность, как они тут же взвинчиваются и наказывают его.

Айру мои слова явно не убедили. Я начал даже опасаться, что он лишь изображает непонимание с целью вывести меня из себя. Если так, то ему это вполне удавалось.

– Послушайте, – произнес я, – почти никто не бывает по-настоящему честен с другими. Вот мои родители проходили через свой развод на групповых сеансах психотерапии прямо у меня на глазах.

Айра дернулся в, казалось, вполне искреннем ужасе.

– Погодите-ка, – сказал он. – В каком смысле?

Поскольку речь зашла о честности, я решил не утаивать абсолютно ничего. Я рассказывал Айре многочисленные истории о своей искренности, а тот лишь ахал да охал в ужасе и изумлении. Я изо всех сил пытался объяснить, почему мне было приятно свободно самовыражаться, почему мне было мучительно больно молчать и почему мне всегда хотелось поближе узнать окружающих и дать им узнать поближе меня самого.

– Вот вы рассказываете мне все обо всем этом, и у меня возникает ощущение, словно вы родом с какой-то другой планеты и оказались в нашем мире совершенно случайно, – произнес Айра.

По окончании интервью, продлившегося, как мне показалось, сильно дольше запланированных тридцати минут, Айра наконец поднялся и вышел из аппаратной. Если верить висевшим снаружи часам, мы проговорили больше двух часов.

– Как думаете, кто-нибудь из ваших родственников согласится со мной пообщаться? – спросил Айра.

Я рассмеялся.

– Они все с удовольствием расскажут что угодно и кому угодно.

Айра улыбнулся – очевидно, совершенно напрасно решив, что я преувеличиваю.

– Ну хорошо, – сказал он. – Давайте тогда попробуем запланировать интервью с кем-нибудь из них на эту неделю, и заодно вас тоже еще часа на три пригласим, ладно?

Я поочередно обзвонил родных с этим предложением. Мама с братом согласились без лишних вопросов, а вот отец, судя по голосу, занервничал.

Мириам в ответ на мое предложение спросила:

– Мы что, нужны им в качестве цирковых клоунов для аудитории?

– Строго говоря, мы бы с такой ролью отлично справились, – заметил я.

– Большая часть историй, связанных с папой, выставят его в совершенно отвратительном свете, – сказала она.

– Ну, нас же никто не заставит рассказывать худшие из них. Но угадай, кто все равно их расскажет?

– Сам папа, – вздохнула Мириам.

Позднее на той неделе она съездила в студию для интервью, а потом сразу же позвонила мне.

– Как-то странно все прошло, – сказала Мириам. – Он спросил меня, не преувеличивал ли ты. Я ответила, что я – не ты, и что я все же не настолько честная. Он спросил: «То есть, если бы вас подруга спросила, не полнит ли ее то или иное платье, вы бы сказали ей, что она выглядит шикарно?» Я сказала, что ответила бы честно, если бы меня об этом попросили. Ему это показалось дико странным. Он потом еще некоторое время спрашивал меня, что бы я сделала в разных гипотетических ситуациях, и каждый мой ответ вызывал у него такую реакцию, словно я несла какой-то совершеннейший бред. Может, я и правда слишком честная?

Мама сказала, что ей интервью понравилось, но ее смутило то, что Айра не слишком-то ценил честность.

– По его мнению, все наши слова или действия были злыми или грубыми.

Интервью с отцом Айра назначил прямо перед второй встречей со мной, так что, вернувшись в студию «This American Life», я принялся с нетерпением ждать у двери аппаратной, пока Айра закончит телефонную беседу с отцом, оставшимся в Калифорнии. Самого разговора я не слышал из-за хорошей звукоизоляции, но зато видел через стеклянную перегородку, как морщился сидевший внутри с наушниками Айра.

В конце концов он вышел из аппаратной, поправляя очки. «Ого, – только и смог сказать он. – Ваш отец – это... Вау».

«О, нет, – заранее расстроился я. – Что произошло?»

Айра молча отвел меня в сторону; мы встали на крохотном свободном пятчке у окна между сидевшими за компьютерами стажерами. Глаза он почему-то прятал, словно разговор с моим отцом лишил его возможности или желания смотреть прямо на меня. Место

для разговора было не самым удачным, но Айра явно не выказывал никакого желания переместиться в какой-нибудь более укромный уголок.

– Знаете, обычно ведь приходится щипцами из людей слова тащить, – Айра нервно почесал загривок. – А тут я всего лишь спросил, сожалеет ли он о каких-то промашках, которые, возможно, допустил в воспитании своих детей, и тут он столько всякой жути на меня вывалил – ужас.

Я засмеялся, хоть это и могло показаться странным в такой ситуации.

– Вполне в его стиле. И что же он вам такого страшного наговорил?

Айра покачал головой.

– Э-э-э, думаю, будет бестактно... – он явно был слишком сбит с толку, чтобы углубляться в детали их с отцом разговора, но все же быстро взял себя в руки. – Он просто так быстро во всем этом признавался, с такой готовностью, будто гордится этим. Хотя кто в здравом уме вообще способен гордиться такими вещами?

– Не совсем так, – поправил я. – В нашей семье именно так принято говорить как раз о тех вещах, за которые нам стыдно. Вот и получается такой словесный понос.

– Но ведь он же это все говорил для *радио*. Под *запись*, понимаете? Нет, конечно, мы почти ничего из этого не дадим в эфир – мы так ему всю жизнь можем загубить. Но зачем ему самому так рисковать?

– Мы просто любим правду, – ответил я.

Айра глядел пустыми глазами куда-то в сторону, словно мои слова ничего для него не прояснили.

– Зачем ему признаваться в таком на радио? – повторил он заторможено. – Зачем вообще перед кем-либо в таком признаваться?

Я глянул в сторону аппаратной, размышляя о том, что наш текущий разговор тоже вполне можно было сделать частью программы.

– Должен признать, Майкл, – произнес Айра, глядя в окно студии, – я вас не понимаю.

– Может, поговорим об этом в аппаратной? – предложил я.

Айра словно очнулся от наваждения.

– А, – сказал он. – Да-да, конечно, пойдете. Хорошая мысль.

Когда мы снова оказались с ним по разные стороны микрофона, Айра замешкался, взвешивая свои следующие слова.

– В подростковом возрасте я решил, что смогу понравиться людям, если буду задавать им вопросы, – начал он. – Я так пытался бороться со своей социофобией. Я твердо решил не говорить о себе самом и просто задавать окружающим вопросы. И у меня получилось – появились друзья несмотря на то, что я никогда толком не говорил о себе. Вместо этого я просто спрашивал людей об их мыслях и чувствах, проводил уже тогда такие своеобразные интервью. Собственно, сами сделайте вывод о том, куда это меня привело, – Айра горестно покачал головой. – Люди ощущают близость со мной, а я не чувствую ровным счетом ничего.

Мне сразу представился законченный эпизод шоу, завершающийся этим монологом, в котором Айра признавался, что вся «This American Life» была лишь его способом избежать выражения своих истинных чувств. Семейная искренность Левитонов сумела пробить брешь в эмоциональной обороне самого Айры Гласса, и поток его чувств был своевременно пойман на запись.

Выйдя из аппаратной, я позвонил отцу и спросил его мнения по поводу его интервью.

– Айра – потрясающий интервьюер, – заявил папа. – Он столько всего из меня вытащил – уму непостижимо.

Дата выпуска нашего эпизода все близилась, а Айра все никак не давал нам послушать его перед релизом и даже отказывался говорить, что там будет – только уверял меня в том, что там не будет ничего компрометирующего, и что я буду звучать вполне «приятно» и «общепонятно». На второй раз эти слова уже показались мне подозрительными: я слишком хорошо знал, что закон противоположностей – вовсе не шутка.

Когда эпизод наконец вышел, оказалось, что в него вошел кусок, где отец утверждал, что сожалеет о том, что слишком многое нам рассказывал. Я впервые об этом слышал. Однако ничего конкретного из того, о чем именно отец сожалел, Айра в эпизод не включил. Потом я понял, что только так он мог сохранить приязнь слушателей к нашей семье: сожаление всегда вызывает симпатию, а вот его предмет – уже не факт. Айра умудрился представить нас как очаровательно наивных идеалистов, включив в эпизод лишь самые безобидные и милые случаи из нашей жизни. Он слепил из наших историй некий положительный образ, милосердно защищая нас от нас же самих.

Никакой честностью тут, конечно, и не пахло, но зато это было по-человечески благожелательно.

Все мои знакомые, которые слушали этот эпизод, были крайне удивлены его мягкостью.

– Эпизод о том, стоит ли скрывать неприятные истины, чтобы понравиться людям, скрыл неприятные истины, чтобы понравиться людям, – говорил им я^[85].

Я рассказал одной своей знакомой, работавшей на радио с Айрой, о том его не включенном в эпизод монологе. Она в ответ рассмеялась.

– Ой, Айра в ходе каждого эпизода задвигает такие речи. Он так завоевывает доверие гостя. Кажется, тебе он, кстати, просто процитировал себя же из своего моноспектакля. Видимо, по памяти.

Я был ошарашен; я никак не мог поверить, что та часть, которая мне больше всего понравилась в нашем с Айрой интервью, оказалась всего лишь манипуляцией. Впрочем, знакомая заверила меня, что Айра не лгал – обманом была лишь попытка создать впечатление, что его на эту речь подтолкнули мои слова.

К моему собственному удивлению, я очень распереживался из-за этой новости. Айра, как оказалось, прекрасно понял, чего мне хотелось: изменить его самого своей искренностью. Он увидел, кем я хотел казаться, и отразил этот образ на меня самого. Видимо, именно так чувствовали себя все, кто пил чай с Чеховым.

Шкала честности семьи Левитон

После выхода в эфир того эпизода Мириам стала значительно спокойнее смотреть на неискренность и не прямое общение. Всего через год после его выхода у нее уже появился первый настоящий парень, а еще спустя год они обручились и женаты до сих пор.

Потеряв возможность работать в госучреждениях, Джош сменил профессию и стал вполне успешно в частном порядке заниматься выведением плесени из помещений.

– Так даже лучше, – говорил он. – Сам строишь свой график, работаешь столько, сколько хочешь. И не нужно никому лгать или делать то, что мне кажется неправильным. Я свободен.

Мама со своей искренностью так и не завязала.

– С возрастом у меня просто-напросто становится все меньше и меньше желания общаться с теми, кто отказывается принимать меня такой, какая я есть, – говорила она. Недавно она рассказала мне, что хочет попробовать говорить прямо на первом свидании, что она – единорог. – Так я сразу пойму, если человек не станет воспринимать меня как уникального, особенного человека.

Конечно, такой подход меня слегка беспокоит – я боюсь, что мама начнет наступать на те же грабли, на которые наступал когда-то я – но я все же надеюсь, что это придаст ей сил. Возможно, она до сих пор не умеет отказываться пить скисшее молоко.

Узнав о моем искреннем прошлом, друзья и знакомые начали общаться со мной более охотно и открыто. Многие, у кого были проблемы с отстаиванием своей позиции, даже спрашивали у меня совета. Другие утверждали, что я вдохновил их на откровенность с их собственными родными и близкими. Как ни странно, вроде бы никто не жаловался.

Владельцы одной площадки в Бруклине активно звали меня выступать у них, и я решил попробовать организовать собственное ток-шоу. Я назвал его «Сигнал» в честь термина из покера, обозначающего едва заметные жесты или изменения в мимике игрока,

которые «сигнализируют» другим о том, что у него за карты. Благодаря этому шоу я имел возможность поговорить со множеством интересных людей, готовых рассказать мне свои истории – гораздо эффективнее диктофона.

Через год после старта «Сигнала» одна из моих знакомых рассказала на сцене душераздирающую историю о шизофрении и последовавшей госпитализации ее первой любви. Она рассказывала, едва удерживаясь от слез. И вдруг я осознал, что ее дрожащий голос и всхлипывания из аудитории мне что-то неуловимо напоминают. В перерыве я нашел глазами среди собравшихся Мириам и сказал: – Я тут вдруг осознал, что...

– Что «Сигнал» – это твоя собственная версия семейного лагеря? – перебила Мириам.

– Именно! – ответил я. – Не понимаю, как я раньше этого не замечал.

Со временем я стал все больше и больше сползать обратно в искренность. Однако период активной лжи все же смягчил мое отношение к окружающим. Сама честность больше не представляла никаких проблем – от меня просто требовалось участие и сочувствие к собеседнику, быть искренним не машинально, не из чувства долга, а из заботы.

Одному правилу из своего списка я все же продолжал следовать:

✓ Всегда пытайся понять, нужна собеседнику твоя искренность или нет.

Если другой человек нуждался в не прямой беседе, в приятном разговоре ни о чем, я пытался поддержать его в этом. С тех пор я был честен лишь с теми, кому это было нужно и кому этого хотелось.

Как-то раз я сидел в людном баре и, перекрикивая заплетающимся языком громкую музыку, рассказывал своей подруге Лоре, что собираюсь написать о своем отношении к искренности. Она сидела, облокотившись на стол и подперев руками подбородок, а ее светлые волосы постоянно падали ей на лицо.

– По шкале честности семьи Левитон тот случай на «This American Life» набрал бы, пожалуй, два-три балла, – сказал я. – Если я напишу баллов на пять-шесть, то получится достаточно честно, но при этом останется шанс, что кому-нибудь понравится.

Лора прикрыла один бирюзовый глаз, а другим пристально уставилась на меня сквозь алкогольную пелену.

– Те, кто творят великие свершения, – с трудом выдала она, – обычно не думают о том, чтобы понравиться людям.

– Вообще-то, я почти уверен, что еще как думают, – возразил я. – Ну, может, не думают, но подсознательно учитывают.

Лора неловко рассмеялась. Я спросил:

– Ты что, правда считаешь, что мне стоит написать книгу на все десять баллов честности?

– А почему нет? – ответила она. – Ты что, серьезно собираешься написать не до конца честную книгу о честности?

– Понимаешь, в чем штука, – пояснил я. – Все обычно предпочитают более красивую и привлекательную версию – главное, не признаваться, что она более красивая и привлекательная, понимаешь?

– А я бы вот скорее прочитала что-нибудь честное, что мне не понравилось бы, чем привлекательную и красивую выдумку.

– Э-э, не-е-ет, не поверю, – сказал я. – Прочитав две книги, автор одной из которых после прочтения тебе понравился, а другой – нет, ты сочтешь лучшей книгу того человека, который тебе более симпатичен. Возможно, ты даже ошибочно примешь ее за более правдивую. Это во-первых. Во-вторых, ты, предположим, действительно права, и лучше, если книга будет правдива и заставит всех меня ненавидеть. Какая кому с этого польза?

– Да такая, что в мире станет хоть чуточку больше правды! – распалилась Лора. – И так вокруг одни популисты, куда ни плюнь.

– Позволь один вопрос, – сказал я. – Насколько честной ты себя считаешь?

Лора уставилась в свой пустой бокал, словно видела в кусочках льда на дне свое отражение. Опустив голову, она едва не насадилась ноздрей на торчавшую из бокала трубочку.

– Недостаточно честной, – ответила наконец она. – Мне это тяжело дается. Лора снова подперла руками щеки. – С тобой все по-другому – у тебя это получается.

– Любой способен быть искренним, – не согласился я. – Просто открой рот, пошевели языком и выйдут честные слова – в чем проблема-то?

– Нет, – возразила Лора, склонив голову набок и проведя пальцами по деревянной столешнице. – Поверь. Ты просто не понимаешь. Мы правда так не можем, – она подняла на меня влажные глаза. – Вот потому именно ты и должен рассказать правду. Ты должен быть честен за всех нас, ради всех нас.

В следующий визит отца в Нью-Йорк мы решили пообедать в небольшом итальянском ресторанчике, словно застывшем где-то в 1970-х. Папа тогда сказал мне:

– Я тут много думал о том, чем занимался раньше. Взять хотя бы мои отрицательные музыкальные рецензии – я ходил на переполненные толпами орущих фанатов концерты, а потом писал отзывы о том, насколько группа была отстойная, и о том, что все эти люди, по сути, были неправы. Вот в чем был смысл? – отец рассмеялся сам над собой – в последнее время он делал это все чаще и чаще. – Или когда Джош в детстве норовил кидаться шахматными фигурками – почему я не поддержал *эту* его игру? Мы ведь могли бы просто кидаться фигурками в свое удовольствие, и всем было бы хорошо.

Он рассказал мне о том, что кто-то из его старых коллег организовал сходку бывших сотрудников, на которую приехали люди, которых он не видел уже лет десять. Папа сказал бывшим коллегам: «У меня такое чувство, что работа со мной была сущим кошмаром. Как считаете?» Все по очереди стали вспоминать все те ужасные вещи, которые он им наговорил когда-то, и рассказывать, как все его боялись. «Но ты теперь производишь впечатление совсем другого человека», – сказал ему кто-то. Отец этим явно очень гордился.

После этого мы оба стали вспоминать разные глупости, которые говорили друг другу и остальным.

– А помнишь, – сказал я, – как ты, задев кого-то своим мнением, говорил обычно: «А в чем проблема? Кому вообще есть дело до моих мыслей?» Я тоже, кстати, иногда так говорил. Мы сначала оскорбляли людей, а потом еще и обесценивали их небезразличие.

– Да, было дело, – покачал головой папа. – Типа: «Я думаю, что ты идиот, но кого вообще интересуют мои мысли?» – отец почесал бороду, и я вдруг заметил, что, говоря со мной, он смотрел мне прямо в глаза. – Знаешь, я тут недавно подумал, что, если никого не должны интересовать мои мысли, то, может, мне стоит просто заткнуться и послушать других.

А потом он попросил:

– Слушай, а не мог бы ты объяснить мне еще кое-что, чего я никогда не понимал?

Ресторан постепенно пустел; папа задавал мне все новые и новые вопросы, а я отвечал на них, вспоминая истории из нашего прошлого. Он реагировал так, словно никогда их не слышал, хоть и присутствовал при каждой из них. Я рассказывал папе историю его собственной жизни, а он наконец-то верил мне.

С Евой мы все еще периодически общались, хотя виделись уже редко. Она вышла замуж за своего парня, и они вместе построили себе новый дом. В прошлом году, по прошествии уже почти девяти лет после нашего с ней расставания, она приезжала в Нью-Йорк, беременная их первенцем. Она тогда попросила меня погулять с ней по городу – в моем понимании это было последним, что требовалось женщине на позднем сроке беременности, но она все же настояла. Мы пошли от Флэтайрона вдоль по Вест-Виллидж, болтая о том, о сем. Перекрикивая шум проезжавших мимо машин, мы обсуждали, в частности, тот эпизод «This American Life» и мои планы по написанию книги о «трагических отношениях с правдой», в которой я, соответственно, просто не мог не упомянуть и о наших с ней драматических отношениях.

– Ой, да пиши обо мне все, что тебе хочется, – легко сказала она. – Я, кстати, тоже о тебе пишу, чтобы ты знал.

– Ты пишешь обо мне? Что именно? – удивился я. Она засмеялась и ушла от ответа, а я не стал расспрашивать дальше.

Мы обсуждали также степень честности, с которой мне стоило писать книгу о честности.

– Если я буду слишком честен, – сказал я, – то сама эта книга станет доказательством того, что я так ничему и не научился. Надо, наверное, последовать примеру Айры – сосредоточиться на более привлекательных моментах и опустить самые неприятные.

– Да ну тебя! – снова рассмеялась Ева. – Так ведь не интересно! Пиши правду!

Она улыбнулась, как делала это всегда в разговоре со мной.

– Как в нашей песне, «To Know Him Is to Love Him», помнишь? – сказала она. – Дай им узнать тебя.

Так я и поступил.

Постскрипtum о правде

Часть имен в этой книге я опустил, а все остальные – изменил, а в ряде случаев намеренно исказил описания некоторых людей, чтобы не допустить раскрытия их личностей. Некоторые из этих людей прямо попросили меня об этом, а некоторые просто не знают о существовании этой книги, и, как мне кажется, они вряд ли хотели бы, случайно натолкнувшись на нее, заново пережить неприятное свидание или разговор с каким-то идиотом, про которого уже давным-давно забыли. Да и вряд ли их порадовало бы осознание того, что какие-то из случайно брошенных ими фраз существенно повлияли на мою жизнь. Я и так уже успел когда-то помучить этих людей лично – пожалуй, хватит с них.

Да и оправдываться, думаю, тоже хватит – наверняка большая часть читателей и так сочтет сокрытие истинных имен персонажей этой книги очевидным и единственно верным решением, а у меня просто паранойя. Но если вам все же кажется, что я поступил неправильно и что мне следовало все же использовать настоящие имена и подставить таким образом всех этих людей, то, быть может, вас утешит то, что где-то в глубине своей жестокой, честной и бескомпромиссной души я с вами согласен.

Благодарности

Понятия не имею, как мне удалось бы пережить честные деньки без помощи Линды Сильверман, Мэттью Глисона, Ноа Пайпер, Клэнси Кокс, Джоффа Рикли, всех ребят из СТУ, Лирона Миллстейна, Эмметта Келли, Льюиса Песакова, Ариэль Рехтшайд, Алана Лоайзы, Криса Кули, семьи Хаусз, Тима Райта, Эдны Тогба, Меитал Хадад, Тома Друри, Кевина Корниша, Ноа Уэйсс, Мэтта Баудера, Грега Рогове, Дэвери Доулман, Криса Калуна, Элизабет Уорд, Лаха, Регины Спектор, Джона Сопкиа, Джонатана Бенедикта, Дашан Корам, Липпе, «Бэйбискинз», семьи Трахтенбург, Нэлли МакКей, Маргарет Миллер, семьи Хэйес, Кайи Фишер, «They Might Be Giants», Джека МакФаддена, Шэрон Ван Эттен, Мьишы Бэттла, Роба Брина, Кристины Блэк, Шрути Гангули, Вики Стэнтон, Виктор Магро, Кэйт Урчиоли, Алеха Стила, моих учеников из групп по написанию детских книжек и по игре на укулеле, а также всех обитателей семейного лагеря и моих родных.

В период с 2010 по 2015 годы многие давали мне дельные советы на тему искренности. За эти советы я благодарен в основном Эриал Ист, Кристи Муниц, Нэзи Карими, Николь Александер, Райлэнду Блэкинтону, Джулиане Романо, Шарлотте Ройер, Ассоль Абудлинна, Марии Лью, Джонасу Сандстрому, Люку Тэмплу, Лорен Хеллер, Шилпе Рэй, Нине Эллис, Дэну Эстабруку, Джастину Коксу, Раине Хаммер, Адаму Грину, Джеку Дишелу, Джеффри Льюису, Дионе Дэвис, Николь Аткинс, Джимми Гианнопулусу, Джеймсу Леви, Коттии Тороугуд, Микалу Клипу, Стефани Питерсон, Джону Уайли, Диме Дабсону, Лене Сингер, Алану Дель Рио Ортизу и Кайе Уилкинс.

Теперь по поводу тех, кто помогал непосредственно с созданием этой книги: Бьянка Дживер оказалась достаточно равнодушна к моим проблемам с честностью, чтобы рассказать обо мне Айре Глассу. Потом сам Айра часами сидел и выслушивал мою болтовню. Затем Лиз Питофски отослала Элизе Чини записанный Айрой эпизод. Она познакомила меня с моим агентом, Адамом Иглином, который выслушивал мою болтовню уже не несколько часов, а несколько лет. К счастью, гениальная и вообще потрясающая Кэйтлин Ходсон втолковала все же мне, дураку, что надо быть посдержаннее, и

подказала, в чем именно. Мне также неоценимо помогли советами Энни Корриал, Джинна Соуэрс, Дэв Хайнс и Джон МакЭлви, а Хэйли Вирэнго и Стефани Фишер оказывали мне огромную моральную поддержку. Я до сих пор поражаясь тому, как моему редактору Джеймисону Штольцу, с которым мне посчастливилось работать, хватило терпения проштудировать несколько сотен страниц моих измышлений. Главные действующие лица этой книги (в особенности папа, мама и Ева) проявили ко мне просто невероятный уровень понимания и поддержки в этом моем сумасшедшем начинании. Такой доброты не заслуживает никто на свете, в особенности я. Короче говоря, в процессе написания этой книги добровольно пострадало множество замечательных людей. Спасибо вам всем огромное!

Об авторе

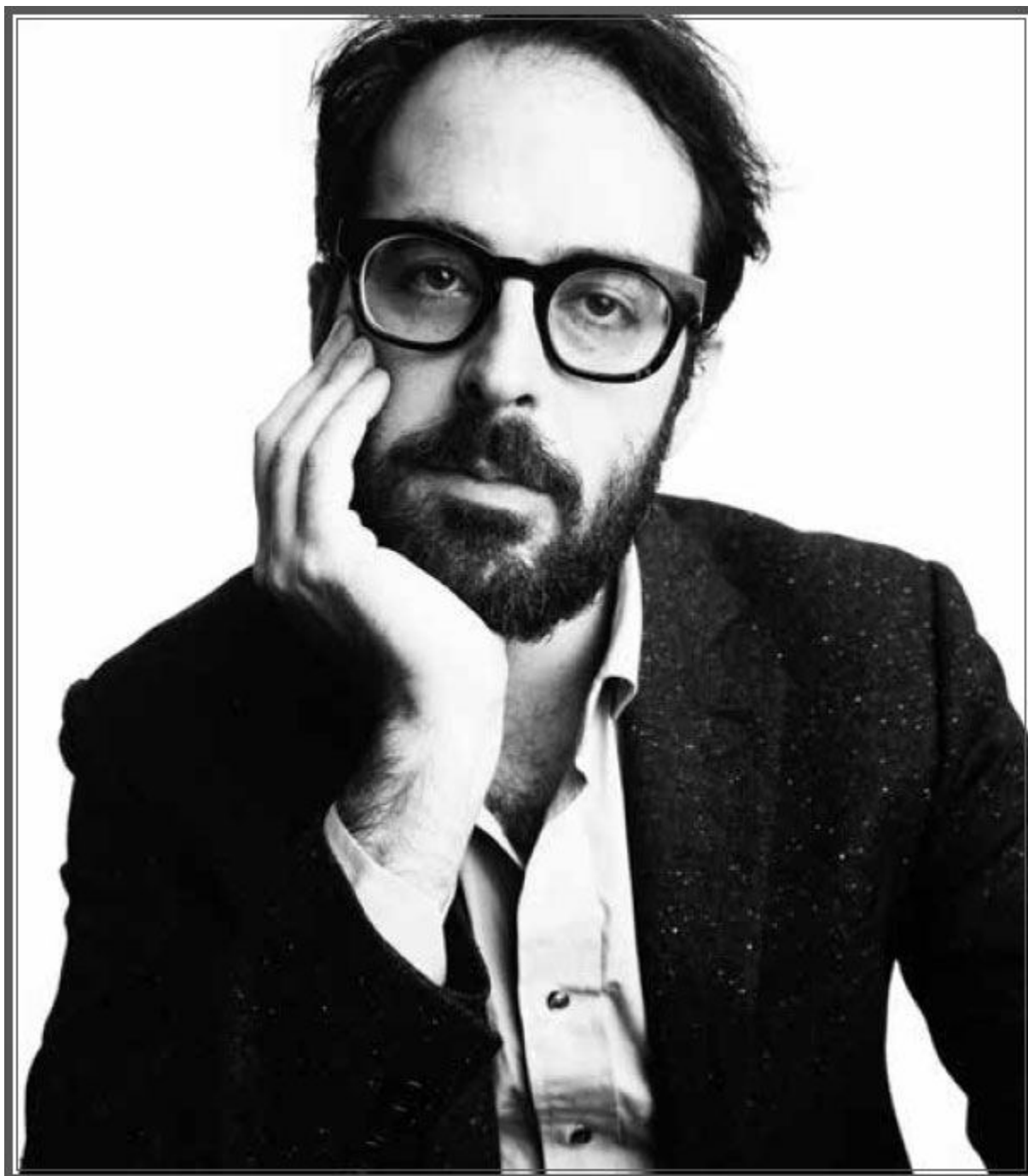


Фото: Roeg Cohen

Майкл ЛЕВИТОН – американский писатель, композитор и фотограф. Автор музыки и сценариев для ТВ-шоу и мультимедийных платформ, включая канал НВО. История его семьи, любившей правду больше всего на свете, не раз становилась темой для радиопередач и популярных подкастов.

САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ БИОГРАФИЯ 2021 ПО ВЕРСИИ GOODREADS
ВЫБОР РЕДАКЦИИ AMAZON

Майкл Левитон

ЕСЛИ ЧЕСТНО



«Остроумная и ироничная история о плюсах и минусах честности. Провокационно и с юмором: обречено на успех!»

— Publishers Weekly

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Примечания

1

Кажется, мама с папой вообще не умели скрывать своих чувств. Впрочем, думается, они особо и не пытались. – *здесь и далее примечания автора, если не указано иное.*

[Вернуться](#)

2

Семьи обоих моих родителей пребывали с «большинством» в состоянии войны на протяжении нескольких поколений. Мы ввязались в эту войну, зная, что проиграем. «Большинство» взяло нас в осаду.

[Вернуться](#)

3

Я достаточно быстро привык к такой реакции окружающих. У меня был настоящий талант изобретать новые виды хамства

[Вернуться](#)

4

Мне тогда как-то не пришло в голову, что она вполне могла говорить все то же самое всем детям, даже самым трусливым.

[Вернуться](#)

5

Тогда мудрость маминых слов меня потрясла, однако ныне я склонен сомневаться в этом ее суждении. Все же многие дети паникуют из-за уколов, сколько ты их не предупреждай и не рассказывай об этом. Многим приятнее лживая доброта. И многим понравился бы такой комплимент от медсестры, даже если бы они знали, что она делала его каждому.

[Вернуться](#)

6

Верный, в целом, вывод, если подумать.

[Вернуться](#)

7

Этот разговор родителей я помню очень хорошо – он повторялся из раза в раз все мое детство с незначительными вариациями. Я вообще хорошо помню свое детство не в последнюю очередь из-за его однообразия.

[Вернуться](#)

8

Любимые слова уродов, намеренно оскорбляющих других людей. Большую часть тех, кто их произносит, правда на деле абсолютно не интересует. В моей же семье было принято выражать вслух максимум своих мыслей и чувств, то есть по-настоящему говорить правду.

[Вернуться](#)

9

В игре «Что ты выберешь?» игрокам предполагается выбрать один из двух предложенных вариантов действий и объяснить свое решение. Например: «Что ты выберешь – встречу со своими полудикими предками или с потомками через тысячу лет?» – Примеч. ред.

[Вернуться](#)

10

Послушав отца, можно было подумать, будто весь мир ополчился на него за его отношение к сладостям. Понятия не имею, откуда у него это пошло.

[Вернуться](#)

11

До сих пор не могу поверить, что отец с такими усилиями пытался придумать, во что бы поиграть с четырехлетним ребенком. Он не вспомнил даже о банальных прятках.

[Вернуться](#)

12

Я по сей день восхищаюсь своей великолепной памятью, способной в точности сохранять любые разговоры, и сокрушаюсь тому, что ее великолепие не распространяется решительно ни на что более.

[Вернуться](#)

13

Отец частенько наделял общепринятые понятия какими-то собственными смыслами и значениями.

[Вернуться](#)

14

По счастью, забыть его у меня не было ни малейшего шанса – мне приходилось выслушивать эти самые слова раз за разом все детство.

[Вернуться](#)

15

Грэмми столь сильно ненавидела свое еврейское происхождение, что потребовала от Па, чтобы тот сменил фамилию. Жены его братьев присоединились к этому требованию – по их мнению, фамилия Питковски звучала слишком по-еврейски. Впрочем, единой альтернативы никто так и не придумал, и в итоге у всех троих братьев оказались разные фамилии: Питт, Пауэлл и Пауэрс. В результате мама росла с фамилией Пауэрс в христианской традиции, с Рождеством и всем прочим. Грэмми впоследствии возненавидела ее за то, что меня она вырастила в иудейской традиции, лишив ее таким образом возможности отмечать Рождество с внуком.

[Вернуться](#)

16

На деле же вопрос следовало бы поставить несколько иначе, а именно: «Что же это за бабушка такая, которой в принципе невозможно доверить малолетнего внука?»

[Вернуться](#)

17

Теперь-то мне хорошо известно, что доверие не сводится к вере в то, что его объект говорит правду, что оно также обозначает некий уровень поддержки с его стороны, на которую ты можешь рассчитывать. Грэмми не могла мне доверять – я постоянно критиковал ее и уличал во лжи. Я ничего не спускал на тормозах, ибо был верен лишь правде.

[Вернуться](#)

18

Я был крайне непривычен к иносказаниям и скрытым просьбам и в результате понял этот вопрос буквально. Я посчитал, что ей было действительно интересно, почему я предпочитал играть один.

[Вернуться](#)

19

Именно с таким выражением лица мне вскоре предстояло сталкиваться регулярно. Во-первых, оно отражало удивление – она-то приняла меня за ранимого ребенка, с которым не хотят играть грубые и жестокие мальчишки. Во-вторых, в нем явственно читалась злость – разумеется, не на мое вопиюще пренебрежительное отношение к сверстникам, а на то, что я осуждал ее собственные слова и действия. Казалось бы, смешно взрослому человеку обижаться на слова ребенка – а вот поди ж ты. Существует некая особая, ни с чем не сравнимая ярость, которую испытывают взрослые, когда их стыдит ребенок.

[Вернуться](#)

20

Да, именно так.

[Вернуться](#)

21

Да, любой из этих вариантов подошел бы идеально.

[Вернуться](#)

22

Просто вдумайтесь в это как следует, и вы поймете, насколько запущенным случаем я был с точки зрения общества.

[Вернуться](#)

23

Он все-таки слишком буквально меня понял. В результате на протяжении следующих нескольких лет Джош, рассказывая свои фирменные шутки, периодически украдкой поглядывал на меня, словно ждал моей отмашки, а затем в какой-то момент краснел и говорил, что только что прилетел и что у него устали руки.

[Вернуться](#)

24

Когда мы были детьми, каждый раз, описывая нас с братом кому-либо, папа говорил так: «Майкл у нас писатель, а у Джоша отличная зрительно-моторная координация».

[Вернуться](#)

25

В свои девять лет я по наивности все еще слишком многое воспринимал буквально.

[Вернуться](#)

26

Должен сказать, я честно хотел помочь. Самый худший из возможных в такой ситуации советов я дал из самых лучших побуждений.

[Вернуться](#)

27

Как ни странно, все эти бесконечные обсуждения жизненных реалий тех или иных людей, образов, которые они выставляют напоказ и того,

как их при этом воспринимают окружающие, так ни разу и не навели меня на мысли о том, как другие люди воспринимают меня самого.

[Вернуться](#)

28

Думаю, этот совет можно с чистой совестью назвать худшим из всех, что я когда-либо получал. Так или иначе, таковы были наставления, которые мне давали, к лучшему или к худшему, и именно таким образом. Пожалуйста, имейте это в виду, если испытаете вдруг испанский стыд за кошмарные вещи, которые мне по ходу повествования еще предстоит натворить.

[Вернуться](#)

29

Теперь я понимаю, что причина, по которой миссис Расин не давала ученикам подробных пояснений к оценкам, заключалась, вероятно, в том, что у нее и без того было просто слишком много работы. Вероятнее всего, за день до описываемых событий она с ручкой в руке залпом прочла около пятидесяти рассказов и просто не желала признавать, что не запомнила мой. Впрочем, если бы кто-то в тот момент обратил мое внимание на это обстоятельство, я бы наверняка беспощадно ответил: «Так почему тогда она сама так и не сказала?»

[Вернуться](#)

30

Звучит как шутка, но поверьте – он говорил на полном серьезе.

[Вернуться](#)

31

Имеется в виду американский гандбол (воллбол), при котором команды отбивают мяч не о землю, а о стену таким образом, чтобы

при отскоке команда соперника не могла его отбить. – Примеч. ред.

[Вернуться](#)

32

Мне самому, честно говоря, сложно себе представить, каково было общаться с девятилетним мной, с этим веселым ботаником, улыбающимся прямо посреди этих хорошо аргументированных, непрошенных и совершенно безвозмездных проповедей.

[Вернуться](#)

33

Смехотворность этой фразы, употребленной по отношению к девятилетним мальчикам, я осознал много позже.

[Вернуться](#)

34

Мне не хватало тогда рефлексии, чтобы поставить себя на их место должным образом и понять, почему они не хотят говорить на такие темы.

[Вернуться](#)

35

Мне как-то не пришло в голову, что я мог из лучших побуждений лишь делать ребятам хуже, смущая их и даже подставляя под удар. Я резал правду-матку без оглядки на плохо предсказуемые разрушительные последствия такой честности.

[Вернуться](#)

36

Мне казалось в тот момент, что мои слова бьют, словно боевой молот, однако на деле, надо думать, мои вопросы скорее казались окружающим не более чем слезливым нытьем.

[Вернуться](#)

37

Мой стиль одежды был поистине уникален, поскольку обновки мне все еще покупала мама, не имевшая ни малейшего понятия о том, как одевались нормальные подростки в 1993. Мои мешковатые штаны и рубашки на пуговицах с цветастыми узорами не сгнули в небытие вместе с восьмидесятыми, в которые их было модно носить. Вероятно, выглядело это все достаточно дико.

[Вернуться](#)

38

Первая, вторая, третья база – термины из бейсбола. Базами называются площадки на игровом поле; бегун из отбивающей команды должен успеть добежать от базы до базы, пока мяч летит к команде соперника и пока команда соперника не успела коснуться мячом бегуна или базы, к которой он направляется. Хоумран – удар, после которого отбивающий успеваеет обежать все базы. – Примеч. ред.

[Вернуться](#)

39

Надо сказать, этот момент был в особенности удивителен для меня самого, ведь мне совершенно не нравилось мое тело. Однако скрывать свои недостатки мне казалось саморазрушительной трусостью, а справедливость требовала раздеться самому, чтобы увидеть голыми других. В данном случае мое тело было всего лишь очередной малоприятной истиной, которую не стоило скрывать.

[Вернуться](#)

40

Оказывается, некоторые подростки-ботаники все же как-то ухитряются обзаводиться девушками.

[Вернуться](#)

41

Да, я в тот момент совершенно не подумал о том, что мы практически касались лежавших рядом Майи и тех двух парней и что они, очевидно, слышали все до последнего слова.

[Вернуться](#)

42

Да, пап. Именно так мне и следовало поступить.

[Вернуться](#)

43

Да – столько возможных вопросов, и из всех них первым мне пришел в голову именно этот.

[Вернуться](#)

44

Мне тогда как-то не приходило в голову, что стоило, наверное, разговаривать о чем-то таком, в обсуждении чего могли бы при желании принять участие все присутствующие.

[Вернуться](#)

45

Оглядываясь назад, я постоянно думаю, не было ли у использования этого жаргона неких иных целей, скажем, юридических. Конечно, все координаторы в лагере являлись дипломированными терапевтами, но все же что-то до сих пор не дает мне покоя.

[Вернуться](#)

46

Подозреваю, курьез заключался в том, что он спал с несколькими из игравших и что при этом все присутствовавшие были знакомы с его нынешней девушкой, которой среди нас как раз-таки не было.

[Вернуться](#)

47

Тронут настолько, что даже не задумался о том, почему, собственно, эта дама, которой было уже за пятьдесят, выбрала на эту роль восемнадцатилетнего меня.

[Вернуться](#)

48

Ни я, ни, думается, даже родители не понимали, насколько безумным казалось это сочинение обычному человеку. Впрочем, надо думать, даже если бы такая мысль и пришла к нам в голову, мы сошлись бы на обычном: «Не стоит идти учиться туда, где не примут сочинение на тему семейного лагеря».

[Вернуться](#)

49

На дворе стоял 1998 и до появления социальных сетей оставалась еще пара-тройка лет.

[Вернуться](#)

50

Это стало своеобразным лейтмотивом развода родителей: Мириам задавала вполне закономерные вопросы и удивлялась происходящему, а мы все по очереди пожимали в ответ плечами.

[Вернуться](#)

51

Я, конечно, не психолог и не эксперт в области вытеснения эмоций в подсознание, но лично мне думается, что я тогда не плакал по той же самой причине, по которой не плакал на детсадовской вакцинации – я был эмоционально подготовлен к тому, что произошло. Я был готов к тому, что родители в какой-то момент расстанутся, по той простой причине, что мне никогда и не пытались внушить идею о том, будто они будут вместе вечно.

[Вернуться](#)

52

Разумеется, эта вдохновенная цитата была призвана успокоить склонных к неврозам людей, постоянно переживающих из-за того, как их воспринимают окружающие, а вовсе не заставить меня игнорировать чувства моей сестры по поводу развода наших родителей.

[Вернуться](#)

53

Собственно, Шира была совершенно права.

[Вернуться](#)

54

Вудсток (Вудстокская ярмарка музыки и искусств) – легендарный рок-фестиваль, проходивший в 1969 году. Стал символом сексуальной революции и окончания «эры хиппи». Среди участников были такие исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. – Примеч. ред.

[Вернуться](#)

55

Ее, в принципе, нетрудно понять и уж тем более сложно винить в том, что она не считала собеседование подходящим случаем для душевного разговора и самовыражения. К такому был склонен только я.

[Вернуться](#)

56

Хотите верьте, хотите нет, но я спрашивал абсолютно серьезно и искренне.

[Вернуться](#)

57

Смешно, я знаю, но в это мне верилось больше, чем в то, что, дабы получить работу, от меня просто требовалось ответить, что моим самым серьезным недостатком был перфекционизм.

[Вернуться](#)

58

«Крысиная стая» – группа деятелей американского шоу-бизнеса 1950-х и 1960-х годов. Лидерами были Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис

и Дин Мартин. *Стилистика публичной активности «стаи» определялась как «гламурный гедонизм».* – Прим. ред.

[Вернуться](#)

59

Я понимаю, что эти слова могут показаться заносчивыми, но я говорил совершенно буквально: я действительно не понимал, с какой стати кому-то в такой ситуации может показаться неудобным позвонить.

[Вернуться](#)

60

Периодически я даже благодарил ее за то, что она обращала на меня внимание, чем смущал всех окружающих.

[Вернуться](#)

61

Ду-воп (doo-wop) – вокальный поджанр ритм-н-блюза. – Примеч. ред.

[Вернуться](#)

62

Сейчас-то я понимаю, что я зазря мучил несчастных работяг, пытавшихся просто заработать себе на жизнь. Такие психологические приемы являлись всего лишь частью их работы, и я уверен, что большинство использовало их без особого удовольствия.

[Вернуться](#)

63

Стоило бы, вероятно, утешить ее, заверив, что дерево наверняка было ни при чем, но мы оба слишком глубоко погрузились в мир чистых эмоций и пути назад уже не было.

[Вернуться](#)

64

Теперь я, разумеется, понимаю, что в этом нет абсолютно ничего необычного и что так празднуют Рождество в большинстве домов.

[Вернуться](#)

65

Мы с детства настолько глубоко погружены в собственный стиль взаимодействия с окружающими, что проанализировать причины выбора именно такой модели крайне сложно, а иногда и вовсе невозможно вследствие отсутствия этой самой причины как таковой.

[Вернуться](#)

66

Не надо было упоминать, что я в городе. А все же упомянув, стоило бы придумать какую-нибудь причину, по которой я не мог работать в то время. Однако, увы, ни скрывать информацию от окружающих, ни придумывать отмазки я не умел.

[Вернуться](#)

67

И ведь никакой двусмысленности. Папа говорил исключительно о палатке.

[Вернуться](#)

68

Эти слова можно было интерпретировать как угодно – может, ему не понравилась Ева, а может, он хотел уколоть меня. Но я все еще имел привычку наивно воспринимать все буквально и посчитал, что он действительно имел в виду, что рано еще так сильно влюбляться в двадцать пять. Разумеется, эти его слова показались мне еще более странными, чем жонглирование вымышленными пробирками.

[Вернуться](#)

69

Вероятнее всего, она просто не имела привычки прислушиваться к советам случайных незнакомцев.

[Вернуться](#)

70

Тот факт, что Ева была при этом обычно кругом права, вовсе не означал, что я был готов к такой правде.

[Вернуться](#)

71

Этим человеком был Уильям Шекспир.

[Вернуться](#)

72

Я понимаю, что весь этот разговор может показаться странным, думаю страннее всего было то, что ее собственная открытость со мной в подобных вопросах лишь убеждала нас в силе нашей связи – мне казалось, что она не могла быть столь же честна с кем-то, кого не любила бы по-настоящему.

[Вернуться](#)

73

На всякий случай напоминаю: впервые я солгал в пять, не рассказав однокашникам правду про Санту. Второй раз я солгал в восемнадцать лет, сказав Аманде на том сеансе, что ее будут ценить такой, какая она есть. Итак, в третий раз я солгал, когда мне было двадцать шесть.

[Вернуться](#)

74

В основном речь там шла о семейном лагере, но были и некоторые воспоминания из детства, многие из которых описаны и здесь.

[Вернуться](#)

75

С тех пор я не способен смотреть на стопки посылок и конвертов на почте без любопытства.

[Вернуться](#)

76

Мне как-то не пришло в голову, что стоило удалиться куда-нибудь, дабы не смущать собравшихся этим безумным разговором.

[Вернуться](#)

77

Мысль о том, что стоило пощадить и без того смущенных несчастных дам, упорно не приходила в мою голову.

[Вернуться](#)

78

Ложь всех мастей казалась мне в целом одинаково дикой и бредовой, так что я все еще не умел различать, какая считалась нормальной, а какая – нет, какая была оправданной, а какая – эгоистичной и даже вовсе аморальной.

[Вернуться](#)

79

«Железная дева» – средневековое пыточное приспособление. Представляет собой полую конструкцию, напоминающую фигуру человека, с шипами на внутренней поверхности. При медленном закрывании шипы вонзались в тело жертвы, помещенной внутри. – Прим. ред.

[Вернуться](#)

80

Из всех риторических вопросов, которые я часто задавал на полном серьезе, ожидая нормального ответа и не взирая на то, что в приличном обществе такие вопросы считались невежливыми, худшим был, пожалуй, именно этот – «Неужели ты думал, что я не замечу?»

[Вернуться](#)

81

Думаю, даже спроси я ее об этом сейчас, много лет спустя, она все равно солгала бы мне или вовсе отказалась отвечать.

[Вернуться](#)

82

К примеру, осознав после свидания, что я слишком много говорил сам и забывал задавать вопросы девушке, я писал ей сообщение с извинениями. Ни одна девушка на такое сообщение так и не ответила. Более того, после его получения из моей жизни безмолвно исчезали

даже те девушки, которым я, как мне казалось, в общем, нравился. В результате я перестал писать такие сообщения, каким бы уродом я себя ни чувствовал и как бы ни сожалел.

[Вернуться](#)

83

Для меня доброта такого рода и этикет были абсолютно неотличимы от манипуляции – и то, и другое казалось одинаково сумасшедшими и никому не нужными концепциями.

[Вернуться](#)

84

Это основная причина, по которой написание данной книги до сих пор кажется мне дурацкой затеей.

[Вернуться](#)

85

Много лет спустя ведущий подкаста «Таре» брал интервью у Айры, в котором поднял тему как раз этого эпизода. Он сказал Айре, что как-то где-то встречался со мной и что я ему не понравился. В результате получился контраст с моим образом из эпизода «This American Life», заставивший его думать, что Айра намеренно придал мне обаяния в своей программе. «А мне он понравился, – ответил Айра. – Мне с ним было очень приятно и интересно разговаривать». Но все же он признался: «Да, мы сознательно сделали его образ более привлекательным». В ответ на дальнейшие расспросы о практике приукрашивания характера и личности своих гостей, Айра ответил отрицательно. «Я просто пытаюсь передать слушателям свое понимание того, кто сидит передо мной в студии».

[Вернуться](#)